90 коп. Индекс 73293

В 1990 ГОДУ «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая;

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет;

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман;

Сергей ДОВЛАТОВ (Нью-Йорк). **Иностранка.** Повесть;

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман;

Владимир КОРМЕР. **Наследство.** Роман (первая эмиграция и инакомыслие 60-х гг.);

Любомир ЛЕВЧЕВ. **Убей Болгарина.** Главы из романа;

И. ПОЛЯК. **Песни задрипанного ДПР.** Повесть;

Записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ **«Вот так и живем».** (Часть вторая);

Стихи Б. АХМАДУЛИНОЙ, К. ВАНШЕНКИНА, П. ВЕГИНА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, Д. САМОЙЛОВА, В. ЦЫБИНА и других известных и молодых поэтов.

Из литературного наследия: дневники, письма, воспоминания А. БЕЛОГО, М. БУЛГАКОВА, С. ВОЛКОНСКОГО, А. ДЕНИКИНА, Б. ЗАЙЦЕВА, В. КОРОЛЕНКО, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РЕМИЗОВА, В. С. СОЛОВЬЕВА, В. ХОДАСЕВИЧА, М. ЦВЕТАЕВОЙ.

ISSN 0132-0637. «Октябрь», 1989, № 7, 1—208.

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

7

1989

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1989

ИЮЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Виктор АСТАФЬЕВ

Улыбка волчицы

РАССКАЗ

Виктору Никонову — верному таежному спутнику.

Тимофей Копылов, работавший на метеорологическом посту, верстах в семнадцати от новопоселения Уремки, где проживал и нес егерскую службу его друг детства, однорукий Карпо Верстюк, не раз и не два говорил, что волки обладают способностью ощущать или чувствовать перспективу. Верстюк, высланный с Украины в Сибирь еще в тридцатые годы вместе с батьком, маткой и целым детским выводком, едва ли не единственный из того выводка и уцелевший, как и полагается хохлу, был упрям до остервенения, отшивал Копылова на давно здесь привычной смеси украинского и русского языков: «Я на тоби смеюсь».

Вечор Копылов вызвал по рации Верстюка:

— Заводи свою таратайку, приезжай, тогда посмотрим, кто на кого будет смеяться.

Еще в старом, незатопленном селении под названием Уремка Копылов и Верстюк учились в одной школе, сидели за одной партой. Копылов списывал у Верстюка по арифметике, затем по алгебре и геометрии, Верстюк у Копылова — по русскому языку, литературе и истории. И так вот, союзно действуя, подсказывая один другому, списывая друг у друга, едва они не закончили семилетку. До самой войны и работали они вместе на сплавном участке и «всю дорогу», выражаясь по-современному, то есть с самого детства, спорили, дрались, и никто никого победить не мог, потому как дрались они вроде бы азартно, да без остатнения: кто-то с кого-то шапку сшибет, ворот у полушубка оторвет, но чтоб голову проломить или зубы выкрошить — до этого дело не доходило.

Когда на войну сходили и один вернулся кособоким, другой без руки — драться перестали: надрались, говорят, хотим мирной жизни. Ну а спорить — чем дальше жили, тем горячее спорили. И жен себе завели таких же, зевастых, заводных, в работе хватких. Когда рукотворным морем, хламным водохранилищем, затопило Уремку и развело Копылова с Верстюком, они тосковали друг по дружке, при всякой удобной оказии норовили повидаться и «покурить» вместе. Жены, те если месяц не повидаются, не поорут одна на другую, от окна не отходят, плачут, проклиная тех, кто затеял великую стройку, пустил родное село на глубокое дно, поразбросал уремцев по белу свету.

Летом друзья встречались чаще: то Верстюк, мотаясь по горам и тайге, ночевать на метеорологический пост спустится, то жену на моторке по ягоды, по грибы притартает, то сама Копылиха в сельпо снарядится, за покупками.

Но как зима ляжет, всякое сообщение замирает — нет дорог по водохранилищу, тороса, хлам лесной, полыньи от изверженных известковых вод да и безлюдье не давали организоваться никакому твердому и безопасному пути по широкому полю льда.

Однако лет с десяток уже Верстюк обзавелся вездеходом, усовершенст-

вовал его, довел технику до масштабов все- и вездепроходимости, и работа егеря активизировалась, жизнь пошла веселее и беспокойнее.

Волки, когда-то обретавшиеся в предгорьях и по лесостепям, ближе к овечьим отарам, ко всякой доступной живности, теснимые людьми, автомашинами и вертолетами с появлением огромного водохранилища, провели перестройку в соответствии с условиями обитания, подвинулись жить и промышлять к пустынным, зверем и птицей богатым берегам.

Объединившись в стаи, волки зимней порой успешно охотились на маралов, косуль и даже на лосей. Часть стаи с «бригадиром» во главе переходила водохранилище, залегала там, иногда во вмерзшие в лед тороса, в таежный хлам; иногда и просто на чистине лежат волки, припорошенные снегом, не шевелятся: терпеливые они охотники.

Другая половина стаи в это время выслеживала зверя, тропила, поднимала его и неторопливо, умело вытесняла жертву из тайги на лед.

Выдравшийся из гор и леса марал на просторе чувствовал себя вольно, стремительно уходил от преследователей на другую сторону водохранилища, чтобы снова скрыться там, в горах, в привычной тайге, и вдруг перед ним из снега восставал волчий хорошо организованный отряд. Уверенно брали волки марала в кольцо, до хрипа его загнав, пружинисто бросались под горло, на загривок, валили на лед. Потом, голодно поскуливая, кружились звери вокруг дымящегося кровью марала, жадно хапали ртами красный снег, дожидаясь загонщиков, которые, клубя белый бус, катились во главе со старой волчицей к месту пиршества. С ходу, с лету с треском рвали они кожу зверя, выхватывая горячие куски мяса, урчали, заглатывали их, захлебываясь маральей кровью и собственной слюной.

Схватив карабин, одышливо дыша раскрытым ртом, Копылов спешил к месту схватки. Волки даже уходить не торопились, кушали себе спокойненько, вскидывая морды, забрасывали в себя красные куски, хрустели хрящами, сухожильями и костями, что по зубу, потом тяжеловато, россыпью трусили по белому полю к берегу, на ходу вытирая окровавленные морды о снег.

Копылов начал догадываться: среди волков появились собаки,— диким зверям до такой тонкой тактики и наглой практики своим умом пока еще не дойти.

На участке Верстюка резали звери живье, можно сказать, безнаказанно. Полезный скот люди порешили и съели сами. Уходя в города, рассеиваясь по свету, уремцы, как и везде по Руси, кошек и собак бросали на произвол судьбы. Бороться с так хорошо сплоченной волчьей ордой было трудно, почти невозможно. От бессилия, от бессонных ночей, от напрасных погонь егерь Верстюк почернел, исхудал, выветрился, нервным сделался, а тут еще «той бродяга», Копыл со своей «перспективой»!

Ну хоть на пенсию уходи!

На сей раз Верстюк даже и не спорил с Копыловым, грустно слушал его сперва по рации, затем на метеопосту, кивал головой, ронял: «Н-н-на... Ох же ж и брехать ты, Тимохвей! Тоби ж полковым комиссаром було б само раз, а ты пэтээру на горбу по усему хронту!.. Н-н-на... Ох-хо-хо-о! Шо? Шесть? Ты ж по математике усю дорогу списував, но так до дэсяти считать и не навчысь. Шо? Шо? Зарплату считать умеешь? А та ж твоя зарплата! Ни якой школы нэ трэба, шоб ии счести. У мэни? Та тэ ж одно названье — зарплата!..»

Копылов втолковывал Верстюку, что с вечера водохранилище перешли шесть волков. Верстюк знал, что Копылов не брешет, но суперечил ему, не соглашался, иначе он бы и не был Верстюком, а каким-нибудь Сидоровым или Шендеровичем был. Спускаясь от метеопоста на лед, все ворчал и ворчал Верстюк в том роде, что Копылов доспится до того на своем посту под названием «не бей лежачего», что не шесть волков — черти ему будут казаться в несметном количестве...

Но под холодным рыжим яром с сиротливо чернеющими дырками ласточек-береговушек отчетливо виднелись круглые следы, даже когти пропечатались на рыхлом снежку. Верстюк и тут сразу не сдался, высказывал предположения, что, мабудь, это Куська и Мохнарь, собаки Копылова, наследили — хозяин панику поднимает, «як на хронте спужався, то ще и не очухавсь»...

— Э-ге-е-е! Куська-Муська, разуй глаза, Тимохвей! С твоими тиграми собес караулить.

На глазах, настаивал Копылов, на глазах, толковал он, не стесняясь, прошли волки. Шестеро. Потоптались под берегом, поигрались, глазищами сверкали, на помещение метеоролога смотрели — нельзя ли там кем или чем подзакусить, соображали. Бесстрашный кобель Мохнарь и хитренькая его подружка Куська залезли в служебке под кровать, так по сию пору и не дышат, даже жрать не просят, хотя по этой части охотники они редкие. Баба его, Копылиха, насчет иконки намекает: мол, что с того, что муж партийный, образочек маленький в утешенье был бы, вместо картинки, за него из партии не исключают, за маленький-то.

Верстюк посерьезнел, шутковать перестал. Мозговали старые уремцы, тонкий и серьезный план разрабатывали. Один из них, то есть егерь Верстюк, в потемках на своей таратайке — на вездеходе, значит, переедет водохранилище и заночует в охотничьей избушке, что спрятана Копыловым в Малтáтском заливе. Другой, значит, метеоролог Копылов, останется дома и будет вести наблюдение: коли волки спустят зверя с гор и погонят через водохранилище, он дает ракету. Верстюк отрезает на таратайке хищников «з ёдной стороны», Копылов их преследует «з дрýгой».

Пока же до глухой ночи еще далеко, у хозяина дел невпроворот, так пущай балабол старый не путается под ногами, пущай занимается любимым делом — смотрит бесплатное кино.

В служебном помещении метеопоста были рация и узкопленочная киноустановка. Летом, когда на водохранилище стоял плавучий пост — баржа и народу наезжало порядочно, в особенности руководящего — за грибами, за ягодами и выпить вдали от блюстителей указа об алкоголизме, заброшено было сюда восемь кинокартин. Копылов с женой те кинокартины до того докрутили, что уж знали их наизусть.

Верстюк же с детства, с Уремки, потрясенный чудом под названием кино, мог смотреть любую кинокартину, особенно военную, когда угодно, где угодно и сколько угодно. В госпитале табак и сахар отдавал за кино. Самое подходящее место ему было смотреть картины на метеопосту, у Копылова, поскольку просто так он смотреть кино не мог, вертелся, объяснял соседям, что на экране «роблиться», хохотал, плакал, негодовал, возмущался, поощрял и порицал героев. Дело кончалось чаще всего тем, что из поселкового клуба его взашей выгоняли, дома никто с ним телевизор смотреть не хотел.

Верстюк тайно мечтал настрелять волков, сдать их шкуры за хорошие деньги и купить себе отдельный телевизор, «мабудь, даже японьский», и смотреть всякое разное кино сколько его душеньке угодно. Японский телевизор, пояснял Верстюк Копылову, тем хорош, что у него «лампов нема и он роблить просто так, на унутренней энергии».

— На какой, на какой энергии? — заводил Копылов Верстюка.

— На унутренней! — смело заявлял Верстюк.

— Это только у тебя унутренняя энергия, с сала накопленная. А у японца — электроника. Полупроводники, компьютеры кругом. Отстал ты, Карпо, от прогресса на двести лет в своей Уремке. Скоро таких, как ты, на молодых женить будут, чтоб кровь молодела и ум обновлялся.

— А шо ж, я нэ против!

— Тьфу, срамцы старые! — ругалась жена Копылова.— Всю-то жизнь они, как дворовые кобелишки, шерсть друг на дружке рвут.

У Копылова от пористого носища наискось по щеке, к левому глазу, все еще синело пятно, похожее на крыло какой-то нездешней птицы. Это они, два друга, хрен да подпруга, как они себя именовали, устроили себе потеху. В той Уремке, что была сейчас подо льдом, на дне «моря», вместе с домами, сараями, банями, стайками, со старым сельсоветом, клубом, почтой, с начальной школой, с бедным, но широким погостом, дело было. Однако друзьям до сих пор казалось, что наваждение это непременно и скоро кончится, как кончается всякий тяжкий сон. Вода, покрывшая привычный сельский мир, уйдет туда, откуда пришла, вольется в свои берега, и поплывет из кромешной глубины, приветливо светясь огнями, родная Уремка и остановится умытая на песчаном мысу, изумленно глядясь в реку светлыми окошками домов.

Так вот в той, еще живой, незагубленной Уремке отроки по прозванию Карп и Тимка стянули древнюю фузею деда Копыла, с японской, а может, еще с турецкой, войны им принесенную, и начали снаряжаться на охоту. Ска-

зывали, дед Копыл из той фузеи беспощадно валил в здешних горах зверя. Любого! Хоть сохатого, хоть медведя, хоть марала, хоть рысь. Наповал!

Отмочили хлопцы в керосине сложные механизмы фузеи, подточили в ней кое-что, припаяли курок и пошли в лес — валить медведя «на берлоге». Берлог тех в рассказах деда Копыла было больше, чем домов в Уремке, сразу же за банями, едва в лес ступишь. Но, видать, зима худая выдалась, зверь не лежал на месте.

Друзья кружились вокруг села, зверей не находили, и решено было пальнуть в цель. Набили парнишки порохом длинный патрон с зеленой трещиной повдоль него, заложили свинцовую пломбу вместо пули и потянули палочки: длинная палочка — стрелять, короткая—наблюдать.

Счастье, как всегда, выпало Тимке. Карп только вздохнул — он уж давно смирился с судьбой: все же пришлый он, высланный лишенец, а бог—он здешний, чалдонский, и всегда за своих стоит.

Ка-ак пальнул Тимка из древней фузеи, так обоих корешков и смело в сугроб. От фузеи остался один, в лучину расщепленный приклад и железная скобка. «Вынос произошел в сторону зажмуренного глаза, иначе быть бы кривым брандахлысту,—сделал приговор дед Копыл и, не удержавшись, похвалил внука:— Весь в меня пошел! Отча-а-аянный!».

Вздохнул украдкой Карп, вспомнив прошлое, который раз поразился мудростям природы, по справедливости все распределяющей: Тимка как был, так и остался книгочеем и мыслителем. Карпушка же — человек мастеровой, умел все починить, наладить, усовершенствовать и обмараковать и хитро, как ему казалось, решить любую жизненную проблему. Вот по талонам выдают на месяц бутылку водки, а он раздобыл две! Смог бы Тимка произвести такую экономическую операцию? Да ни за что!

Согласившись в душе с закономерностями жизни и придя к выводу, что жизнь уже не переменишь и людей не переделаешь, выпил Верстюк с Копыловым по стопочке из пол-литры, привезенной с Уремки, да и отправился хозяин справлять дела, а гость смотреть переживательное кино под названием «Два Хведора».

В служебном помещении, заваленном инвентарем и матрацами, Верстюк обнаружил забившихся под кровать, в угол, Мохнаря и Куську.

— Шо ж вы, хлопцы, сховались? Чи волков испугалися? — спросил Карп насмешливо.

Мохнарь и Куська застыдились, отвернувшись друг от дружки, извинительно помели пыль хвостами: что, дескать, поделаешь, дорогой Карпо,— всякому существу жить охота, и нам — тоже, хоть мы и собаки.

Когда зажужжал аппарат и началось кино, собаки выползли из-под кровати, обсели с двух сторон Карпа, с полным вниманием и пониманием слушали его пояснения.

— Ото бачьте, хлопцы, ото Шукшин грае, а то Семина. Воны, як ты, Мохнарь, и ты, Куська, ходют, ходют, принюхиваются, потим, як пристигнэ, воны тэж поженятся. А як жэ ж? Охмурь Шукшин Семину зáраз, то про шо тоди кино показуваты? Кино дуже умные люди роблять — интригой заманывають...

Скоро Карпо пустил слезу, повел тонко-тонко:

— А шо ж ты наробыв, Васю? Ты для чого так рано сгорив? — Мохнарь и Куська начали подвывать.

Копылов, заглянув в служебку, послушал, послушал и вздохнул, сокрушенно качая головой:

— Во, благодарные советские зрители! И кто тебя, Карпушко, в егеря принял? Это ж серьезная работа. Со зверем надо дела иметь. Съедят они тебя, либо башку свернешь об корягу... Глаза размочил! Ночью ехать. В полынью ухнешь — отвечай за тебя, мокрорылого.

Карп в ответ слабо махнул рукой:

— Видчепись! Нэ до тэбэ!

Скоро, однако, Карпо, сморкаясь в платок, вышел на свет, начал промаргиваться. Собаки, горестно опустив хвосты и головы, тащились следом за ним.

— Ты мне и псов-то разжалобил! Они и без того нервами слабы.

— Ох, Тимка, Тимка! — протяжно, с детским всхлипом вздохнул Карп.— В тэбэ тут масло е,— постучал он себя по лбу,— а шо тут,— потряс он сзади штаны,— шо тут,— приложил он руку к груди,— ничего нэ було и нэма.— Не отнимая руку от сердца, Карпо прилепился к столу, налил стопочку, подумал и другую налил из пол-литры, которую раз в месяц выдавали ему в сельпо по талону как инвалиду Отечественной войны для лечения руки, вторую он вытребовал по норме, как простой гражданин страны, твердо ставшей на путь борьбы за трезвый образ жизни. «И правильно! — выступая на собраниях как активист и депутат поселкового Совета Уремки говорил Верстюк.— Нам бэз борьбы нэ можно. Корове без сена нельзя, а нам без борьбы, раз усе время стремились и боролись: за победу, за урожай, за дисциплину, за сохрану картошки, за рэмонт обуви,— то остановись — упадешь. Борьба есть опора нашего життя!»

Выпили. В тарелку с капустой вилками потыкали.

— Ты знаешь, кто в тым кино грав? — ткнув вилкой в сторону служебки, поинтересовался Верстюк.

— Шукшин играл. Артист. Режиссер, писатель и еще кто-то...

— Ага! Ще кто-то! Ты в цым лесу на посту спышь, а люди борются. Шукшин летом вмэр?

— Господи! На картине все живой. И век живой будет. Как и сообразить? — Задумался Копылов, носом пошевелил.— Налей еще по одной — за помин души хорошего человека.— Выпил. Рукой утерся и заключение сделал: — Пил, поди,— вот тебе и вся борьба.

— Ни-и! — замахал рукой Карп.— Когда-то було, а потим ни божечки мой. Вот женитысь, дужэ любыв.

— Тогда конечно. Тогда хана. Алименты... комплименты, то-се...

Друзья-уремцы сочувственно помолчали. Мохнарь с Куськой поглядели на них, поглядели, потом на ноги Карпа легли, морды друг на дружку угнездили, глаза горестно прикрыли, отдались привычной тихой дреме.

— Да-а. Я тут, как налим на дне, залег под корягу — ни газет, ни телека. Кино уж раз по десять перевертели, наизусть знаем. Радио послушаем, пожрем, позеваем — и на боковую. Ночь дли-и-инна-а-а! На фронте, бывало, только глаза сомкнешь — уже орут отцы-командиры: «Подъем! Разобрать лопаты-ы-ы!»

— Так и у нас телек утром, телек днем, телек вечером — усе тоби тут развлечение. Я, однако, тоби, Тимка, антенну зроблю. Направленну. Мабудь, и до твоего поста телесигнал достигнэ? А про Шукшина, Тимка, Бурков, артист, рассказував. У Ялти. У санатории имэни товарища Куйбышева. Весэ-э-элый артист, пид мухой був.

— Да как же тебя в Ялту-то занесло?

— По льготной путевке инвалида войны.

— Ох и дока же ты, Карпушка! Ох и прохиндей! Все-все умеешь добыть, даже вот ее,— постучал Копылов ногтем по бутылке.

— А шо ж, льготой попуститься? Легти, как тому налиму, пид корягу? Тоби хоть дэсять бесплатных путевок дай и грошив мешок — ты своего места,— постучал Карп пяткою в пол,— та свою бабу, та собак будэшь стерегти, поки волки нэ съедят...

— Да-да, волки! — спохватился Копылов.— Давай-ка, брат, заткнем остатки, чтоб не выдохлось. Потом за победу над хищниками хряпнем. Да осторожно газуй, не провались. Жалко будет такого гарного охламона.

— Нэ гомони! — буркнул Верстюк, снаряжаясь и заводя свою таратайку.— Каркаешь на ночь глядя. А вин слухае.

— Кто вин-то?

— Кто-кто? Лихоман таежный.

— Ты ж с войны коммунист, Карпушка, а в нечистую силу веришь!

— Вид тэбе ереси набравсь.

Собаки бойко мчались за вездеходом, вертелись в облаке снега, тявкали, но под горой примолкли, сбавили ход. Заработали хвостами и ноздрями, нюхая снег, воздух, после чего тихонечко вернулись в служебку, куда они наловчились открывать дверь лбами, растянулись в безопасном месте, позевали с подвывом и успокоились.

Верстюк переехал водохранилище без приключений, долго откапывал из снега избушку Копылова и, растопив печку, сидел у дверцы, грел чай, думал про кино, про войну, пытался постигнуть таинство смерти: как же так? Умер человек, но вроде бы и не умер, в кинокартине — живой, страдающий, иногда

веселый, зубы свои крепкие, чалдонские, скалит. Вот бы всех хлопцев на фронте засняли, чтобы они хотя бы в кино живыми остались. А то ж ни следочка, ни косточки не осталось, травой-бурьяном заросли... «Ах, хлопцы, хлопцы! Пулеметчики мои дорогие! За шо ж вас, таких молоденьких да гарнесеньких?» — горевал Карп и так, с солеными слезами на губах, забылся, уснул.

Поднялся Верстюк рано, прислушался. В трубе веяло, по окну шуршало, на бельмастом пятне стекла покачивалась слабая тень — сосенка молодая покачивалась. Над Малтатским заливом прежде пашни уремские были, речушка — Малтатка — текла, нынче непроглядный здесь лес молодой пошел, да все по прихоти, колониями, то сосняк, то березняк, то осины — зверь войдет, не выживешь оттуда ни собаками, ни ружьем, лишь пронырливым волкам все нипочем, в густолесье этом они как дома: охотятся, гуляются, выводки прячут.

Порошу волки любят. Того не ведают, хотя и умные бродяги, что по пороше сподручней не только им ходить-бродить и драть ротозевую живность, но и подбираться к ним.

Заварив чайку в плоском мятом котелке Копылова, неторопливо, с чувством пил Верстюк чаек, в открытую дверь выше берега и леса, по-над косогором глазами мир обшаривал — прошибет или не прошибет ракета земную и небесную мглу?

Прошибла! Ракета возникла неожиданно, Верстюк даже вздрогнул, как на фронте. От малинового дрожащего света ракеты почему-то тревожно сделалось егерю, засосало под грудью, будто перед утренней атакой, когда настороженная передовая, недобро примолкши, с двух сторон ждет в серой мути снегов, за едва темнеющими всхолмлениями траншей начало военной работы. Уже искурена до жжения губ последняя цигарка у русского солдата, сигаретка у немца — все сделано, все приготовлено к бою. Припав к холодным прикладам, до блеска вытертым о живые человеческие плечи и щеки, стрелки-автоматчики, пулеметчики ищут упор обувью — комок земли, выбоину на дне иль в стене траншеи: когда упор есть, стрельба точнее.

Вот-вот начнется.

Одни будут отбиваться и убивать, другие будут карабкаться по отвесной стене траншеи, ссыпая обувью мерзлые крошки земли, царапаясь ногтями о стылый откос, не понимая, почему так непреодолима стена и так высок бруствер тобой долбленного, обжитого окопа. Уже зачиркали вражеские пули, выбивая серый прах из земли, уже первых убитых откинуло назад, свалило обратно в траншею, так и не давши им перевалить через бруствер, вырваться во чисто поле.

Верстюк отроду был некурящий, и ему нечем было заполнить ту мертвую минуту перед атакой или перед отбитием атаки. Он придумал грызть сухарь, соломку, ветку дерева, кусочек ли сахара, в черный осколок превратившийся в кармане шинели. Была там секунда или доля ее, когда надо было человеку выплюнуть цигарку, растоптать ее решительно, а Верстюку — недорушенную крошку дохрумкать,— очень нужная секунда, очень важное время...

Однажды, в такое же вот холодное, безразличное утро, изжевав чего-то, не внемля даже самому себе, тем звукам, словам ли, чаще всего матюгам, которые сами собой возникали в каком-то, от солдата отлившемся существе, перелетел Карпо через бровку окопа, стреляя из ручного пулемета в мерцающее огнями, прыскающее дымом, бухающее, трещащее, гудящее земляное холмистое устройство. Одолел мертвое пространство, упал, провалился во вражескую кисло пахнущую траншею, по которой еще плавал желтоватый дым и таяло под отстрелянными синеватыми гильзами. С порвавшимся дыханием, с бесчувственно, на последнем пределе бухающим сердцем приходил он в себя и вдруг услышал — где-то рядом воет волк! Страшно воет, загнанно, смертно.

Не сразу дошло до Верстюка: это он, ссыльнопоселенец Карпо из сибирской деревушки Уремки, воет от страха, от ужаса, от злости, от счастья солдатского — прошел, преодолел еще одну полосу войны, вышел живьем из еще одного смертельного дела.

Через какое-то время Копылов пустил вторую ракету, на этот раз зеленую, полагая, что дружок его закадычный, элемент этот, ни коллективизацией, ни ссылкой, ни войной не добитый, проплакал до утра, жалея мертвого артиста, не убитых еще волков, да и не увидит размытыми глазами сигнала.

Волки-загонщики прошли на рассвете, километрах в двух ниже метеопоста. Сравнивая с деревьев и с прибрежных кустов кухту, уже загнанно всхрапывающий, вышел марал на лед, постоял, выбрасывая из ноздрей клубы пара.

Высоко, в расщелинах хребта, выследили и взяли его в оборот волки. Упорно, по-рабочему неторопливо вели они зверя к водохранилищу, не давая ему никуда уклониться.

Передохнув, марал поднял морду, поработал мокрыми поршнями ноздрей, учуял, должно быть, близко волков и наметом пошел по белому полю, к спасительному густому новолесью, мохнатым облаком плавающему по ту сторону водохранилища. И сразу пыльным облачком с обмытого берега ссыпалась стайка волков. Волки потоптались под берегом, опятнали желтой мочой снег. Молодые покатились на спине и, азартно взвихривая снежный бус, наддали ходу.

Дальше, дальше, дальше уходил марал, и деловито, даже как бы мешковато трусили в отдалении волки. Тонконогий, но ширококопытный марал и плесенно-легкие пятнышки волков уплывали в белую, рыхло колеблющуюся наволочь неторопливого зимнего утра. Все глубже, все дальше, в сон, в серый свет пустынного, безгласного утра погружался быстрый зверь. Вот уже по колено погрузился марал во мглу, вот уж только комолая голова плывет и качается поверху, вот совсем не стало видно зверя, исчез, утонул или воспарился он, превратился в эту серую мглу, соединился с тишиной и пространством зимнего поля.

И волки, один за другим, словно бы во сне двигающиеся, растворились в этом успокоительном мглистом сне, поглотила их немо белеющая плоскость водохранилища.

Копылов отрядил жену с двустволкой на мыс. Мыс тот врезался желтым намытым песком, серыми россыпями камней в белую твердь льда, замыкая залив от вдаль и вширь простирающегося водохранилища, неизвестно где начинающегося и где кончающегося.

Жена Копылова, катясь с яра на лыжах, упала, сердито взяла лыжи под мышку и, проваливаясь в снег по юбку, надетую поверх шаровар, шла к мысу, рассуждая сама с собой о волках, о муже, о распроклятой жизни в этой метеорологической дыре. Она уже давно научилась разговаривать сама с собой и при этом категорически рубила рукою. Каждый взмах означал приговор: последнюю зиму она здесь мается, последнюю волю своего носопыря исполняет. Вот разгонит волков, дождется, когда отелится корова, по теплу уедет на «метеоре» в город, к дочери,— и только ее и видели! Сдохни он, этот пост, с мышами, с тайгой, с волками. И сам Копылов сдохни со своим постом!

Снег уже сильно спрессовало ветрами и песком, идти под берегом, если осторожно, возможно было, не проваливаясь, но Копылиха не такой человек, чтоб осторожно,— ругаясь, она помогала себе ногой, пробивала наст и ухала вглубь так, что юбка делалась колоколом, и долго потом вышатывала себя баба из снега, выкарабкивалась на карачках из рыхлой ямы.

«Кабы в стволы ружья снегу не набила, блаженная».

— Стволы продуй, стволы! — сделав трубочкой руки, прокричал вслед жене Копылов.

Жена или не услышала его, или превратно поняла крик насчет стволов, вытащила руку из мохнашки и показала мужу кулак.

Проводив жену усмешливым взглядом до самой загогулины мыса, Копылов толкнулся таяком и раскоряченно покатился наискось по косогору, к тому месту, где покружились волки. На лету, мимоходно, Копылов отмечал глазом густую заячью топанину, по ней прочерки свежего рыскучего собольего и горностаевого следа.

Сзади, в закрытом помещении метеопоста, запричитала Куська, тут же подгавкнул, подпел подруге Мохнарь.

— И-я-а вот вам! — громко заругался Копылов и от потери бдительности чуть не свалился с подмытого берега в гущу плавника, ощетиненного ломаными сучьями, острыми кореньями и убийственно мерзлыми, замытыми до обмылистой глади выворотнями и бревнами. Туда сверзись, так не только лыжи — ребра переломаешь.

Устроив засаду под берегом, в этих самых, волнами измытых, истаскан-

ных беспризорных деревах, в сказочно-перевитом, свинченном раскоренье, Копылов прислушался: кажется, различил далеко-далеко тонкий звон круглой пилы и порешил, что это звенит таратайка егеря.

Да, то пилил вездеход егеря Верстюка на широкой, шарнирно, будто у самолета, качающейся лыже. Шла таратайка почти бесшумно, так Карпо сумел ее отрегулировать, да еще выхлоп сопла затянул сеткой, и снегом вминало звук, да и вел Верстюк свою машину, жмясь под навес берега.

Слов нет, волки — звери осторожные, но человек-то хитер. Совершенно уверенные в своей безопасности, звери все же поддались беспечности и, когда налетела на них машина, бросились врассыпную, потеряв образцовую организованность. Часть стаи сразу же ушла по собственному следу на обратную сторону водохранилища, к высоким, в небе увязнувшим вершинам и перевалам.

Но четверых зверей Верстюк отсек от стаи и гнал их, прижимая к захламленному подмою, теснил к осыпи берега. Волки попробовали с ходу взять берег и уйти в густолесье, один из них, с подпалинами по хребту, распластался в прыжке, скребнул когтями бровку берега, вырвал клок мха, сорвался вниз.

И тут же стукнул карабин.

Волк по-щенячьи взвизгнул, покатился через голову, разбрызгивая кровь по камням, по снегу, по корягам. Остальные звери наддали ходу, но были они тяжелы от жратвы, вывалив жаркие языки, сонно клонили костлявые головы, изредка схватывали ртами снег. Все чаще, все тревожней вскидывали они оскаленные морды, фосфорически сверкали глазами — машина маленькая, но она не знала усталости, настигала их.

Два зверя, шедшие обок, словно споткнулись, приосели, изогнулись дугой — отрыгивают жратву, облегчаются, догадался Верстюк. Этих не догнать. Умные, бывалые звери перешли на мах, словно пловцы, саженками уходили они от вездехода. Звери клонили бег за мыс, мимо метеопоста Копылова, минуя огороженную прорубь, натоптанную к ней тропу, алый бакен, вмерзший в лед.

Куски мяса дымились на снегу, будто кучки красных углей. Верстюк направил вездеход за тем волком, который умчался в отрыв от своих собратьев. Не оглядываясь, зверь махал вдоль берега, да тяжелей, неуверенней, сбивчивей делался его ход.

«Запалился!» — опытным глазом заметил егерь.

С противоположного берега донесло три хлопка, отрывистых, четких. Следом спаренно ударили еще два выстрела. Волк, бежавший впереди вездехода, споткнулся, грудью упал на передние лапы, застуженно, сипло проскулил.

«Молодой. Но смерть чует», — успел отметить Верстюк.

Волк метнулся к спасительному берегу, в хлам. Верстюк сорвал из-за спины карабин, не останавливая вездехода, навскидку и наудачу ударил. Пуля достигла берега, выбила из камней дымок и, заверещав, улетела в лесной хлам. Волк шарахнулся назад, а тут вот она, машина. Наседает! Волк, вывалив язык, распустив хвост, безвольно трусил туда, куда неумолимо направляла его машина.

За поворотом в большую реку впадала когда-то малая, веселая речка Уремка. В устье той речки стоял недвижной громадою утес, рыжий, насупленный, из вечного гранита, с чубчиком обветренного сосняка, этакой вьющейся гривкой на гордо выгнутой шее могучего скакуна. Страшный, гордый утес унизило равнодушной водой, заглотило его вместе со щетинкой леса на хребтине, с белым пятнышком речного знака на лбу. Зимой, когда опадала вода, обмыленный, растрескавшийся утес возникал из пучин и устало кренился над грязным прибоем. У подножия его тлел хлам, смытый с утесов и с берегов. Словно шкура древнего обитателя здешних мест — мамонта, не для дела снятая и без надобности брошенная, таскался волнами, прел тот земной хлам.

В тот спасительный хлам и устремился волк. Влекомый жизнью, зовом звериной свободы, он прыгнул раз, другой, третий и, царапаясь, скребя когтями по оледенелой луде, соскользнул вниз. Волк отчаянно тявкнул, коротко всплакнул и прижался к омытому, пронзительно-холодному камню, дрожа от страха, от загнанности, сразу утратив свое звериное величие.

Волчица, а это была молодая рыжеватая волчица, видела медленно приближающегося человека с ружьем — черным зраком глядело на зверя ружье с отожженными белесыми полосками по закруглению дула.

Давнее, почти призрачное видение озарило память Верстюка — в слишком нежной, в слишком рыжей шкуре волчицы ему почудилось что-то собачье. А когда волчица родственно завиляла хвостом, заискивающе оскалила зубки, он ахнул: «Божечки! Просит прощенья! Матка, а то батька цэй зверины были собакою! З нашей Уремки, мабудь?»

Да, зверь этот, помесь волка с собакой, еще не обрел дикого наития, не мог отрыгивать пищу. Люди предали своего друга, кормильца, сторожа. Природа приютила. Она породила, она и приютила. Но когда еще собака сделается волком, окончательно и бесповоротно одичает, превратится в зверя, от которого увели его когда-то люди, приручили, сделали на себя похожим.

О-о-о, сколько крови, сколько мук породил совместный союз этого зверя и человека! Какого опустошения в мировом лесу они добились вместе!

И вот им сделалось не по пути. Разошлись они. Вооруженные беспощадной техникой, оружием, от которого нет спасения, люди превратились в полудобытчиков, в полуохотников, а то и просто в убийц — браконьеров, праздных, равнодушных истребителей всего живого вокруг, превратив в бродягу и попрошайку союзника своего — собаку.

Дворовая, комнатная челядь, как и назначено лакею природой, пошла по рукам, жрет со стола объедки, дает лапу за сахар, и только самая свободная, самая гордая собака — лайка, брошенная человеком, возвращалась туда, откуда она тысячи лет назад пришла к человеку, чтоб помочь ему выжить и закрепиться на этой круглой, опасно вращающейся планете.

«Та хай вона живэ и пасэться!» — едва ли не вслух сказал Карпо Верстюк.

Но в это время на мысу, за метеопостом, гулко, раскатисто ахнуло — это из двустволки двенадцатого калибра ударила Копылиха.

Вот еще одно противоречие жизни: мышей баба боится, но на волков ходит!..

Верстюк начал поднимать карабин. Успокоившаяся было волчица вновь шевельнула хвостом, сметая из-под себя крошки камней, палую хвою и серый, с песком перемешанный снег. Зубы ее снова оголились в просительном, извиняющемся оскале. И снова волной жалости омыло сердце человека. Но меж оголившихся, острых, еще молодых зубов волчицы багровела поедь. На серых волосьях вокруг хваткого рта, хищно заваливающегося в углах, смешанная с дикой пеной желтела застывшая мокрота. Из нее, из той пены, торчали как бы обмакнутые в красное, волосья уже чуткие, звериные. Волчица не успела обиходить себя, не вытерла мокрую морду о белый снег. Каждый острый волосок полнился от корней бесчувственным, каменным налетом. И на каждом заостренном кончике волоса ягодкой алела капля крови, отчего серая морда выглядела алчно, и притворно притухшие глаза не могли ее загасить. Лукавое собачье притворство плохо давалось беспощадному зверю.

Карпо Верстюк и в самом деле был человеком чувствительным, слезливым от прожитых лет и потерь, от расслабляющего действия киноискусства. Но перед ним юлил хвостом, лицемерил враг, и он приставил карабин к плечу.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Триумф и трагедия

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

КНИГА ВТОРАЯ

За ошибки государственных деятелей расплачивается нация.

Николай БЕРДЯЕВ.

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Сталин с трудом постигал смысл слов Жукова, который продолжал твердить в телефонную трубку:

— Товарищ Сталин, вы меня слышите? Вы меня поняли, товарищ Сталин? Алло, товарищ Сталин...

Наконец, человек, на плечи которого навалилась такая фантастическая тяжесть, ответил глухим голосом:

— Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро...

Положив трубку, Сталин с минуту постоял около стола, невидящими от потрясения глазами скользнул по циферблату старинных часов, стоявших в углу комнаты: маленькая стрелка едва переползла цифру четыре. Вчера они своей нерешительной директивой № 1 дали как бы робкий сигнал тревоги военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО: «Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия».

На этот запоздалый сигнал войска не успели ответить должным образом. Сталин подсознательно понимал, что произошло,— началось нечто страшное, огромное и трагическое в судьбе страны, народа и, конечно, его, первого человека в этом гигантском государстве. Но даже он, хорошо знавший, какие колоссальные военные машины стояли лицом к лицу на границе, не представлял, сколь катастрофическим будет для него начало войны. Зная многие технические, оперативные, организационные слабости, присущие Красной Армии, он даже мысленно не мог допустить, скажем, что через неделю после начала войны падет Минск и танковые клинья немцев будут с треском распарывать все новые и новые безуспешно создаваемые рубежи обороны..

Машинально застегивая пуговицы на френче, известном миллионам советских людей по бесчисленным фотографиям и портретам, Сталин не мог слышать далекой канонады десятков тысяч немецких орудий, обрушивших огонь на точно установленные позиции и расположения советских войск, пограничные заставы, долговременные укрепления. В те минуты, когда он садился в машину, в Бресте, Бобруйске, Вильнюсе, Вентспилсе, Гродно, Кобрине, Киеве, Минске, Житомире, Слониме, Севастополе, десятках других городов рвались немецкие бомбы, возвещая о приходе Молоха войны. Машина Сталина в сопровождении двух автомобилей охраны мчалась по пустынным улицам Москвы к Кремлю, а в это время тысячи немецких танков уже кромсали своими гусеницами земную твердь Отечества. Тот, кому довелось когда-нибудь видеть таежный пожар, знает, сколь стремительно ветер гонит огненный вал по лесным массивам, сопровождаемый грозным гулом бедствия... Пожар нашествия растекался огненной смертельной лавиной, пожирая тысячи городов и сел, миллионы человеческих судеб.

Книга печатается в сокращении.

Как мог Гитлер решиться вести войну на два фронта? Он что, настоящий безумец? Сталин никак не хотел понять, что Гитлер, захватив Париж, фактически ликвидировал один фронт и надеялся русскую, восточную кампанию завершить так же молниеносно. Сталин искал спасительную зацепку: а может быть, военные просто паникуют перед лицом крупномасштабной провокации? Тот же Павлов еще два или три дня назад прислал телеграмму (кажется, уже не первую) с просьбой «разрешить занять полевые укрепления вдоль госграницы». Сталин велел Тимошенко сообщить командующему БОВО об отказе, так как выдвижение войск может спровоцировать немцев, которые, похоже, давно ждут подходящего повода... Нужно прежде всего запросить Берлин: возможно, это только проба сил. Разве хасанские события привели к войне с Японией?

Войдя в специальный, только для него, подъезд, Сталин поднялся к себе в кабинет, на ходу бросив бледному Поскребышеву:

— Приглашайте всех, сразу...

Неслышно, как-то осторожно, молча зашли члены Политбюро, за ними Тимошенко и Жуков. Не здороваясь с ними, Сталин произнес, не обращаясь ни к кому конкретно:

— Свяжитесь с германским послом...

Молотов вышел. Наступила тягостная тишина. За столом сидели те, кого пригласил Поскребышев: А. А. Андреев, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, М. И. Калинин, Н. М. Шверник, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский, А. С. Щербаков. Когда Молотов вернулся, он почувствовал, что не только Сталин, но и вся, по бытовавшему тогда выражению, «партверхушка» напряженно смотрит на него. Подходя к своему стулу, глава наркомата иностранных дел глухо выдавил:

— Посол сообщил: германское правительство объявило нам войну.— Заглянув в бумажку, которую держал в руках, Молотов добавил: — Формальный повод стандартный: «Националистская Германия решила предупредить готовящееся нападение русских».

Тишина стала словно «густой», вязкой. Сталин сел за стол, посмотрел на Молотова, вспомнил, как тот полгода назад здесь же, почти перед этим же составом, после приезда из Берлина уверенно докладывал:

— Гитлер ищет нашей поддержки в борьбе с Англией и ее союзниками. Нужно ждать обострения их противоборства. Гитлер мечется... Ясно одно — вести борьбу на два фронта он не решится. Думаю, у нас есть время укрепить западные границы. Но смотреть надо в оба: имеем дело с авантюристом.

Сталин еще раз взглянул на Молотова, теперь уже зло: «У нас есть время...». Всесильный секретарь давно перестал замечать сформировавшуюся у него черту: ни в одном промахе, просчете, ошибке виновным себя не считал. В душе нарастала тревога. Сталин чувствовал себя нагло обманутым. Пожалуй, впервые за долгие годы у него появились растерянность и неуверенность. Вождь привык к тому, чтобы события развивались в соответствии с его волей. Он не хотел, чтобы послушные «соратники» увидели проявления его слабости. Все ждали его слов и распоряжений. Сталин, обладая незаурядным, но злым, цепким умом, пронзительно почувствовал, что всех, кто сидел сейчас за длинным зеленым столом его кабинета, сделал такими, что ждать от них мудрого совета и решительного шага он не может. «Соратники» привыкли поддакивать, соглашаться, угадывать его намерения, самоотверженно исполнять его желания.

Тягостную паузу прервали слова Тимошенко:

— Товарищ Сталин! Разрешите доложить обстановку?

— Докладывайте.

В кабинет вошел первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин. Доклад его был краток и давал мало новой информации: после ураганного артиллерийского обстрела и авиационных налетов в ряде мест северо-западного и западного направлений крупные массы немецких войск вторглись на советскую территорию. Авиация противника непрерывно бомбит аэродромы. Какими-либо другими конкретными данными Генштаб пока не располагает.

Никто из присутствующих в кабинете не мог даже представить, сколь драматично и стремительно будут развиваться дальше события. Огненный вал войны стремительно катился на восток.

Парализующий шок

Нет, в первый день шока у Сталина не было. Были заметная растерянность, злоба на всех, что его так обманули, тревога перед неизвестностью. Но паралича воли не было. Тот, первый день, члены Политбюро почти сутки пробыли у него в кабинете, ожидая вестей с границы. Лишь изредка они выходили, чтобы позвонить, выпить чаю, размяться. Говорили мало. Все в душе надеялись, что возможны лишь частные неудачи, ведь подняты по тревоге войска, они выдвигаются к границе, знали и примерное соотношение сил двух противостоящих армий. Никто не сомневался, что Гитлер получит жестокий отпор. Возможно, переговаривались между собой члены партийного ареопага, на неделю-другую в районе границы завяжутся жестокие бои. Война может на какое-то время стать позиционной, до тех пор, пока силы Красной Армии не нанесут агрессору сокрушающий наступательный удар...

У Маленкова в папке лежал проект директивы «О задачах политической пропаганды в Красной Армии на ближайшее время», переданный ему в середине июня для рассмотрения начальником Главного управления политической пропаганды Красной Армии А. И. Запорожцем, которого уже на второй день войны Сталин заменит армейским комиссаром Л. З. Мехлисом. Быстро набирающий силу Г. М. Маленков, возглавляя Управление кадрами ЦК ВКП(б), накануне войны стал секретарем ЦК, членом Оргбюро, кандидатом в члены Политбюро, наряду с Молотовым, Берией и Ждановым — одним из самых приближенных людей к Сталину. 20 июня Маленков, придя по вызову Сталина в его кабинет и получив очередное задание, передал вождю для рассмотрения эту директиву, которую начали готовить после заседания Главного военного совета и выступления Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года. Сталин тогда дал ясно понять: война в будущем неизбежна. Нужно быть готовым к «безусловному разгрому германского фашизма». В соответствии с указаниями вождя в директиве, которую он так и не успел одобрить до начала войны, узловыми были следующие положения:

«Новые условия, в которых живет наша страна, современная международная обстановка, чреватая неожиданностями, требуют волюционной решимости и постоянной готовности перейти в сокрушительное наступление на врага... Все формы пропаганды, агитации и воспитания направить к единой цели — политической, моральной и боевой подготовке личного состава, к ведению справедливой, наступательной и всесокрушающей войны... воспитывать личный состав в духе активной ненависти к врагу и стремления схватиться с ним, готовности защищать нашу Родину на территории врага, нанести ему смертельный удар».

Директиву, кроме Маленкова, смотрел Жданов. В конце концов дело не в директиве, а в той уверенности, которая была у политического руководства, в способности страны отразить любое нападение и покарать агрессора. Директива была подготовлена в духе предложений Г. К. Жукова по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР, переданных в мае Сталину. Там

тоже говорилось о необходимости «упредить противника и разгромить его главные силы на территории бывшей Польши и Восточной Пруссии». Генштаб и Главное политуправление полагали, что оборона может быть лишь кратковременной: войска готовились наступать. Отразить наступление и наступать... Поэтому первые день-два у руководства не возникали мысли о катастрофе. Она как бы исключалась.

А реально произошло вот что. Хотя высшее политическое и военное руководство было предупреждено по различным каналам о предстоящем нападении фашистской Германии, оно не сделало очевидного: приведения в боевую готовность приграничных войск. Директива № 1 запоздала, если говорить о ее назначении, не менее чем на сутки. Сталин и его окружение не понимали, а военные не решились растолковать — Тимошенко вообще очень боялся вождя,— что боевая готовность — это жесткие временные параметры. Время, нужное для подъема дивизии по тревоге, сбора, марша и занятия указанных оборонительных позиций, колеблется от четырех до 20 часов. Например, в Западном особом военном округе в среднем оно находилось между четырьмя и 23 часами. А Директиву № 1 после ее принятия Генеральный штаб начал передавать в 00 часов 20 минут 22 июня. Прием в округах был завершен в 1 час 20 минут. После этого командующие со штабами изучали документ и вырабатывали необходимые в таких случаях распоряжения, указания, на что ушло еще час-полтора. По существу, времени войскам на выполнение команды о приведении в боевую готовность оставалось менее часа.

Значительное количество дивизий было поднято по тревоге лишь бомбардировками и артиллерийским налетом фашистов. Части и соединения, начав выдвижение в указанные районы, как правило, не дошли до них: встретив на своем пути танковые колонны немцев, они вынуждены были вступать в бой с ходу. Противник уделил особое внимание тому, чтобы нарушить связь, парализовать управление. Для всех было полной неожиданностью, что ударные группировки немцев к исходу первого дня продвинулись в глубь советской территории на 50—60 километров.

Войска второго эшелона начали выступать к границе под непрерывными ударами вражеской авиации, которая господствовала в воздухе с первых часов. Навстречу войскам двигались нескончаемые толпы беженцев. Связь отсутствовала. Командиры не знали обстановки. Районы, в которые предписывалось прибыть соединениям, были уже заняты противником, сумевшим в силу внезапности удара добиться тактического, оперативного, а затем и стратегического успеха. Да, именно так: из-за преступной нераспорядительности Сталина войска были поставлены в условия, когда самые авантюрные намерения немецкого командования осуществились. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер позже писал: «Наступление германских войск застало противника врасплох. Боевые порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне. Его войска в пограничной полосе были разбросаны на обширной территории и привязаны к районам своего расквартирования. Охрана самой границы была слабой».

Сталин не знал, что немецкое командование сделало ставку на решительное продвижение своих танковых клиньев в глубину советской территории, не заботясь о том, что в тылу у них оставались советские войска. Была сорвана мобилизация во многих областях. В первые же день-другой более двухсот складов с горючим, боеприпасами, различным военным имуществом, как и многие госпитали, оказались в руках врага. Неразбериха, отсутствие твердого управления резко качнули личный состав в сторону деморализации. Оперсводка № 1 от 24 июня 1941 года, подписанная начальником штаба 4-й армии полковником Л. М. Сандаловым, например, констатирует: «От постоянной и жестокой бомбардировки пехота деморализована и упорства в обороне не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части, приходится останавливать и поворачивать на фронт командирам всех соединений, начиная от командующего армией, хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не дают».

А Сталин все ждал утешительных вестей...

Когда утром 22 июня встал вопрос, кто обратится к народу с сообщением о нападении гитлеровской Германии, то все, естественно, повернулись к Сталину, но тот, почти не раздумывая, решительно отказался. В исторической литературе по сей день бытует мнение, что Сталин это сделал потому, что, как об этом говорил А. И. Микоян, был в «подавленном состоянии, не знал, что сказать народу, ведь воспитывали народ в духе того, что войны не будет, а если и начнется война, то враг будет разбит на его же территории и т. д., а теперь надо признавать, что в первые часы войны терпим поражение».

Думаю, дело обстояло не совсем так. Вопрос об обращении к народу решался ранним утром, когда еще никто в Москве не знал, что мы «в первые часы войны терпим поражение». О войне, ее угрозе народу часто говорили. Готовились к ней. этой войне, но пришла она все равно неожиданно. Сталину было многое из того, как развиваются события на границе, неясно, и он не хотел ничего говорить народу, не разобравшись в ситуации. Он никогда до этого, во всяком случае, в тридцатые годы, не делал крупных шагов, не будучи уверенным в том, как они скажутся на его положении, всегда исключал риск для авторитета вождя. Двадцать второго утром Сталин не услышал победных реляций, был в тревоге, даже в смятении, но его не покидала уверенность, что через две-три недели он «накажет» Гитлера за вероломство и вот тогда «явится» народу. Парализующий шок поразит Сталина лишь через пять-шесть дней, когда он наконец убедится, что нашествие несет смертельную угрозу не только Отечеству, но и ему, «мудрому и непобедимому» вождю.

В пользу этого мнения свидетельствуют и два документа, две директивы войскам, одобренные в 7.15 утра и в 9.15 вечера двадцать второго июня в кабинете вождя и подписанные Тимошенко, Маленковым и Жуковым. Утром, после того как решили, что к народу обратится Молотов, а также признали необходимым объявить мобилизацию на территории 14 военных округов, Сталин, еще совсем не представляя масштабов катастрофы, потребовал от военных «сокрушительными ударами разгромить вторгшегося противника». С. К. Тимошенко распорядился тут же подготовить документ, известный в истории как директива № 2 Главного военного совета:

«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО

Копия нар. ком. Воен. мор. флота.

22 июня 1941 года 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке.

Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз п р и к а з ы в а ю:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь, до особого распоряжения, наземными войсками границу не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100—150 км. Разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать.

Тимошенко, Жуков, Маленков

№ 2. 22.6.41 г. 7.15».

Директива мало похожа на военный документ. На ней лежит печать «творчества» Сталина, его политического редактирования. Она больше выглядит как акт политической воли, решительных намерений покарать вероломного соседа с едва скрытой надеждой, что, возможно, дело с войной еще удастся «уладить». Иначе трудно понять, почему «до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить». Сталин еще не знал, отдавая распоряжения на «мощные бомбовые удары», что т о л ь к о в первый день и т о л ь к о войска Западного особого военного округа потеряют 738 самолетов, из них 528 — на аэродромах. Такое же положение сложится в КОВО, ЛВО и ПрибОВО. В первые же часы войны немцы добились абсолютного господства в воздухе, уничтожив лишь за один день 22 июня свыше 1200 самолетов!

В первый день было принято много решений. Повторяю: Сталин еще не знал размеров катастрофы. Первая растерянность и подавленность прошла. Но в мозгу неотвязно вертелась мысль: как он мог довериться Гитлеру? Как фюрер смог провести его? Хорош и Молотов! Выходит, все многочисленные сообщения разведки, информация по другим каналам о готовящемся нападении Германии и конкретных сроках были верны? Выходит, даже если бы он послушался Павлова и дал указание на приведение войск в состояние полной боевой готовности несколько дней назад, многое могло начаться по-другому? Сталин давно уверовал в собственную непогрешимость, и ему все время казалось, что сегодня в кабинете «соратники» с укоризной думают о его просчетах. Сама мысль о том, что люди (не только здесь, в Кремле!) могут усомниться в его мудрости, прозорливости, непогрешимости, была в тот момент нестерпимой.

По предложению Тимошенко Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа были преобразованы во фронты: Северо-Западный, Западный и Юго-Западный. Были созданы затем также Северный и Южный фронты. Сталин все время требовал информацию о положении на границе, о принимаемых мерах по реализации директивы № 2. Несколько раз, обращаясь к Тимошенко, Жукову или Ватутину лично или по телефону, он зло спрашивал:

— Когда наконец вы доложите ясную картину боев на границе? Что делают Павлов, Кирпонос, Кузнецов (командующие фронтами.— Д. В.) Что делает Генштаб? Почему нет докладов?

Ватутин два или три раза привозил в Кремль оперативную карту с обстановкой, но утешительного там ничего не было. На ней тщательно цветными карандашами были нанесены районы расположения наших армий, корпусов, места базирования авиации, направления выдвижения из глубины соединений. Не было главного: где конкретно идут бои, где находится противник, каков характер действий советских войск. В Кремле еще не представляли масштабы разрушений немецкими войсками системы управления и связи — на Западном фронте она была почти полностью парализована. Генерал армии Павлов уже через несколько часов после начала вторжения потерял нити управления войсками своего фронта. Многомесячные, почти безнаказанные полеты немецких самолетов-разведчиков, агентурные данные позволили германскому командованию с исключительно большой точностью засечь все пункты управления, линии связи, аэродромы, склады, места дислокации частей. Первый удар агрессора — воздушный, артиллерийский, танковый — был исключительно эффективным. Заброшенные вражеские диверсанты парализовали проводную связь, которая тогда играла бóльшее значение, чем радиосредства.

А Сталин все ждал победных или по крайней мере обнадеживающих реляций. Их не было. Как только открывалась дверь его кабинета, он быстро вскидывал голову, вглядываясь в лицо входящему. Вождь нервничал. За весь первый день войны Сталин выпил лишь стакан чая. Ему казалось, что военачальники медлят, проявляют нерешительность, недостаточно поняли смысл директивы, направленной утром в приграничные округа. В гражданской войне, мы помним, его часто использовали как уполномоченного партии на различных фронтах. Он уверовал в эффективность энергичного нажима на штабы, руководителей с помощью жестких требований, угроз, различных мер административного характера. Еще тогда Сталин убедился в действенности «твердой руки». Неясная обстановка угнетала его, ждать больше он не мог. Не закончив обсуждения с Молотовым, Ждановым, Маленковым документа о создании Ставки Главного Командования, который привез Тимошенко, Сталин распорядился:

— Нужно срочно направить авторитетных представителей Ставки на Юго-

Западный и Западный фронты. К Павлову поедут Шапошников и Кулик, к Кирпоносу — Жуков. Вылететь сегодня же. Немедленно.

Подойдя к столу и оглядев всех присутствующих, вновь жестко и как бы с угрозой сказал:

— Немедленно!

Все согласно закивали. Сталину, не знавшему пока реальной обстановки на фронтах, казалось, что необходимы все новые и новые энергичные импульсы из центра, которые побудят к более решительным действиям штабы и войска. По его инициативе и требованию Ватутин к исходу дня подготовил еще одну директиву Главного военного совета (видимо, следует называть ее так, ибо Ставка под председательством Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко была создана на следующий день). Ее первоначальный вариант опять же сильно «отредактирован» замечаниями Сталина. Ввиду того что этот документ, известный как директива № 3, достаточно пространный, приведу лишь некоторые выдержки:

«Военным советам Северо-Западного, Западного и Юго-Западного и Южного фронтов.

1. Противник, нанося главные удары из Сувалкского выступа на Олита и из района Замостье на фронт Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями.

2. Ближайшей задачей войск на 23—24.6 ставлю:

а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и Западного фронтов окружить и уничтожить Сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки;

б) мощными концентрическими ударами механизированных корпусов, всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6 А окружить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский, Броды. К исходу 24.6 овладеть районом Люблин...»

Далее в директиве конкретизировались совершенно нереальные наступательные задачи армиям фронтов. Пункт четвертый, продиктованный самим Сталиным, гласил:

«На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю переход госграницы и действия, не считаясь с границей».

Само построение фразы с троекратной тавтологией слова «граница» свидетельствует о том, что Сталин был не в своей «тарелке». Директиву подписали Тимошенко и Маленков. Жуков уже улетел в Киев, но Сталин приказал поставить и его подпись.

Кончались первые сутки войны. У вождя еще была надежда, что выдвигающиеся из глубины соединения задержат, а затем и опрокинут вторгшиеся немецкие войска. Тем более что в десять часов вечера Ватутин принес оперативную сводку Генерального штаба № 2, в которой обнадеживающе резюмировалось: «С подходом передовых частей полевых войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника». Все как-то ожили, даже повеселели. Сталин и все находящиеся в его кабинете еще не знали, что немецкие войска во многих местах за сутки прорвались на десятки километров в глубь советской территории.

Начиная с утра 23 числа иллюзии, которые еще питали Сталина, начали быстро испаряться. Дважды самый влиятельный член Ставки пытался связаться лично с Павловым, но оба раза из штаба Западного фронта односложно отвечали, что «командующий находится в войсках». Ничего определенного не удалось добиться и от генерал-майора В. Е. Климовских, начальника штаба фронта. Вырисовывалась грозная догадка: штаб потерял управление войсками и не контролировал катастрофическое развитие событий.

А штаб Западного фронта действительно через сутки утратил управление

войсками. Приведу два документа, разработанных и подписанных Павловым в те трагические дни, сохраняя их стиль и орфографию:

«Шифртелеграмма № 5352
от 23 июня, 20.05.

Командующему 10 А.

Почему мех. корпус не наступал, кто виноват. Немедля активизируйте действия и не паникуйте, а управляйте. Надо бить врага организованно, а не бежать без управления. Каждую дивизию вы знать должны, где она, когда, что делает и какие результаты.

Почему Вы недаете задачу на атаку мех. корпусу. Найти где 49 и 113 с. д. и вывести.

Исправьте свои ошибки. Подвозите снаряды и горючее. Лучше продовольствие берите на месте.

Запомните, если Вы небудете действовать активно — Военсовет больше терпеть не будет.

Павлов, Фоминых».

Командующий фронтом, которому еще оставалось пробыть неделю на этом посту, из отрывочных сведений, поступающих в штаб, на четвертый день войны понял, что подвижные группы войск противника через два-три дня могут выйти к Минску с северо-запада и юго-запада. Войска 3-й и 10-й армий фронта, действовавшие в белостокском выступе, оказались в тяжелейшем положении — они были обойдены с флангов, а частично и с тыла. В этих условиях Павлов принял, видимо, верное решение на отход, поскольку видел, что в направлении Минска еще оставался коридор шириной 50—60 километров. Но осуществить это решение было крайне трудно. Сохранилась еще одна из немногих директив, которые генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов успеет подписать в этой недолгой — чуть больше недели — для него войне. Вот эта директива:

«Командармам 13, 10, 3 и 4.

Сегодня в ночь с 25 по 26 июня не позднее 21.00 начать отход, приготовить части. Танки в авангарде, конница и сильная ПТО в арьергарде...

Предстоящий марш совершать стремительно днем и ночью под прикрытием стойких арьергардов. Отрыв произвести на широком фронте... Первый скачек 60 км. в сутки и больше... Разрешить войскам полностью довольствоваться местных средств и брать любое количество подвод...

Командующий Зап. фронтом Генерал армии Павлов	Член Военсовета Зап. фронта Пономаренко.	Начальник штаба Зап. фронта Климовских».

Указывая конечную линию отхода и разгранлинии объединениям, Павлов не знал, что в войсках уже не было горючего и транспортных средств, захваченных или уничтоженных в первые дни боев противником. Беспорядочный отход соединений осуществлялся в тяжелейших условиях господства немецкой авиации в воздухе, стремительных обходных маневров подвижных групп противника. Напрасно Сталин ожидал утешительных вестей — катастрофа разрасталась.

В последующие дни Сталин, особенно к исходу месяца, осознав, наконец, масштабы смертельной угрозы, на какое-то время просто потерял самообладание и оказался в глубоком психологическом шоке. Документы, свидетельства лиц, видевших его в то время, говорят, что с 28-го по 30 июня Сталин был так подавлен и потрясен, что не мог чем-либо серьезным проявить себя. Психологический кризис был глубоким, хотя и не очень продолжительным. Но до его наступления он пытался что-то предпринять, отдавал какие-то распоряжения, пытался вдохнуть энергию в высшие органы управления. Когда двадцать третьего утром принималось решение о создании Ставки Главного Командования Вооруженных Сил, он неожиданно для всех, прервав обсуждение, предложил создать

при Ставке Институт постоянных советников. Маленков и Тимошенко, готовившие вместе документ, переглянулись, но, естественно, не возразили. Сталин быстро продиктовал состав. Приведем его точно таким и в той же редакции, как он предложил:

«При Ставке организовать Институт постоянных советников Ставки в составе тт. маршала Кулика, маршала Шапошникова, Мерецкова, начальника Военно-воздушных сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса».

Решение, оформленное как постановление правительства, передал телеграммой в округа и на фронты за своей подписью Поскребышев. Правда, этот «институт» просуществовал лишь две недели и тихо умер, не функционируя.

Думаю, к предвоенным просчетам Сталина и Генштаба следует отнести и то, что заблаговременно не было в деталях проработано создание чрезвычайного органа руководства войной (ГКО), единого органа стратегического руководства вооруженной борьбой (СВГК). Все это создавалось уже в ходе боевых действий. Генштаб был ослаблен сменой трех, одного за другим, начальников. Многочисленные недоработки сразу же дали о себе знать крайне остро.

Отрывочные сведения, поступающие из штабов фронтов, данные авиаразведки, сообщения уполномоченных Ставки повергли Сталина в состояние глубокой депрессии и парализующего замешательства. Особенно деморализующе подействовал на Сталина ответ Ватутина на его вопросы: «Как выполняется директива, направленная вечером двадцать второго в войска? Почему Генштаб ничего не докладывает? Кто командует войсками?» Тщательно подбирая слова, Ватутин кратко доложил, что Западный и Северо-Западный фронты пытались нанести контрудары, но слабое авиационное прикрытие, несогласованность действий, плохое артиллерийское обеспечение не дали желаемого результата. Войска понесли большие потери и продолжают отход. Причем часто — беспорядочный. Особенно в тяжелом положении оказались соединения и части 3-й и 10-й армий. Они практически окружены, добавил Ватутин. Танковые колонны немцев уже недалеко от Минска...

— Что вы говорите, как у Минска?! Вы что-то путаете?! Откуда у вас эти сведения?

— Нет, не путаю, товарищ Сталин,— так же негромко, извиняющимся голосом ответил Ватутин.— Данные представителей Генштаба, посланных в войска, и авиаразведки совпадают. Сегодня можно сказать, что войска первого эшелона не смогли остановить противника у границы и обеспечить развертывание подходящих войск. Фактически Западный фронт прорван...

Сталин уже двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого догадывался, что приграничные сражения проиграны, но чтобы за пять-шесть дней пустить немецкие войска на сто пятьдесят — двести километров в глубь территории страны?! Это непостижимо! Что делают Павлов, Кулик, Шапошников? Почему Генштаб не руководит войсками? Неужели это катастрофа? Военные молча выслушивали оскорбительные, злые тирады Сталина и, получив в конце концов разрешение, быстро уходили к себе в Генштаб.

На фронтах в эти первые дни войны царила полная неразбериха, а порой и обстановка хаоса, но в Кремле этого еще не знали. Штабы передавали все новые и новые приказы и распоряжения, которые отставали от стремительно меняющейся обстановки. Так было не только на Западном, но и на других фронтах.

Командир 8-го механизированного корпуса Д. И. Рябышев в специальной записке для Генерального штаба позже вспоминал о первых днях войны: «Только в 10.00 22-го мной был получен приказ командующего 26-й армией о сосредоточении корпуса западнее г. Самбор... Совершив 80-километровый марш к 23.00, войска корпуса сосредоточились в указанном районе. В 22.30 получен новый приказ; к 12.00 23-го корпус должен выдвинуться 25 км восточнее Львова. Во второй половине дня корпус, переданный уже 6-й армии, получил указание выйти в р-н Яворов... Вышли. В 23.00 командующий Юго-Западным фронтом своим приказом поставил новую задачу: выйти в р-н Броды и с утра 26-го нанести удар по противнику в направлении Берестечко. А перед этим за полутора суток корпус совершил 300-километровый марш... В районе Броды 8-й механизированный корпус сосредоточился 25 июня. С утра перешли в наступление, достигнув частичного успеха, но в целом корпус задачу не выполнил. Горючего не было. В воздухе — только немецкая авиация. В 4.00 27-го получили новый приказ: корпус отводился в резерв фронта. Начали отвод. В 6.40 — новый приказ: нанести удар по противнику в направлении Броды — Дубно. Но войска уже начали отход. В 10.00 на КП корпуса прибыл член Военного Совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Н. И. Вашугин, который, угрожая мне расстрелом, требовал выполнения приказа. Но соединения были уже окружены. Позже было установлено, что намечаемое ранее штабом фронта наступление было отменено... Лишь 2-го июля, занимая оборону в составе двух дивизий, узнали, что приказ о наступлении давно отменен... Выходили из окружения по частям. По приказу командующего фронтом отошли в район Проскуров. Послали донесение в штаб фронта в Житомир, но город был уже взят противником». В результате всех боев и бесконечных маневров, по свидетельству Д. И. Рябышева, «на левый берег Днепра было выведено не больше 10 процентов танков и 21 процента бронемашин. В дальнейшем корпус был расформирован».

Мы кратко передали горестный рассказ генерала Рябышева, которому не откажешь в мужестве. Но первые дни и недели войны высшее и фронтовое стратегическое руководство, ошеломленное непредвиденным развитием событий, вносило своими неадекватными обстановке действиями еще больше путаницы. Бесконечные перемещения, отсутствие гибкого взаимодействия, утрата управления соединениями и объединениями, незнание истинной обстановки лишь усугубляли и без того крайне тяжелое положение войск.

Сталин в глубине души все больше понимал, что довоенные просчеты, нераспорядительность, «боязнь провокаций», слабая подготовка многих вновь выдвинутых командиров и командующих сделали армию и оборону рыхлой, трудно управляемой, быстро теряющей веру в себя. Газеты писали — и верно! — о героизме красноармейцев, о подвигах летчиков, танкистов, о том, что страна поднимается на отпор врагу... Все это было так. Но на фронте, и это уже нельзя было скрыть от народа, надвигалась катастрофа. Сталин чувствовал, что страна напряженно смотрит на него, вождя, столько раз заверявшего вместе с Ворошиловым советских людей, что Красная Армия способна сокрушить любого врага.

Порой ему казалось, что положение просто безысходное. Когда во время очередного доклада Ватутин показал на карте отход 8-й и 11-й армий по расходящимся направлениям, Сталин как бы зримо увидел колоссальную брешь между Западным и Северо-Западным фронтами, достигавшую 130 километров. Главные силы Западного фронта были или окружены, или разбиты, а Юго-Западный фронт пока держался более достойно. Как мог он, Сталин, не послушать специалистов и отмести идею о наиболее вероятном направлении главного удара на Западном фронте? Какое затмение нашло на него? Почему его не убедили? Во всех кампаниях в Европе Гитлер рвался прямиком к столицам поверженных государств, чтобы быстрее вынудить противника к капитуляции. Почему военные не обратили его, Сталина, внимание на эту особенность стратегии немцев? Ведь теперь потребуются колоссальные перегруппировки войск, а время не ждет.

Сталин нервничал, что-то требовал, кого-то вызывал, временами же уединялся на даче или в кабинете и часами не давал о себе знать. Тимошенко, назначенный главой Ставки, чувствовал себя крайне неуютно в этой должности. Окружающие понимали, что фактическое главенство и полнота власти все равно остаются за Сталиным, а он вел себя как-то непривычно импульсивно,— все чувствовали его подавленность, крайнюю угнетенность духа. Из-за этого состояния Сталина, определенной растерянности Генштаба в первые три-четыре дня

не была по-настоящему оценена складывающаяся обстановка. Лишь 25—26 июня во весь голос заговорили об обороне, подготовке оборонительных рубежей, выдвижении резервов на эти рубежи. Сталин не сразу понял, что к концу месяца, когда закончился первый этап начального периода войны, мы проиграли агрессору слишком много. Только через неделю, с падением Минска, Сталин, наконец, осознал, что главное направление — Западное. В «тон» ему и Ставка в ряде случаев слала в эти дни в войска свои директивы, которые можно расценить лишь как жесты отчаяния, незнания обстановки, стремления хоть как-то и хоть где-то добиться частного успеха.

Приведем несколько таких документов Ставки, свидетельствующих о ее вмешательстве в тактические, а не стратегические вопросы.

«Командующему Зап. фронта тов. Павлову

Танки противника в районе Раков стоят без бензина. Ставка приказала немедленно организовать и провести окружение и уничтожение танков противника. Для этой операции привлечь 21 ск и частично 2 и 44 ск. Захват и разгром противника провести немедля. Удар подготовить налетом авиации.
28.06.41 г.»

Для решения тактической задачи рекомендуется привлечение сил трех стрелковых корпусов! Если учесть, в каком состоянии находился в эти дни фронт, нетрудно видеть, что эта директива, как и многие подобные, не могла быть выполнена.

Еще один документ Ставки (нарком Тимошенко — пока одновременно глава Ставки).

«Комвойсками Сев.-Зап. фронта

Нарком приказал под Вашу ответственность не позднее сегодняшнего вечера выбить противника из Двинска, уничтожить мосты и прочно занять оборону, не допустив переправы противника на северный берег р. Зап. Двина в районе Двинска. Для усиления атакующих частей использовать усиленный стрелковый полк, прибывший из 112 стр. дивизии. Если прибыли танки КВ, использовать не менее взвода для усиления штурма и расстрела огневых очагов противника. Исполнение донести в 21.00 28.06.
28.6.41 г.»

Ставка определяет использование взвода танков...

Уехав ночью на ближнюю дачу, Сталин прошел к себе в кабинет и, не раздеваясь, лег на диван, но уснуть не мог. Поднялся, прошел в зал, столовую. Отделанные под дуб темные стены как нельзя соответствовали мрачному настроению. Походил бесцельно по комнатам, косясь на телефон, — на даче было три кремлевских телефона правительственной связи, «вертушки», установленные в разных местах,— словно ожидая и боясь новых страшных вестей. Открыл дверь в комнату дежурного помощника: там сидел генерал В. Румянцев. Тот суетливо вскочил из-за стола, вопросительно уставившись на Сталина. Хозяин дачи невидящими глазами скользнул по фигуре генерала, тихо закрыл дверь и пошел к себе. Сталин обычно спал то на тахте, то на диване или кровати, находившихся в разных комнатах. Никто не знал, где он будет спать в ту или иную ночь; заботами Валентины Васильевны Истоминой чистая постель была приготовлена везде.

Он постоял у щели задрапированного окна, вглядываясь в ночные силуэты парка. Почему-то вспомнилось место из давнего письма Тухачевского: «Будущая война будет войной моторов. Концентрация бронетанковых войск позволит создавать такие ударные кулаки, противостоять которым будет чрезвычайно сложно». Неглупый был человек, но хотел, как уверял Ежов, совершить дворцовый переворот... Пожалуй, будь Тухачевский на месте Павлова, многое могло бы быть по-другому... Но к чему это он? Отогнав тени прошлого, Сталин постарался забыться во сне: действительность была страшной.

Растерянность, психологический кризис политического лидера в какой-то мере передались и высшему военному органу управления. Противоречивые, путаные, а часто «мелкие» директивы и распоряжения Ставки свидетельствуют об этом. Первое лицо не могло прийти в себя.

Представляется интересным привести свидетельство А. И. Микояна о поведении Сталина в последние дни июня 1941 года. В своих воспоминаниях он рассказывает, что Молотов, Маленков, Ворошилов, Берия, Вознесенский и он, Микоян, решили предложить Сталину создать Государственный Комитет Обороны, в руках которого сосредоточить всю власть в стране. Возглавить Комитет должен Сталин. «Решили поехать к нему,— вспоминал Микоян.— Он был на ближней даче. Молотов, правда, сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не интересуется, потерял инициативу, находится в плохом состоянии. Тогда Вознесенский, возмущенный всем услышанным, сказал: «Вячеслав, иди вперед, мы — за тобой пойдем». Это имело тот смысл, что если Сталин будет себя так же вести и дальше, то Молотов должен вести нас и мы за ним пойдем. У нас была уверенность в том, что мы можем организовать оборону и можем сражаться по-настоящему. Однако это пока не так легко будет. Никакого упаднического настроения у нас не было.

Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой сидящим в кресле. Он вопросительно смотрит на нас и спрашивает: «Зачем пришли?». Вид у него был какой-то странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. Молотов от имени нас сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы быстро все решалось, чтобы страну поставить на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин. Сталин посмотрел удивленно, никаких возражений не высказал. «Хорошо»,— говорит».

Каждый из нас, в известном смысле, живет как бы в двух мирах: внешнем, «мирском», и внутреннем, закрытом, часто загадочном. Внешний — постижим. Внутренний — труднее. Если удается что-то узнать из мира внутреннего, то понятнее становится и весь человек. Для Сталина надвигающаяся катастрофа была не только тем, чем она могла быть для каждого гражданина Отечества, это была гибель земного бога. Он падал с бо́льшей высоты, чем другие. Для человека, который поверил в свою исключительность, прозорливость, особую волю, разверзшаяся бездна была более глубокой. Несколько дней, в течение которых Сталин находился в глубоком психологическом шоке, почти параличе, поставили его на «землю».

Возможно, Сталин подумал, что приход к нему почти всего наличного состава Политбюро означает намерение сместить его со всех постов? А может быть, даже арестовать? Ведь это так удобно: все неудачи можно «повесить» на одного человека. Он, Сталин, давно убедился: в любом провале, неуспехе должен быть виновный, «козел отпущения». Людям надо дать возможность спустить пар возмущения, заклеймить виновного. Но Сталин был так высок в глазах соратников, что, похоже, сама эта мысль всерьез не могла придти им в голову. Даже в состоянии «прострации», по выражению Молотова, Сталин казался им великим, на том уровне величия, которое они сами создавали ему, а теперь хотели, чтобы он остался там, наверху, и по-прежнему руководил ими.

Тимошенко, Жуков, Генштаб, Наркомат обороны пытались на пути немецкого вала, смявшего Западный фронт, создать новый рубеж обороны, перебрасывая сюда 13-ю, 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю армии вместе с остатками выходящих из окружения частей. Терявший самообладание Сталин, резко переходивший из состояния апатии в нервное возбуждение, 29 июня дважды неожиданно появлялся в Наркомате обороны. Не стесняясь в выражениях, говорил о военных руководителях то, что думал в те драматические дни.

Осунувшееся, посеревшее лицо Сталина рельефнее подчеркивало мешки под глазами, покрасневшими от бессонницы. Сталинский интеллект постиг наконец всю величину грозной опасности: если не предпринять что-то экстраординарное, не мобилизовать все силы, то немцы очень скоро могут оказаться в Москве... И первые его шаги, которые свидетельствовали о том, что он пытался не только взять себя в руки, но и как-то контролировать обстановку, были для

него «классическими»: он стал снимать с постов военачальников. 30 июня постановлением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР и СНК СССР было оформлено создание Государственного Комитета Обороны, который возглавил Сталин. В его руках оказалась необъятная власть. Смертельная опасность, нависшая над Отечеством, потребовала концентрации всех усилий на вооруженную борьбу.

Первым шагом Сталина в новом положении явилось отстранение генерала армии Д. Г. Павлова от должности командующего Западным фронтом. Вместо него он назначил наркома обороны С. К. Тимошенко. В тот же день генерал-полковник Ф. Ф. Кузнецов, командовавший Северо-Западным фронтом, отдал приказ войскам отойти с рубежа реки Западная Двина и занять Островский, Псковский и Себежский укрепрайоны. Сталин, как только ему доложили об этом шаге командующего, велел немедленно отстранить генерала от должности. Новому командующему фронтом генерал-майору П. П. Собенникову передали приказ вождя: «Восстановить прежнее положение: вернуться на рубеж реки Западная Двина». Отступающие в беспорядке войска, получив новое распоряжение, оказались не в состоянии ни наступать, ни обороняться. Противник, почувствовав неразбериху, нанес удар в стык 8-й и 27-й армий и прорвал фронт. Эти сообщения не прибавили уверенности Председателю ГКО, который никак не мог не только обрести душевного равновесия, но и нащупать ту линию поведения, которая могла бы придать органам стратегического управления так нужные в те драматические дни четкость, последовательность и продуманность действий.

Известны рассуждения К. Клаузевица о взаимосвязи опасности и душевных проявлений полководца. В своем двухтомнике «О войне» этот немецкий мыслитель, которого высоко ценил Ленин, писал, что ум военачальника работает в стихии опасности: «Человеческой природе свойственно, чтобы непосредственное чувство большой опасности для себя и для других являлось помехой для чистого разума». Но Клаузевиц здесь же добавлял, что у большого полководца, наоборот, стихия опасности обостряет умственные и волевые проявления: «Опасность и ответственность не увеличивают в нормальном человеке свободу и активность духа, а, напротив, действуют на него удручающе, и потому, если эти переживания окрыляют и обостряют способность суждения, то, несомненно, мы имеем дело с редким величием духа». Сегодня можно сказать, что этого «величия духа» Сталин в начале войны, когда оно было так необходимо, не проявил. Более того, первая неделя-другая после начала войны свидетельствуют о глубоком духовном кризисе, подавленности или, как мы уже приводили выражение Молотова, состоянии «прострации», в которой находился вождь. В конце июня многочисленные документы Ставки не зафиксировали для истории каких-либо заметных энергичных шагов, действий, поступков первого лица государства, направленных на решительное овладение положением. Сталин оказался захваченным потоком крайне неблагоприятных событий, его, как и многих других, «несло» в этом страшном русле. Он никак не мог найти точку опоры, встать, распрямиться...

Вероятно, Сталин ожидал, что недовольство окружения, военного руководства и народа будет обращено против него, главного виновника просчетов, неудавшейся «игры» с Гитлером, беспрецедентного ослабления армии кадровым террором. Но советский народ оказался выше мести и сведения счетов со своим лидером в час смертельной опасности для Родины. «Духовное величие» у народа оказалось столь высоким, что он не унизился в тот трагический момент до выискивания виновников создавшегося положения. Мудрость народного опыта предоставляла это сделать истории. «Доброта русского народа,— писал Н. О. Лосский,— во всех слоях его высказывается, между прочим, в отсутствии злопамятности».

Кульминацией психологического шока Сталина было его поведение после того, как он узнал о падении Минска. Прочитав утреннюю сводку Генштаба, Сталин уехал к себе на дачу и почти весь день не появлялся в Кремле. К нему уехали Молотов и Берия. Трудно сказать, о чем говорила троица, но Сталин

с трудом верил, что столица Белоруссии оказалась под пятой захватчика буквально через неделю после начала войны. И здесь я хотел бы поведать читателю один исторический факт, в достоверности которого у меня не было и нет полной уверенности, но вероятность которого полностью отрицать трудно.

Во второй половине семидесятых годов, где-то в 1976-м или 1977 году меня включили в состав инспекторской группы, возглавляемой Маршалом Советского Союза К. С. Москаленко. Несколько дней мы были в Горьком. Вечерами я докладывал маршалу о ходе проверки состояния партийно-политической работы в инспектируемых частях. После этого не раз завязывался разговор о книге воспоминаний собеседника. Меня интересовали его взгляды на некоторые вопросы отечественной истории. Однажды во время такой беседы я задал маршалу вопрос, долго мучивший меня:

— Кирилл Семенович, почему вы в своей книге не упомянули факт, о котором рассказали на партактиве около двух десятков лет тому назад? Вы сами уверены, что это все было?

— Какой факт, о чем вы? — настороженно посмотрел на меня маршал.

— О встрече Сталина, Молотова и Берии с болгарским послом в конце июня сорок первого года.

Москаленко долго молчал, глядя в окно, затем произнес:

— Не пришло еще время говорить об этих фактах. Да и не все их проверить можно...

— А что вы думаете сами о достоверности сказанного Берией?

— Все, что он говорил по этому делу, едва ли его хоть как-то оправдывало... Да и трудно в его положении было тогда выдумывать то, что не могло помочь преступнику...

Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, приведу отрывок из одного документа. 2 июля 1957 года состоялось собрание партийного актива Министерства обороны, обсудившего письмо ЦК КПСС «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и др.». Доклад на активе сделал Г. К. Жуков. Выступили крупные военачальники И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, Ф. Ф. Кузнецов, М. И. Неделин, И. Х. Баграмян, К. А. Вершинин, Ф. И. Голиков, К. А. Мерецков, А. С. Желтов, другие товарищи. Выступил и К. С. Москаленко. В его выступлении был и тот фрагмент, который нас интересует:

«В свое время мы с Генеральным прокурором тов. Руденко при разборе дела Берии установили, как он показал... что еще в 1941 году Сталин, Берия и Молотов в кабинете обсуждали вопрос о капитуляции Советского Союза перед фашистской Германией — они договаривались отдать Гитлеру Советскую Прибалтику, Молдавию и часть территории других республик. Причем они пытались связаться с Гитлером через болгарского посла. Ведь этого не делал ни один русский царь. Характерно, что болгарский посол оказался выше этих руководителей, заявил им, «что никогда Гитлер не победит русских, пусть Сталин об этом не беспокоится». Это показание бывший болгарский посол дал нам совсем недавно».

Не сразу, но Москаленко разговорился. Во время той встречи с болгарским послом Иваном Стаменовым Сталин все время молчал. Говорил один Молотов. Он просил посла связаться с Берлином. Свое предложение Гитлеру о прекращении военных действий и крупных территориальных уступках (Прибалтика, значительная часть Украины, Белоруссии, Молдавия) Молотов назвал «возможным вторым брестским договором». «У Ленина хватило тогда смелости пойти на этот шаг, мы намерены сделать такой же сегодня» — так якобы со слов Берии говорил Молотов. Посол отказался быть посредником в этом «сомнительном деле», сказав, что «если вы отступите хоть до Урала, то все равно победите».

— Трудно сказать и категорично утверждать, что все так было,— задумчиво говорил маршал.— Но ясно одно, что Сталин в те дни конца июня — начала июля находился в отчаянном положении, метался, не знал, что предпри-

нять. Да едва ли был смысл выдумывать все это Берии, тем более что бывший болгарский посол в разговоре с нами недавно подтвердил этот факт.

Есть тайны и мистификации. Автор привел устное и документальное, письменное свидетельства версии, сохранившиеся в архивах и высказанные со слов других лиц маршалом Советского Союза К. С. Москаленко. На вопрос: является ли это тайной истории или мистификацией? — ответить мне трудно. Ясно одно — Сталин, как мы уже говорили, в первые недели войны явно не проявил «величия духа», о чем так долго и настойчиво говорили наши историки и писатели после войны. В обыкновенных условиях героем, «гением», кумиром быть проще, но, как проницательно заметил Тарле, «в том-то и дело, что в необыкновенных случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суворов нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила; русский народ нашел его на своем месте, как наступил необыкновенный случай 1812 года».

Народ ждал выступления Сталина. В него по-прежнему верили, с ним связывали свои надежды. Возможно, именно это помогло Сталину освободиться от психологического шока. Председатель ГКО решил выступить по радио со своим обращением к стране лишь 3 июля. Заметим попутно, что именно в тот день немецкий генерал Гальдер записал вечером в дневник: «Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России выиграна в течение 14 дней». Генерал явно поспешил: война только начиналась. Многие уже понимали, что война будет смертельно тяжелой и долгой. Сталин несколько раз переделывал свое выступление. Самым трудным для него было найти какие-то слова, аргументы, с помощью которых можно было объяснить народу происшедшее,— неудачи, вторжение, крах советско-германских договоров. На полях рукописи речи карандашные пометки Сталина: «Почему?», «Разгром врага неминуем», «Что нужно делать?». Это выглядело как своеобразный план программного выступления первого лица государства. В нем Сталин изложил основные положения, сформулированные Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня.

В своей речи вождь долго и не очень убедительно объяснял, по существу, оправдываясь, почему немецкие войска захватили Литву, Латвию, часть Украины, Белоруссии, Эстонии. В конечном счете все было сведено к фразе: «Дело в том, что войска Германии как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам». Естественно, что Сталин, говоря о советско-германском пакте, ни словом не упомянул постыдный «Договор о дружбе и границах». Уже значительно увереннее звучал голос Сталина, когда он говорил, как нужно «перестроить всю нашу работу на военный лад». В речи он впервые назвал войну «отечественной», призвав «создавать партизанские отряды», организовать «беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами», впервые публично выразил надежду на объединение усилий народов Европы и Америки против фашистских армий Гитлера. Сталин постарался успокоить народ, сказав явную неправду, что «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты». В конце речи Председатель ГКО заявил: «Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина».

Сталин уже привычно сам говорил: «партия Ленина — Сталина», а народ привычно воспринимал это как само собой разумеющееся. При той огромной слепой вере в Сталина, которая была сформирована накануне войны, речь вождя сыграла определенную мобилизующую роль, как бы дала простые ответы на вопросы, которыми мучился народ. Лишь немногие тогда были способны осознать, что катастрофическое начало войны — прежде всего результат единовластия Сталина; ее бесчисленные жертвы в первые недели — следствие просчетов «непогрешимого». Величайший парадокс: Сталин совершил много ошибок и тяжких преступлений, но благодаря созданной им системе они фантастически образом трансформировались в сознании людей как великие деяния Мессии. Один из главных, а точнее, главный виновник катастрофического начала войны тем не менее продолжал олицетворять собой надежды народа. «Работала» вера.

Потомкам остается лишь изумляться, сколь огромным было «величие духа» советского народа, нашедшего в себе силы после катастрофы первых недель войны «упереться» и выстоять. Но ценою миллионных жертв. «Величие» Сталина всегда базировалось на жертвах, многих жертвах, неисчислимых жертвах.

Жестокое время

В июле и августе Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту государственной, партийной и военной власти. 10 июля Ставка Главного Командования была преобразована в Ставку Верховного Командования во главе со Сталиным: 19 июля он был назначен Наркомом обороны Союза ССР, а 8 августа — Верховным Главнокомандующим Советскими Вооруженными Силами. С этого числа и до конца войны И. В. Сталин был Верховным Главнокомандующим. Принятие на себя всех высших постов в государстве (мы уже упоминали раньше, что с 30 июля он стал и Председателем Государственного Комитета Обороны) позволило ему сконцентрировать в своих руках невиданную власть. С начала июля шоковое состояние Сталина стало постепенно проходить, хотя и до этого он внешне держался так, что не все могли заметить его растерянность и подавленность. Прилив волевой энергии стал проявляться в активном, часто некомпетентном вторжении в самые различные сферы жизни государства, ведущего смертельную войну.

Пытаясь написать портрет Сталина, в том числе и его «полководческие» черты, мне в последующем часто придется прибегать к рассмотрению или просто упоминанию тех или иных событий Великой Отечественной войны. Мне лишь хотелось бы предупредить читателя, что не вижу возможности охватить всю войну, ее операции и сражения и в ряде случаев не придерживаюсь и строгой хронологической последовательности, поскольку моя главная цель — рельефнее показать Сталина в качестве Верховного Главнокомандующего.

В первый период войны Сталин работал по шестнадцать — восемнадцать часов в сутки, стал еще более жестким, нетерпимым, часто злым. Ежедневно ему докладывали десятки документов военного, политического, дипломатического, идеологического и хозяйственного характера, которые после его подписи становились приказами, директивами, постановлениями, решениями. Надо сказать, что сосредоточение всей полноты власти в одних руках имело и свои положительные, и свои отрицательные стороны. Конечно, в чрезвычайных условиях централизация власти позволяет с максимальной полнотой сконцентрировать усилия государства на решении главных задач, но абсолютное единовластие также резко ослабляет самостоятельность, инициативу, творчество всех других органов. Ни одно крупное решение, акция, шаг невозможны без одобрения первого лица. В результате получалась такая картина: у Сталина часто бывали в кабинете члены Политбюро, ГКО, Ставки, и порой нельзя было понять, идет заседание Политбюро или Государственного Комитета Обороны. А может быть, это совещание Ставки. Фактически только Сталин знал, что это такое, поскольку он олицетворял все три высших органа. В Ставке фактически из ее членов работали непосредственно около Сталина лишь два-три человека.

Конечно, работали все, но работали, выполняя поручения Сталина. Собственно в войне, если говорить о вооруженной борьбе, из членов Политбюро, кроме Сталина, заметную роль играли Вознесенский и Хрущев. Что касается Ворошилова, то после неудачных оборонительных операций он утратил «оперативное» доверие у Сталина. Жданов и Хрущев как члены военных советов направлений и фронтов были активными проводниками воли Сталина. Калинин оформлял решения вождя соответствующими указами принимал участие

в пропагандистской деятельности. Микоян и Каганович много занимались транспортно-хозяйственными, продовольственными вопросами и как члены военных советов фронтов фактически не привлекались, если не считать временного пребывания Кагановича на южных участках фронта в качестве члена Военного совета. Маленков, по сути, был человеком для выполнения поручений Сталина в аппарате. Несколько раз он выезжал на фронт по заданиям Верховного, в частности в Сталинград. Но он не оставил никакого следа в этой деятельности из-за полной оторванности от военных дел и в силу своей некомпетентности в этой области. Активно занимался экономическими вопросами страны Вознесенский, роль которого в войне еще по-настоящему не оценена. Молотов с 30 июня 1941 года и до конца войны был заместителем Председателя ГКО, решая в основном международные вопросы. Берия занимался своими мрачными делами, дважды выезжал на Закавказский фронт по заданию Сталина. В его ведении были «очистка» тылов войск, лагеря для немецких пленных и советских военнослужащих, «тюремная» промышленность, работавшая на войну. Андреев курировал сельское хозяйство, снабжение фронта.

Фигура Сталина при его абсолютном единовластии как-то вытеснила из жизни партии в годы войны Центральный Комитет, притом что роль низовых партийных организаций на фронте и в тылу была огромна. Работу ЦК олицетворял его аппарат. Пленумы ЦК в годы войны не собирались (за исключением Пленума, состоявшегося в январе 1944 года, рассмотревшего вопрос о расширении прав союзных республик в области обороны и внешних сношений), хотя в октябре 1941 года члены Центрального Комитета были вызваны в Москву, два дня прождали открытия Пленума, но Сталину и Маленкову было «некогда», и он не состоялся.

Сталин мало обращал внимания на разграничение функций высших органов, да это и не имело особого смысла: все равно во главе всех их был он сам — Секретарь ЦК, Председатель Совнаркома, Верховный Главнокомандующий, Председатель ГКО, Председатель Ставки, Нарком Обороны. Документы он, правда, подписывал по-разному: от имени ЦК, Ставки, ГКО или Наркомата Обороны. Не ставя под сомнение необходимость централизации всей власти в военное время в одних руках, все же однозначно можно сказать, что такая концентрация власти должна иметь пределы, прежде всего в партийной сфере, не низводить окружение до роли статистов и поддакивателей.

Сталин все «замкнул» на себя, и, каким бы ни было наше отношение к нему сегодня, нельзя не признать нечеловеческого по тяжести и ответственности объема работы, который лег на его плечи. Если хозяйственные, политические, дипломатические вопросы в немалой степени решали другие члены Политбюро, члены ГКО, то военные и военно-политические вопросы пришлось решать ему, Верховному Главнокомандующему. К счастью, в составе Генерального штаба, высшего военного руководства, быстро выдвинулась и проявила себя целая плеяда выдающихся военачальников.

Лето сорок первого было особенно жестоким. Мы долго в наших книгах и учебниках писали об этом времени лишь как о «крахе блицкрига», «провале гитлеровских планов», «планомерном отступлении», «временных неудачах наших войск». На историю незачем наводить глянец, у нее есть одна, возможно, коренная особенность: она признает только истину, которая рано или поздно займет свое место в ее анналах. Часто она там оказывалась «лишней». В монографиях и многотомниках по отношению к нашим войскам нельзя было встретить слов «поражение», «катастрофа», «окружение», «паника». А они были. Были, прежде чем пришли выстраданные, такие желанные, добытые огромной кровью победы.

Сталин, возглавив Вооруженные Силы, мучительно пытался разобраться, что же происходило на фронтах. Где линия фронта сегодня? Что нас ждет завтра? Где удастся наконец остановить немецкие войска? Как быстро компенсировать громадные людские потери и утрату огромного арсенала оружия и боевой техники? Сталин подолгу заслушивал Жукова, Ватутина, Василевского, других генштабистов, молча стоял над картой, разложенной на его большом столе. Так как он был сугубо кабинетным руководителем, ему было трудно уловить, услышать, почувствовать, глядя на карту, читая донесения, лихорадочное биение пульса истекающей кровью армии, грохот канонады сражений, стальной лязг гусениц прорвавшихся немецких танков, треск городских пожаров, предсмертные хрипы умирающих бойцов... Тень «сабельной» гражданской войны как-то сразу отодвинулась далеко в прошлое. Это была совсем другая война.

До Сталинградской битвы многие решения Сталина были импульсивными, поверхностными, противоречивыми, некомпетентными. Хотя и позже он нередко задавал окружению и штабам «ребусы». Вот один из документов, написанных лично Сталиным в 1942 году, без названия и, пожалуй, смысла. Видимо, Сталин, отдавая указания и одновременно рассуждая, набросал этот документ, который даже посвященному понять непросто:

«1) 40-я армия — 7 с.д. + 2 танк. бр.
2) Катукова — в спину 48 армии.
3) Мишулин — остается на месте.
4) Мостовенко — в район 61 ар.
5) Лизюков — в р-е западнее Ельца.
6) Главная задача — на севере.
7) 40-я тоже наступает.
Документ написан лично тов. Сталиным.

Генерал-майор Штеменко».

Иногда после докладов об очередной неудаче или отходе войск Сталин диктовал не оперативные, а «карательные» распоряжения. Даже когда они подписаны Жуковым, Василевским, Шапошниковым, Ватутиным, можно безошибочно узнать их автора. 10 июля 1941 года, например, когда стало ясно, что войска Северо-Западного фронта вновь не смогли задержаться на выгодном рубеже, и в донесении штаба упоминалось о действии диверсионных групп в тылу войск, Сталин тут же отреагировал:

«Ставка Главного Командования и Государственный Комитет Обороны абсолютно не удовлетворены работой командования и штаба Северо-Западного фронта.

Во-первых, до сих пор не наказаны командиры, не выполняющие Ваши приказы и, как предатели, бросающие позиции и без приказа отходящие с оборонительных рубежей. При таком либеральном отношении к трусам ничего с обороной у Вас не получится. Истребительные отряды у Вас до сих пор не работают, плодов их работы не видно, а как следствие бездеятельности командиров дивизий, корпусов, армий и фронта части Северо-Западного фронта все время катятся назад. Пора это позорное дело прекратить... Командующему и члену Военного совета, прокурору и начальнику 3-го управления — немедленно выехать в передовые части и на месте расправиться с трусами и предателями».

Перед войной не подготовили специального защищенного места для работы Ставки, высшего стратегического органа управления войсками. Ни в Кремле, ни на дачах Сталина защищенных пунктов управления также не было, хотя в свое время и Тимошенко, и Жуков настаивали на их создании. Поэтому в первые месяцы войны Сталин часто бывал в особняке на улице Кирова, рядом со зданием, где находились некоторые управления Генштаба. Станция метро «Кировская», отключенная от транспортной сети, служила хорошим бомбоубежищем. Карты с обстановкой были у Сталина как в кремлевском кабинете, так и на «Кировской». А позже, когда к зиме 1941 года подготовили небольшое убежище на ближней даче, там же оборудовали и пункт связи, с которого он мог говорить с фронтами.

Глядя на карту с очередной обстановкой, подготовленную в Генштабе, Сталин отчетливо видел три основных направления, по которым противник стремительно развивал наступление: на северо-западе в сторону Ленинграда, на западе в направлении на Москву и на юго-западе — на Киев. Возможно, именно тогда Сталин принял первое крупное стратегическое решение в войне, пред-

ложив создать три Главных Командования на каждом из этих направлений. Генштаб, естественно, поддержал его. Уже 10 июля решением Ставки были образованы Северо-Западное Командование — с главнокомандующим К. Е. Ворошиловым и членом Военного совета А. А. Ждановым; Западное — с главнокомандующим С. К. Тимошенко и членом Военного совета Н. А. Булганиным; Юго-Западное — с главнокомандующим С. М. Буденным и членом Военного совета Н. С. Хрущевым. Видимо, решение было правильным в принципе, но главкоматы по-настоящему себя проявить так и не сумели. Основная причина кроется опять в Сталине: создав эти органы стратегического управления, Верховный Главнокомандующий не наделил их ни должными правами, ни самостоятельностью. Через их голову шли распоряжения в войска. К тому же штабы главкоматов и не планировалось создавать — для них не оказалось ни соответствующих кадров, ни опыта их использования, ни элементарного технического обеспечения. Скоро главкоматы стали объектами сталинских разносов и упреков в «пассивности и безволии».

С высот сегодняшних дней видно, что одна из причин крупных поражений кроется и в стратегическом построении войск. Не секрет, что первый стратегический эшелон состоял главным образом из наступательных группировок, которым сразу же пришлось обороняться. Фактически лишь 27—30 июня фронтам была ясно поставлена задача переходить к стратегической обороне, хотя уже тогда проницательным умам было ясно, что весь начальный период войны нами был проигран вчистую.

В результате ошибочного ожидания направления главного удара вермахта накануне войны с ее началом вскоре потребовались крупные стратегические перегруппировки. В первый период войны из-за плохого предвидения, низкой проницательности Сталина значительная часть наших войск не столько воевала, сколько перемещалась, что часто давало возможность противнику бить отдельные соединения и объединения по частям. Сталин был вынужден чуть ли не все наличные резервы стягивать на Западное направление. Стратегические ошибки предвоенного периода потребовали огромной кровавой платы.

Ожидая около трех часов ночи военных товарищей для очередного доклада за прошедшие сутки, Сталин медленно прохаживался около длинного стола, на котором лежала оперативная карта с данными, нанесенными к утреннему докладу. Северный фронт его не беспокоил — здесь активные боевые действия начались лишь в конце июня. Значительно хуже дела обстояли на Северо-Западном фронте: за две с небольшим недели войска отступили почти на 450 километров, оставив Прибалтику, не использовав выгодные рубежи для обороны на реках Немане и Западной Двине. Новый командующий П. П. Собенников не оправдал, по мысли Сталина, его надежд. Через полтора месяца после назначения он будет смещен.

Особую тревогу вызывало положение Западного фронта. Сталин пристально смотрел на причудливую конфигурацию фронта, которая от границы к 10 июля (подумать страшно!) отстояла уже на 450—500 километров... Горечь унижения и бессильная ярость подкатывали к горлу Председателя ГКО. Фронт, имевший в своем распоряжении 44 дивизии, не остановил нашествие! Как он, Сталин, мог передовериться Павлову?! Как тот его подвел! Нужно сегодня же распорядиться об ускорении следствия и суда над командованием Западного фронта.

Размышляя над картой, Сталин едва ли знал, что почти половина дивизий фронта к началу войны была небоеготова: 12 из них только начали отмобилизование, а два формируемых корпуса совсем не имели танков. Накануне войны Сталин, анализируя соотношение сил, очень увлекался подсчетом количества дивизий, сил и средств вооруженной борьбы, но при этом упускал качественную сторону процесса: укомплектованность войск боевой техникой, их сплоченность, обученность личного состава. До начала войны он все требовал формирования новых соединений, хотя их уже и так было свыше двухсот. Качественное состояние войск к началу войны явно уступало вермахту.

На карте две жирные синие стрелы сошлись 29 июня восточнее Минска, а это значило, что главные силы Западного фронта оказались в окружении. Сегодня Сталину докладывали, что из окружения продолжают выходить группы и одиночки... А ведь 3-я, 4-я и 10-я армии фронта считались особо боеспособными. Он про себя отметил, что надо подписать бумагу, которая только что пришла от Берии о создании новых 15 специальных лагерей для проверки вышедших из окружения...

Цепкая память Сталина запечатлела цифровые выкладки утреннего доклада одного из первых дней июля: из 44 дивизий фронта 24 полностью разгромлены, а остальные 20 дивизий утратили от 30 до 90 процентов сил и средств. Налицо поражение главного фронта, предопределившее неудачи и других. Прав Жуков, размышлял Сталин, предлагая из 22-й, 19-й, 20-й, 13-й и 21-й армий, включенных в состав фронта, создать новый рубеж обороны по Западной Двине и Днепру. Сталин, и это нельзя отрицать, в трагической круговерти военных будней начал немедленно постигать основы стратегии. Он никогда и никому в будущем не скажет, что к тайнам стратегии, диалектике формирования замыслов и решений на операции ему помогли приобщиться Жуков, Шапошников, Василевский, Антонов, Ватутин, другие выдающиеся военачальники. Но придет время, и будут восприниматься как само собой разумеющиеся глубоко ложные утверждения о том, что именно он, Сталин, внес принципиально новое в военную науку. Например, идею артиллерийского наступления, новых способов окружения противника, путей завоевания господства в воздухе, создания многоэшелонной гибкой обороны и так далее. Он и сам поверит в свое пионерство. Пройдет не очень много времени, и он забудет об унижении своего поражения как политического и военного стратега в первый период войны.

А пока жестокие будни напоминают ему, руководителю Ставки, что все висит на волоске. Ясно, что после Минска немцы нацелились на Смоленск и Москву. Продолжая читать оперативную карту, Сталин, наверно, с горечью отмечал, что не на юге, как он предполагал, немцы нанесли свой главный удар. А ведь там было размещено 58 дивизий, из них 16 танковых и восемь моторизованных! Но и там главные силы фронта, оказавшиеся как бы в «стороне» от направления основного удара врага, тоже не смогли отразить наступление, что было вполне реально. Неудачное построение войск на Юго-Западном направлении привело к тому, что танковый кулак немцев устремился в слабо защищенный стык между Луцком и Дубно. Сталин помнил, что еще 30 июня Ставка разрешила отвести войска фронта к рубежу укрепрайонов старой границы, что означало отступление на 300—350 километров. В общем, полагал он, фронт несколько приостановил наступление врага, но остановить его не сумел. На Южном фронте положение не лучше.

Сталину вспомнились предвоенные игры. На них обычно после короткого периода отражения наступающего «противника» следовал мощный удар, после которого начиналось преследование «разбитого врага». Подобная доктринальная концепция, а она господствовала накануне испытаний, была полностью опровергнута началом Великой Отечественной войны. Сама суровая обстановка заставляла сейчас Ставку, штабы фронтов и армий переходить к стратегической обороне, к которой не готовились, которой не учились. Исповедуя оборонительную доктрину, учились, однако, главным образом алгебре наступления. Плоды этих ножниц были ужасными. Потери были огромными: около 30 дивизий фактически перестали существовать, и около 70 потеряли более 50 процентов личного состава; утрачено около трех с половиной тысяч самолетов; лишились более половины складов горючего и боеприпасов. И это лишь за три недели войны! Конечно, размышлял Сталин, немцам дался недешево этот успех — по докладам фронтов, агрессоры потеряли более миллиона солдат и много техники. Но, как станет ясно много позднее, данные о потерях противника были сильно завышены.

Еще никто не знал, что в действительности за три недели благодаря героизму солдат, командиров, политработников удалось уничтожить на советско-

германском фронте около 150 тысяч солдат и офицеров вермахта, более 950 самолетов, несколько сот танков. Сталину же данные за две недели боев доложили другие. Пожелтевший архивный лист дает «потолочные» цифры:

«Потери самолетов:
Противник минимум — 1664
Наши потери — 889
танков:
Противник — 2625
Наши — 901

Потери в людском составе у противника: убитых — 1 млн. 312 тыс. Кроме того, в ожесточенных боях на разных участках пр-к нес огромнейшие потери, но, так как наши части отходили, учесть потери невозможно. Много уничтожено и еще не учтено диверсантов-парашютистов.

Пленных 30 тыс. 004 человека, кроме того, много взято в плен парашютистов, но не учтены. Наши потери пропавших без вести и пленных до 29.06. около 15.000 человек.

Уничтожено в Балтийском море 5 пл и 1 в Черном море. Уничтожено два монитора».

Вот такие были путаные и явно искаженные данные. Трудно, судя по ним, иметь подлинное представление о положении дел на фронтах, соотношении сил, реальном наличии авиации, танков. Однако такая «статистика» не случайность. Все это плоды единовластия, когда не всякая правда была нужна. Развал управления фронтов, армий, окружение десятков соединений тем не менее сопровождались составлением сводок, не имеющих ничего общего с действительностью. Но ведь Сталин руководствовался ими! Он не допускал и мысли, чтобы его обманывали! Поэтому часто решения, принимаемые в то время Ставкой, исходили из желаемого, предполагаемого, вероятного, а не строго реального.

Но, как бы там ни было, первоначальная мощь удара немцев была заметно ослаблена. А главное, немецкому командованию не удалось уничтожить основные силы Красной Армии. Под Смоленском были впервые остановлены стратегические силы немцев. Армия сражается. Отступает, но сражается. Оглядывая на карте невеселую, немую панораму жестокой войны, Сталин исподволь приходил к выводу: война будет долгой. Если устоим в ближайшее время, есть шанс, что ветер победы будет дуть и в наши паруса. Забегая вперед, скажу, что после первых крупных успехов, до которых еще далеко, у Сталина быстро появятся признаки переоценки своих возможностей, что приведет к крупным и тяжелым ошибкам в 1942 году.

Выслушав молча очередной доклад Жукова о положении дел на фронтах, Сталин сказал:

— Повторите: какая укомплектованность личным составом и техникой войск Западного фронта?

— В среднем десять — тридцать процентов. Лишь отдельные части имеют людей, артиллерию и танки до пятидесяти и более процентов. Отдельные,— подчеркнул Жуков.— Фактически такая же картина на Северо-Западном фронте. Несколько лучше положение на Юго-Западе. Особенно тяжело, что потеряли бо́льшую часть противотанковой артиллерии. Нужно что-то делать для усиления, наращивания противотанковых возможностей.

Обсудив необходимые меры по ускорению выпуска противотанковой артиллерии, позвонив при этом Вознесенскому, Сталин, в упор глядя на Жукова, спросил:

— А что можно сделать непосредственно сейчас, сегодня, для усиления наших возможностей борьбы с танками? Что, военные не видят больше иных средств, кроме артиллерии?

— Почему же, товарищ Сталин! Многое может сделать и авиация.

Жуков объяснил технические и боевые возможности авиации в борьбе с танками. Сталин как-то ожил и приказал немедленно подготовить директиву Ставки. Жуков вышел и через полчаса принес документ:

«Командующим фронтами: Северным, Северо-Западным, Западным, Юго-Западным и Южным.

Командующему ВВС Красной Армии.

Истекшие 20 дней войны наша авиация действовала главным образом по механизированным и танковым войскам немцев. В бой с танками вступали сотни самолетов, но должного эффекта достигнуто не было, потому что борьба авиации против танков была плохо организована. При правильно организованном ударе авиацией танковые части могут быть не только остановлены, но и разгромлены.

1. Атаку танковых войск (колонн) возглавлять пушечными истребителями и пушечными штурмовиками с одновременным сбрасыванием зажигательных средств. Атаку проводить широким фронтом, несколькими заходами, перпендикулярно колонне танков.

2. Вслед за пушечными истребителями и штурмовиками атакуют бомбардировщики всех типов, сбрасывая фугасные и зажигательные бомбы. Атаки производить эшелонами девяток с индивидуальным прицеливанием».

Что еще можно сделать, чтобы как-то переломить катастрофическое развитие событий? Сталин мучительно думал, постепенно оправляясь от потрясения, какого он никогда ранее не испытывал в жизни. 5 июля распорядился направить в войска телеграмму:

«Командующим фронтами (за исключением Закавказского и ДВФ). В боях за социалистическое Отечество против войск немецкого фашизма ряд лиц командного, начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава — танкистов, артиллеристов, летчиков и других проявили исключительное мужество и отвагу. Срочно сделайте представление к награждению правительственной наградой в Ставку Главного Командования на лиц, проявивших особые подвиги». После публикации в газетах Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении (первом в Отечественной войне) звания Героя Советского Союза М. П. Жукову, С. И. Здоровцеву, П. Т. Харитонову за воздушные тараны вражеских бомбардировщиков Сталин позвонил в агитпроп ЦК:

— Шире пропагандируйте героизм советских людей. Вспомните ленинский призыв: «Социалистическое Отечество в опасности!» Внушайте, что фашистских мерзавцев можно и нужно разгромить! — И, не дожидаясь ответа, положил трубку. Он заметил, что в оценке фашистов, Гитлера стал часто пользоваться словом «мерзавец». Нужно морально поощрить людей. Каждый день донесения, печать говорят о том, что тысячи солдат, командиров, политработников, жертвуя жизнью, бьются за каждый рубеж...

Сталин, борясь за власть, использовал свое главное оружие: монополизированное право на трактовку, понимание Ленина. Это всех обезоруживало. Никто так и не смог подобрать противоядия этому приему Сталина. Любой, кто выступал против генсека, невольно выступал как бы уже и против Ленина. В конце концов Сталину это обеспечило не только место на самой вершине власти, но и неплохое, хотя и догматическое, знание Ленина. В любой речи он мог по памяти использовать несколько цитат вождя. Вот и сейчас, закончив диктовать не очень «складную» телеграмму фронтам («проявивших особые подвиги»), вспомнил подходящую цитату из Ленина. Только народная власть может вызвать у трудящихся «настоящий героизм самопожертвования». Но телеграмма уже была продиктована. Жуков стоял, молча смотрел на Сталина, и было видно, что очень спешил. На его молодом лице под глазами появились темные круги — видно, давно не спал. Сталин посмотрел еще раз на Жукова, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой:

— Идите...

Кроме чисто военных дел, Сталину ежедневно по нескольку часов приходилось заниматься экономическими, промышленными, организационными вопросами. Вот и на днях они с Маленковым и Жуковым рассмотрели вопрос, поставленный Ленинградской партийной организацией, о создании ополченских дивизий. Сталин еще не мог знать, что этот почин выльется в мощное движение и к концу года будет создано около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, сыгравших заметную роль в обороне Отечества.

4 июля Вознесенский и Микоян доложили проект решения ГКО «О выработке военно-хозяйственного плана обеспечения обороны страны». Сталин почти без рассмотрения подписал проект — в приемной толпились военные. А он уже ждал только все худших и худших вестей. Вознесенский, торопясь, успел доложить Сталину, что 30 июня СНК СССР утвердил общий мобилизационный народнохозяйственный план, предусматривавший перестройку народного хозяйства на военный лад в кратчайшие сроки. Перед Вознесенским у Сталина был Шверник — председатель Совета по эвакуации, докладывавший, как идет выполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК «О порядке вывоза и размещения контингентов и ценного имущества». Планом предусматривалось первоначально переместить на восток лишь предприятия, расположенные вблизи границы. Но уже через несколько дней военные неудачи заставили коренным образом переработать расчеты. Никто еще не знает, что усилиями советских людей, железнодорожного транспорта в предельно короткие сроки (к январю 1942 года) будет перемещено и вскоре введено в строй 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 оборонных. Переоценить этот факт невозможно. Только ценой неимоверных, фантастических по самоотверженности усилий советских людей целая индустриальная держава переместилась за тысячи километров на восток и быстро начала пополнять утраченный военный арсенал. Достаточно сказать, что, несмотря на великое переселение, часто под бомбежками в 1941 году оборонная промышленность выпустила 12 тысяч боевых самолетов, 6,5 тысячи танков, около 16 тысяч орудий и минометов!

Приняв на полтора часа военных, Сталин вновь вернулся к партийным и государственным делам, подписав предложение Маленкова о назначении на 1170 крупных военных заводах и предприятиях тяжелой промышленности парторгов ЦК. Сталин написал на листке бумаги записку Маленкову:

«Советую подумать о создании этого института и в политотделах МТС и совхозов».

Сегодня мы знаем, что в ноябре было принято решение о создании нескольких тысяч политотделов в МТС и совхозах. На сельское хозяйство в результате утрат огромных территорий и ухода рабочей силы на фронт легла тяжелейшая задача обеспечения армии и страны продовольствием.

Так складывался почти каждый рабочий день у человека, вобравшего в себя все мыслимые высшие должности. Война еще больше утвердила его в положении абсолютного диктатора.

Иван Владимирович Ковалев, бывший нарком путей сообщения, рассказывал мне: «Помню, пригласили меня, тогда начальника Управления военных сообщений, на совещание в Кремль. Смотрю: железнодорожники, военные, работники ЦК. Здесь же Каганович, Берия, который курировал одно время транспорт. Зашел Сталин. Все поднялись. Он без предисловий: ГКО принято решение создать Транспортный комитет. Предлагаю избрать председателем комитета товарища Сталина. Так сам и сказал. Помню одну фразу с того далекого совещания: «Транспорт — это вопрос жизни. Дела фронта в руках транспорта. Запомните: за неисполнение директив ГКО — военный трибунал»,— так негромко, с акцентом сказал, но мурашки по спине побежали...»

За войну Ивану Владимировичу пришлось многие десятки раз докладывать Верховному о подаче эшелонов — какому-то району фронта. Бывало, об отдельных эшелонах с особо важным грузом он докладывал Сталину по его указанию через каждые два часа. Был случай, когда он «потерял» один эшелон. Сказал, что на такой-то станции, а его там не оказалось. Сталин тогда едва сдержал гнев:

— Не найдешь, генерал, пойдешь на фронт рядовым...

(К слову сказать, угроза не для красного словца. Работая в архиве, я однажды столкнулся с фактом, когда Москвин Николай Иванович, бывший генерал-майор, был разжалован по распоряжению Сталина в рядовые и направлен на фронт.— Д. В.).

— А Поскребышев мне, бледному как мел, добавил: «Смотри, нарвешься. Хозяин на пределе». Когда я приходил докладывать Сталину,— продолжал свой рассказ Ковалев,— у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Я еще про себя думал: мешают только. Вопросов никогда не задают, сидят и слушают, что-то записывают. А Сталин распоряжается, звонит, подписывает бумаги, вызывает Поскребышева, дает ему поручения. А те сидят и смотрят то на Сталина, то на вошедшего. И так я эту картину заставал десятки раз. Видимо, Сталину нужно было их присутствие то ли для возникающих поручений, то ли для свидетельства истории... Кагановича там обычно не было: этот работал по восемнадцать часов в сутки. Ругань, шум, угрозы. Каганович ни себя не жалел, ни других. Но у Сталина сидящим, как те трое, я его не видел. Когда Сталин говорил по телефону, я заметил, что он всегда произносил лишь несколько фраз и клал трубку. Сам говорил коротко и требовал кратких докладов. Ему нельзя было докладывать что-то приблизительное, сразу зловеще понижал голос: «Не знаешь? А чем ты занимаешься?»

Много, очень много раз был я у Сталина,— закончил свой рассказ Иван Владимирович,— но ни разу не приходил к нему спокойным. Всегда ждешь вопроса, на который не знаешь, как ответить. Был страшно сух. Вместо «здравствуйте» едва кивнет головой. Доложишь, нет вопросов — и скорее уходи с облегчением. Быстрее! Поскребышев еще так наставлял. Заметил, что своей властью, памятью, умом он всех как-то подавлял, принижал. Человек, приходящий к нему, чувствовал себя еще более незначительным, чем он был на самом деле...

Думаю, что наблюдения Ковалева интересны и позволяют глубже понять интеллект, чувства, волю Сталина не только во время войны. Анализ документов, обсуждений разных вопросов у вождя показывает, что и в войну очень немногие отваживались спорить со Сталиным, отстаивать свою точку зрения. Он действительно подавлял всех своей властью.

Первые месяцы войны Верховный львиную долю своего внимания уделял вопросам военным, однако Поскребышев находил «окна», чтобы к Сталину «проникали» не только отдельные члены Политбюро, но и наркомы, конструкторы, даже директора крупных заводов. В это время он нередко сбивался на самую настоящую «мелочевку»: занимался распределением мин и винтовок, указаниями по направлению гражданского населения на рытье противотанковых рвов, просмотром проектов сообщений Информбюро, другими незначительными делами. Например, один из документов Ставки, адресованный ВВС, поступил в шифровальный отдел и пролежал там больше восьми часов. Сталин, узнав об этом, приказал срочно подготовить приказ Наркома обороны, в котором полковнику Иванову И. Ф. и старшему лейтенанту Краснову Б. С. объявлялись взыскания и они изгонялись из Генштаба. Сталин, подписав приказ, еще наложил и резолюцию:

«тт. Василевскому и Жигареву.

Прошу начальника оперативного управления Генштаба и командующего ВВС навести порядок — каждого на своем месте в шифровальном деле.

25.08.41 г. И. Ст.»

И это тогда, когда на фронтах в дни страшного жаркого августа решалось неизмеримо куда более важное! Просто привычка, выработавшаяся годами, держала Сталина: вершить, решать все самому. Решать за всех. Вскоре сама фронтовая действительность внесет коррективы в порядок, стиль, методы работы Верховного.

Втягиваясь в жестокий ритм войны, но действуя лишь как лицо, одобряющее или не одобряющее предложения Генштаба, Сталин все время пытался найти какие-то дополнительные рычаги влияния на обстановку. Вот, и мы об этом говорили, подписал директиву об активизации борьбы авиации с танками. После докладов о том, что нечем вооружать пополнение, Сталин настоял, чтобы в войска направили специальную директиву Ставки по этому вопросу:

«Разъяснить всему командному, политическому и рядовому составу действующих войск, что потеря оружия на поле боя является тягчайшим нарушением военной присяги и виновные должны привлекаться к ответственности по

законам военного времени. Усилить штатные команды по сбору оружия дополнительным количеством личного состава и возложить на них ответственность по сбору всего оружия, оставленного на поле боя».

Но и тогда, когда судьба страны (и его, вождя!) качались на острие ножа войны, Сталин начал вносить и «лично» свои предложения, в значительной мере навеянные воспоминаниями о гражданской войне. После разговора по «Бодо» с Буденным он как-то неожиданно проявил повышенный интерес к кавалерии. В это время под руководством Жукова в Генштабе готовился документ Ставки об опыте войны за ее первые три недели, который предполагалось разослать главкомам, командующим фронтами и армиями. Документ был почти готов. Сталин его прочел, в основном одобрил, но приказал включить еще один пункт:

«Четвертое. Нашей армией несколько недооценивается значение кавалерии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника растянулся на несколько сот километров в лесных местностях и совершенно не обеспечен от крупных диверсионных действий с нашей стороны, рейды красных кавалеристов по растянувшимся тылам противника могли бы сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения немецких войск. Если бы наши кавалерийские части, болтающиеся теперь на фронте и перед фронтом, были брошены по тылам противника, он был бы поставлен в критическое положение, а наши войска получили бы громадное облегчение. Ставка считает, что для таких рейдов по тылам противника достаточно было бы иметь несколько десятков легких кавдивизий истребительного типа в три тысячи человек каждая с легким обозом, без перегрузки тылами».

Идея, как будто не лишенная смысла, вместе с тем пыталась вернуть действительность не только в невозвратное время гражданской войны, но и в затянутую дымкой эпоху далекой Отечественной войны 1812 года. Изощренная мысль Сталина, слабо опирающаяся на выводы военной науки, которую он знал на уровне обыденного сознания, просто здравого смысла, искала пути выхода из крайне критического состояния, в которое поставили страну его просчеты и коварство Гитлера. В спорте — классической борьбе — подобное критическое состояние возникает, когда соперник ставит противника в положение «моста», стремясь прижать его лопатками к ковру. Если это удается, засчитывается чистая победа. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 1941 года Сталин держал «мост». Не он, конечно,— страна, народ, армия. Но и он, как всегда олицетворяя их, был поставлен Гитлером в абсолютно непривычное для него положение, столь отчаянное, что видел панацею в любом возможном средстве, заставляя готовить директивы, подобные инструкциям о создании и использовании легких кавалерийских дивизий...

При одном воспоминании о Павлове к Сталину подступал пароксизм злобы: как мог комфронтом за одну неделю все потерять? Ведь когда он принимал его здесь, в своем кабинете, перед назначением на должность командующего Западным особым военным округом, Павлов произвел на него неплохое впечатление. Четкий доклад, зрелые рассуждения, уверенность. Правда, опыта у него было мало: такой взлет после Испании... Как он мог выпустить рычаги управления войсками? Что делал его штаб? Почему не держал в боеготовности войска? Сталин уже не хотел вспоминать, что в июне он и Тимошенко получили две или три шифровки Павлова с настоятельной просьбой о выводе войск на полевые позиции, в них он добивался разрешения на частичное отмобилизование, доказывал необходимость усиления войск округа радиосредствами и новыми танками... Вождь вновь и вновь возвращался к одному и тому же вопросу: как мог Павлов так бездарно все потерять? Сталин подошел к столу и нажал кнопку вызова. Тут же бесшумно появился Поскребышев с блокнотом в руке.

— Кто, кроме Павлова, отдан под суд военного трибунала? Когда суд? Где проект приговора? — Не дожидаясь ответа, добавил: — Вызовите ко мне Ульриха.

Поскребышев так же бесшумно вышел из просторного, светлого кабинета, отделанного мореным дубом. Сталин продолжал расхаживать вдоль длинного

стола, обтянутого зеленым сукном, с лежащей на нем большой картой с оперативной обстановкой. Поворачиваясь, Сталин провел взглядом по портретам, висевшим на стенах,— Маркс, Энгельс, Ленин. Маркса он читал мало: «Капитал» так никогда осилить не смог, но был знаком с рядом его работ. Наиболее ценной среди марксовых работ, по его мнению, была «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год». Здесь Маркс впервые употребил понятие «диктатура пролетариата», главное, по мысли Сталина, звено в учении об обществе. Энгельса он ценил невысоко. Даже во время своего посещения Комакадемии призывал критиковать «ошибочные» положения великого соратника Маркса. Правда, Энгельс неплохо, как думал Сталин, написал о военной истории России, высоко оценивал полководческий гений Суворова, ниже — Кутузова, решающий вклад русских войск в освобождение порабощенной Наполеоном I Европы, героизм защитников Севастополя в Крымской войне 1853—1856 годов. Но это частности, среди которых немало и ошибочного.

А Ленин... Всегда, когда обращался к его работам, он чувствовал свою обыкновенность, «невысокость», даже заурядность. «Защита» Ленина помогла ему стать единоличным вождем. Все эти недоноски, которых он уничтожил, так и не поняли, в чем заключалась его главная сила: в монополии на трактовку Ленина, его «защиту». Но было у Ленина и то, что он никогда не мог принять. Сталин называл это «либерализмом». Он вспомнил и мысленно выругал себя за минутную слабость: когда 29 июня он с Молотовым, Ворошиловым, Ждановым и Берией выходил вконец расстроенный из здания Наркомата обороны на Фрунзенской, то в сердцах громко бросил:

— Ленин создал наше государство, а мы все его прос...ли!

Молотов удивленно взглянул на Сталина, но ничего не сказал. Промолчали и другие. Не надо было ему эти слова говорить: могут запомнить и принять их за панические. Ведь все оброненное «великими людьми» не предается забвению, особенно их слабости.

Погружение Сталина в дальнее и ближнее прошлое, его размышления прервал Поскребышев, неслышно прошедший к столу и положивший тоненькую папочку. Глава Ставки подошел и быстро просмотрел принесенные бумаги. Сверху лежал проект приговора:

«Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховного суда СССР в составе

Председательствующего армвоенюриста В. В. Ульрих

членов: диввоенюристов А. М. Орлова и Д. Я. Кандыбина

при секретаре — военном юристе А. С. Мазур

В закрытом судебном заседании в городе Москве ...-го июля 1941 года рассмотрела дело по обвинению:

1. Павлова Дмитрия Григорьевича, 1897 года рождения, быв. командующего Западным фронтом, генерала армии;

2. Климовских Владимира Ефимовича, 1895 года рождения, быв. начальника штаба Западного фронта, генерал-майора — обоих в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 63-2 и 76 УК БССР;

3. Григорьева Андрея Терентьевича, 1889 года рождения, быв. начальника связи Западного фронта, генерал-майора и

4. Коробкова Александра Андреевича, 1897 года рождения, быв. командующего 4-й армией, генерал-майора — обоих в преступлениях, предусмотренных ст. 180 п. «б» УК БССР...»

Далее утверждалось, что предварительным судебным следствием установлено: «Подсудимые Павлов и Климовских, являясь участниками антисоветского военного заговора и используя свое служебное положение, будучи: первый — командующий войсками Западного фронта, а второй — начальник штаба того же фронта, проводили вражескую работу, выразившуюся в том, что в заговорщицких целях не готовили к военным действиям вверенный им командный состав, ослабили мобилизационную готовность войск округа, развалили управление войсками и сдали оружие противнику без боя, чем нанесли большой ущерб боевой мощи Рабоче-Крестьянской Красной Армии...»

Далее все шло в том же духе. Сталин не стал читать эти страницы и остановился лишь на последней:

«Таким образом установлена виновность Павлова и Климовских в совершении ими преступлений, предусмотренных ст. ст. 63-2 и 76 УК БССР, и Григорьева и Коробкова в совершении ими преступлений, предусмотренных ст. 180 п. «б» УК БССР. Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР, Военная Коллегия Верхсуда СССР

приговорила

1. Павлова Дмитрия Григорьевича
2. Климовских Владимира Ефимовича
3. Григорьева Андрея Терентьевича
4. Коробкова Александра Андреевича —

лишить военных званий. Павлова — «генерал» армии, а остальных троих военного звания «генерал-майор» и подвергнуть всех четверых высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего, лично им принадлежащего имущества... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Сталин не стал больше читать, а сказал стоявшему рядом Поскребышеву:

— Приговор утверждаю, а всякую чепуху, вроде «заговорщицкой деятельности», Ульрих чтобы выбросил. Пусть не тянут. Никакого обжалования. А затем приказом сообщить фронтам, пусть знают, что пораженцев будем карать беспощадно.

Все было решено до суда. 22 июля, когда состоялся «суд», нужно было лишь соблюсти формальность. Подсудимые просили направить их на фронт в любом качестве — они докажут своей кровью преданность Родине и воинскому долгу. Просьба поверить: все случившееся — результат крайне неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Вины своей не отрицали. Искупят ее в бою. Ульрих, зевая, торопил:

— Короче...

Этой же ночью их расстреляли. А 5 ноября 1956 года Генеральный штаб, проведя тщательное аналитическое расследование обоснованности обвинений, предъявленных Павлову, Климовских, Григорьеву и Коробкову, вынесет свое компетентное суждение: «Имеющиеся документы и сообщения ряда генералов, служивших в Западном особом военном округе, не отрицая ряда крупных недочетов в подготовке округа к войне, опровергают утверждение обвинительного заключения о том, что генералы Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т., Коробков А. А. и Клич Н. А. виновны в проявлении трусости, бездействия, нераспорядительности, в сознательном развале управления войсками и сдаче оружия противнику без боя».

Сталин хорошо знал Павлова, беседовал при назначении и с генералами Климовских и Коробковым. Оба произвели на него тоже благоприятное впечатление. Вероятно, они допустили до войны и с ее началом немало промахов. Поднятые на высокие должности, минуя ряд промежуточных ступеней, в результате острого кадрового дефицита, возникшего после 1937 года, эти преданные стране люди, подлинные патриоты в силу недостаточной подготовки не смогли в решающие минуты правильно организовать боевые действия с превосходящими силами противника. Но разве мало было таких? Их храбрость, мужество не были должным образом подкреплены опытом и полководческой мудростью, которые приходят с годами. Сталин, истребив целые слои командного состава, поставил в исключительно сложное положение и тех, кого выдвинул на их место. Верховный, более всех повинный в катастрофическом начале войны, проявил в соответствии со своей натурой исключительную жестокость по отношению к тем, кто стал жертвой его просчетов. Их собственной вины, а она, видимо, есть, никто не снимает. Но это вина не моральная, в значительной мере она обусловлена вынужденными обстоятельствами, скороспелым выдвижением и, как следствие, недостаточной компетентностью.

В своей книге «Судьба России» Н. Бердяев писал: «Жестокость войны, жестокость нашей эпохи не есть просто жестокость, злоба, бессердечие людей, личностей, хотя все это и может быть явлениями сопутствующими. Это жестокость исторической судьбы, жестокость исторического движения, исторического испытания. Жестокость человека — отвратительна». Война сама по себе жестока, но Сталин часто еще более ужесточал ее проявления. И это действительно отвратительно. Судите сами.

Из Ленинграда Жданов и Жуков, докладывая о положении дел, привели факты, когда немецкие войска, атакуя наши позиции, гнали перед собой женщин, детей и стариков, ставя тем самым в исключительно трудное положение обороняющихся. Дети и женщины кричали: «Не стреляйте!», «Мы — свои!», «Мы — свои!». Советские солдаты и офицеры были в замешательстве: что делать? Нетрудно представить, что могли испытывать и несчастные люди, когда в их спины упирались стволы немецких автоматов, а впереди их тоже могла ждать смерть.

Сталин среагировал немедленно и среагировал в духе своей натуры — жестоко:

«Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают впереди своих войск стариков, старух, женщин, детей... Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет: не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам... Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были, косите врагов, все равно, являются ли они вольными или невольными врагами... Продиктовано 04 часа 21.09.41 года тов. Сталиным. Б. Шапошников».

Хотя Сталин и называет стариков, женщин и детей, поставленных фашистами в ужасное положение, «делегатами», даже из его распоряжения видно, кто это в действительности. «Косите врагов, все равно, являются ли они вольными или невольными врагами». Ведь Жуков и Жданов сообщали, что это женщины, старики, дети, а он: «Не сентиментальничать, а бить врага и его пособников... по зубам». Детей — «по зубам»... из автомата?! Война жестока по своей сути, но здесь жестокость особого рода — жестокость не только к врагу, что понятно, а к своим соплеменникам, соотечественникам. Это никогда ни понять, ни объяснить, ни тем более оправдать невозможно. Воистину: «Жестокость человека — отвратительна!».

Для того чтобы полнее почувствовать, что и в условиях кошмара тех дней расправа Сталина с генералами не была простым эмоциональным всплеском, а являлась продолжением его произвола конца тридцатых годов, приведу лишь два свидетельства. Расстрелянные генералы предстают в них совсем в ином свете. После войны генерал-майор Б. А. Фомин, бывший работник штаба Западного фронта, писал:

«С августа 1940 года Павловым было проведено пять армейских полевых поездок, одна армейская командно-штабная военная игра на местности, пять корпусных военных игр, одна фронтовая военная игра, одно радиоучение с двумя танковыми корпусами, два дивизионных и одно корпусное учения. Павлов, тщательно следя за дислокацией войск противника, неоднократно возбуждал вопрос перед наркомом обороны о перемещении войск округа из глубины в приграничный район. К началу войны войска округа находились в стадии оргмероприятий. Формировалось пять танковых корпусов, воздушно-десантный корпус, три противотанковые бригады и т. д. Все перечисленные соединения не были полностью сформированы и не были обеспечены материальной частью.

О подготовке немцами внезапного нападения Павлов знал и просил занять полевые укрепления вдоль госграницы. 20 июня шифротелеграммой за подписью зам. нач. оперуправления Генштаба Василевского Павлову было сообщено, что просьба его была доложена наркому и последний не разрешил занимать полевых укреплений, так как это может вызвать провокацию со стороны немцев.

В действиях и поступках Павлова как в предвоенный период, так и во время ведения тяжелой оборонительной операции лично я не усматриваю ни вредительства, а тем более предательства. Фронт постигла неудача не из-за нераспорядительности Павлова, а из-за ряда причин, важнейшими из которых были:

численное превосходство противника, внезапность удара противника, запоздание с занятием рубежей УРов, безграмотное вмешательство Кулика в распоряжения Болдина и Голубева, что привело к бесславному концу подвижной группы фронта».

Или вот что сообщал генерал-полковник Л. М. Сандалов генералу армии В. В. Курасову: «Что касается командующего 4 армией генерала Коробкова, то в отношении этого способного командира, отличившегося в боях в Финляндии, где он храбро воевал во главе своей дивизии,— совершена вопиющая несправедливость. Генерал Коробков по окончании войны в Финляндии был назначен командиром корпуса и затем, за несколько месяцев до войны, вступил в командование 4-й армией, показал себя храбрым и энергичным командующим армией. Недостаток его заключался в стремлении безоговорочно выполнять любое распоряжение командования войсками округа, в том числе и явно не соответствующее складывающейся обстановке.

Почему был арестован и предан суду именно командующий 4 А Коробков, армия которого хотя и понесла громадные потери, но все же продолжала существовать и не теряла связи с штабом фронта? К концу июня 1941 года был предназначен по разверстке (заметьте, по разверстке! — Д. В.) для предания суду от Западного фронта один командарм, а налицо был только командарм 4-й армии. Командующие 3-й и 10-й армиями находились в эти дни неизвестно где, и с ними связи не было. Это и определило судьбу Коробкова. В лице генерала Коробкова мы потеряли тогда хорошего командарма, который, я полагаю, стал бы впоследствии в шеренгу лучших командармов Красной Армии».

Тех, кто мог стать, но не стал, было немало. Очень многие погибли на поле брани; были и такие генералы, которые, исчерпав все возможности борьбы и не желая попасть в плен или на сталинскую расправу, кончали с собой. Архивы сохранили немало донесений о подобных случаях. Вот командир 17-го мотомехкорпуса генерал-майор Петров сообщает маршалу Тимошенко о том, что 23 июня покончил жизнь самоубийством его заместитель Кожохин Николай Викторович. Покончил с собой и генерал-майор Копец Иван Иванович. Начальник управления политической пропаганды ЗапОВО Лестев в донесении объясняет этот поступок «малодушием вследствие частных неудач и сравнительно больших потерь авиации». Тогда многим представлялось (а может быть, в людях просто говорила боязнь прослыть паникерами), что неудачи «частные», а потери — «сравнительно большие»... У некоторых генералов, попавших в водоворот трагических событий, судьба сложилась еще горше. Вот две из них.

В августе 1941 года по линии органов безопасности Сталину было доложено, что два генерала сдались добровольно в плен немцам и «работают» на них. Один — бывший командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов В. Я., другой — командующий 12-й армией генерал-лейтенант Понеделин П. Г. Сталин наложил резолюцию: «Судить». Не все приказы, даже далеко не все, касающиеся фронтовых дел, особенно в первый период войны, пунктуально выполнялись. Если бы выполнялись, не оказались бы немцы осенью у стен Москвы. А вот такие приказы, как «судить», исполнялись непременно. Два генерал-лейтенанта в октябре 1941 года были заочно осуждены по ст. 265 УПК и приговорены к расстрелу «с конфискацией лично им принадлежащего имущества и ходатайством о лишении наград — орденов Советского Союза».

Незадачливым и циничным осведомителям было и невдомек, что Владимир Яковлевич Качалов погиб 4 августа 1941 года от прямого попадания снаряда, но до 1956 года члены его семьи, кто остался жив, носили клеймо родственников «предателя Родины». Еще более драматична судьба Павла Григорьевича Понеделина. В августе 1941 года, уже будучи в окружении, он был тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Долгие четыре года гитлеровских лагерей не сломили генерала, он достойно нес свой крест, поддерживал падших духом, категорически отказался от сотрудничества с фашистами. После освобождения и репатриации Понеделин был арестован и пробыл, теперь уже, правда, в советском лагере, пять лет, хотя еще в 1941 году был приговорен заочно к смерти. На ходатайство Понеделина лично Сталину ему ответили новым судом 25 августа 1950 года, который его еще раз приговорил к расстрелу. Дважды приговоренный к смерти, перенесший все ужасы гитлеровских и сталинских лагерей, генерал-лейтенант Понеделин был лишен жизни только потому, что имел несчастье в бессознательном состоянии попасть в плен...

Жестокое время, жестокие люди... Сталин с началом войны, едва придя в себя от парализующего психологического шока, для выправления положения прибег к своему испытанному средству: насилию и сопутствующему ему страху. Тысячи, сотни тысяч людей гибли на фронте, многие оказывались во вражеском плену. Вышедшие из окружения, вырвавшиеся из плена попадали в «спецлагеря по проверке». Есть целый ряд донесений Берии о функционировании этих лагерей. Одни военнослужащие после проверки отправлялись на формирование новых частей, другие оседали на долгие годы в лагерях. Их доля была особенно горька: позор, бесчестие, расстрел, беда семьи. Таких было немало. Конечно, были среди них и такие, кто сознательно изменил Родине или, проявив малодушие, не исполнил свой воинский долг. Не о них речь. Жестокость Сталина в начале войны по отношению к советским людям мы обычно связывали лишь с именем Павлова и генералов его штаба. Но мало кто знает, что Сталин санкционировал в начале войны арест большой группы командиров. Среди них были:

генерал-майор Алексеев И. И., командир 6-го стрелкового корпуса;
генерал-майор Арушанян Б. И., начальник штаба 56-й армии;
генерал-майор Гопич Н. И., начальник Управления связи РККА;
генерал-майор Голушкевич В. С., зам. начальника штаба Западного фронта;
генерал-лейтенант Иванов Ф. С., из резерва ГУК НКО;
генерал-майор Кузьмин Ф. К., начальник кафедры тактики академии им. Фрунзе;
генерал-майор Леонович И. Л., начальник штаба 18-й армии;
генерал-майор Меликов В. А., начальник факультета академии Генштаба;
генерал-майор Потатурчев А. Г., командир 4-й танковой дивизии;
генерал-майор Романов Ф. Н., начальник штаба 27-й армии;
генерал-лейтенант Селиванов И. В., командир 30-го стрелкового корпуса;
генерал-майор Семашко В. В., заместитель начальника штаба Ленинградского фронта;
генерал-лейтенант Трубецкой Н. И., начальник управления ВОСО Красной Армии;
генерал-майор Цырульников П. Г., командир 15-й стрелковой дивизии;
генерал-майор Рухле И. Н., из резерва ГУК НКО.

Этот список не исчерпывает всех арестованных. Различна судьба этих людей: некоторым удалось вернуться на фронт, иных на долгие годы поглотили лагеря, другие погибли.

В большинстве случаев Сталин просто санкционировал арест, но иногда и сам давал указания арестовать человека. Вот пример: 25 августа 1942 года, в пять часов 15 минут Сталин продиктовал в Сталинград телеграмму:

«Лично Василевскому, Маленкову.

Меня поражает то, что на Сталинградском фронте произошел точно такой же прорыв далеко в тыл наших войск, какой имел место в прошлом году на Брянском фронте, с выходом противника на Орел. Следует отметить, что начальником штаба был тогда на Брянском фронте тот же Захаров, а доверенным человеком тов. Еременко был тот же Рухле. Стоит над этим призадуматься. Либо Еременко не понимает идею второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем крае стоят необстрелянные дивизии, либо же мы имеем здесь чью-то злую волю, в точности осведомляющую немцев о слабых пунктах нашего фронта».

Захарова и Еременко Сталин не решился прямо подозревать, а вот начальника оперативного отдела штаба фронта генерал-майора Рухле И. Н. сам Верховный явно заподозрил. Он не увидел закономерности в том, что немецкие военачальники ищут у нас наиболее слабые места и наносят удар именно там, а усмотрел причину такого положения в «злой воле», которая «в точности осведомляет немцев». Для работников особого отдела после такой телеграммы никакие «аргументы» были более не нужны. Сам Верховный их указал... Гене-

рал-майор Рухле Иван Никифорович тут же был арестован, но судьба была к нему милостива, и он в конце концов остался жив.

Сталин никогда не смог полностью отказаться от «жестоких игр». Но тогда многим казалось, что жестокое, отчаянное время оправдывает и жестокие меры вождя.

Горечь полыни

Как обычно, уже под утро он забылся тревожным сном. Едва голова коснулась подушки, как сразу погрузился куда-то в темное, глубокое, вязкое. Сталин, как он однажды признался в этом Поскребышеву, очень редко видел сны. Его не мучили угрызения совести, не стояли перед глазами тени поверженных им сотоварищей по партии и борьбе, он не слышал из прошлого голосов жены и погибших родственников. Его натура имела как бы моральные изоляторы, оберегавшие сознание от душевных страданий, покаяния, угрызений совести. В его интеллекте, чувствах были заморожены, сблокированы те центры, которые должны были реагировать на проявления общечеловеческой нравственности. Бессонница, во всяком случае, по причине дефицита совести, его никогда не мучила.

А сегодня, забывшись на три-четыре часа, он несколько раз просыпался. Нет, не видения, не кошмары, не грохот канонады войны мешали спать Сталину. Он просыпался от полынной горечи, которая лишала его сна. Очнувшись от наваждения, он тут же вновь быстро засыпал, но еще раз или два его преследовал полынный запах, точно такой, как тогда, много лет назад под Царицыном. Они тогда с Ворошиловым выехали на позиции и на обратном пути остановились у кургана, чтобы съесть по краюшке хлеба. Сталин откинулся на траву и на несколько минут задремал в полынном облаке запахов раскаленной степи. В знойном мареве бесконечного жаркого неба он почувствовал себя крохотным, беззащитным и ничтожным. Проваливаясь в бездну сна, он как бы поплыл по полынным волнам, словно щепка... Вот и сегодня ту давнюю горечь явственно ощутил даже на вкус. Сразу вспомнив вчерашний ночной доклад, стряхнул остатки сна. Полынная горечь неудач преследовала армию и Сталина, Верховного Главнокомандующего, почти на всем гигантском фронте.

Поднявшись и попив чаю, Сталин не поехал в Кремль, а приказал Жукову прибыть к нему к двенадцати часам и доложить об обстановке везде с выводами и предложениями. Без четверти двенадцать Георгий Константинович был на даче. Он подошел к разложенной на столе карте и негромко, тщательно подбирая слова, стал докладывать. Как лекцию читает, подумал Сталин, но не решился перебивать. «Лекция» была грозной, с тем горьким полынным привкусом.

— Можно сказать,— говорил Жуков,— что начальный период войны нами проигран вчистую. Боевые действия уже идут на дальних подступах к Ленинграду, в районе Смоленска и в районе Киевского узла обороны. Устойчивость обороны по-прежнему невысокая. Мы вынуждены более или менее равномерно распределять силы по фронту, не зная, где завтра противник, сконцентрировав силы, нанесет следующий удар. Стратегическая инициатива полностью в его руках. Дело усугубляется отсутствием на ряде участков фронта вторых эшелонов и крупных резервов. В воздухе — господство немецкой авиации. (Еще никто не знает, что к 30 сентября 1941 года мы потеряем 8166 самолетов, то есть 96.4 процента того, что имели к началу войны, хотя потери немецкой авиации были тоже значительны. Из 212 дивизий, входящих в состав действующей армии, укомплектованы на 80 процентов и свыше лишь 90 дивизий.— **Д. В.**) На подступах к Ленинграду,— так же невозмутимо и несколько монотонно продолжал начальник Генштаба,— оборона постепенно обретает «упругость». Динамизм немецкого движения, похоже, сходит здесь на нет. Видимо, придется переводить весь флот в Кронштадт. Неизбежны крупные потери. Смоленское сражение позволило нам остановить немецкие армии на самом опасном, западном, направлении. По нашим подсчетам,— Жуков заглянул в тетрадь,— в нем участвуют более шестидесяти немецких дивизий общей численностью около полумиллиона человек. Для уплотнения фронта, как вы знаете, товарищ Сталин, еще в начале

июля в состав Западного фронта переданы Девятнадцатая, Двадцатая, Двадцать первая и Двадцать вторая армии. Но недостаток войск по-прежнему ощущается, и дивизии часто строят боевые порядки в один эшелон. Наша попытка провести контрнаступление на этом направлении, с участием Двадцать девятой, Тридцатой, Двадцать четвертой и Двадцать восьмой армий дала лишь частичный положительный результат, позволив Двадцатой, Шестнадцатой армиям прорвать кольцо окружения и отойти за линию фронта. Наше контрнаступление сорвало удар немцев.

— А какова в этом сражении роль Центрального фронта? — наконец перебил Сталин.

— Есть все основания полагать, что центр удара немецкой группировки сместится сюда. Но одноэшелонное построение фронта, имеющего всего двадцать четыре неполные дивизии, вызывает большую тревогу. Не исключено, что нам придется создавать здесь еще одну фронтовую группировку...

Сталин как-то «отключился», поняв главное, что Смоленское сражение, где особенно была заметна Ельнинская операция, показало реальную возможность объединений и соединений Красной Армии остановить противника даже на главном направлении, где сосредоточены его основные силы.

До его сознания опять стали доходить нетороплнвые, жесткие слова Жукова:

— На старой границе «зацепиться» не удалось. Пятая и Шестая армии не смогли здесь задержаться. Сейчас, по существу, немцы, выйдя к внешнему обводу Киевского УРа, рассекли фронт надвое: на севере Пятая армия, которая пытается «осесть» в Коростянском УРе, и южная часть с основными силами — Шестая, Двенадцатая и Двадцать шестая армии. Организованные контрудары с севера и юга по флангам прорвавшейся группировки дали лишь частичный положительный результат. На сегодняшнее утро, можно сказать, Шестая и Двенадцатая армии отрезаны.

Дальше Сталин уже не дал говорить генералу:

— Боюсь за Днепр, Киев. Надо что-то делать...

— Мы уже отдали предварительные распоряжения о подготовке прочной линии обороны по восточному берегу Днепра,— ответил Жуков.

— Мы можем сейчас переговорить с руководством Юго-Западного фронта?

— Если Кирпонос и Хрущев не в войсках, то мы с ними свяжемся,— ответил Жуков.

Через несколько минут «Бодо» отстукал: «У аппарата Кирпонос и Хрущев». Приведем часть текста переговоров, зафиксированного в военных архивах:

«У аппарата С т а л и н: Здравствуйте. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы немцы перешли на левый берег Днепра в каком-либо пункте. Скажите, есть ли у вас возможность не допустить такого казуса?

Далее. Хорошо бы уже теперь наметить вам совместно с Буденным и Тюленевым план создания крепкой оборонительной линии, проходящей примерно от Херсона и Каховки, через Кривой Рог, Кременчуг и дальше на север по Днепру, включая район Киева на правом берегу Днепра. Если эта примерная линия обороны будет всеми вами одобрена, нужно теперь же начать бешеную работу по организации линии обороны и удержанию ее во что бы то ни стало... Если бы это было вами сделано, то вы могли бы принять на этой линии отходящие усталые войска, дать им оправиться, выспаться, а на смену держать свежие части. Я бы на вашем месте использовал на это дело не только новые стрелковые дивизии, но и новые кавдивизии, спешил бы их и дал бы им разыграть роль пехоты временно. Все.

Х р у щ е в, К и р п о н о с: Нами приняты все меры к тому, чтобы ни в коем случае не допустить противника как перейти на левый берег Днепра, так и взять Киев. Но необходимо нас усилить пополнением. Товарищ Сталин, мы до сего времени очень плохо получаем пополнение. Есть дивизии, которые в своем составе имеют полторы-две тысячи штыков. Так же плохо и с материальной частью. Просим вас оказать нам в этом вопросе помощь.

Ваше указание об организации нового оборонительного рубежа совершенно правильное. Мы немедленно приступим к его отработке и просим вашего разре-

шения доложить вам об этом к 12 часам пятого... Мы имеем задачу от Главкома товарища Буденного о переходе с утра шестого в наступление из района Корсунь в направлении Звенигорода, Умань с целью оказания помощи 6-й и 12-й армиям и создания единого фронта с Южным фронтом... Если вы не возражаете против этого наступления и если оно удастся, то тогда линия обороны может измениться значительно к западу. Все.

Сталин. Я не только не возражаю, а, наоборот, всемерно приветствую наступление, имеющее своей целью соединиться с Южным фронтом и вывести на простор названные вами две армии. Директива Главкома совершенно правильна. Но я все-таки просил бы вас разработать предложенную мною линию обороны, ибо на войне надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое, а также на худшее. Это единственное средство не попадать впросак».

Увы, надеждам Сталина не суждено было сбыться. Запах полыни мог его теперь преследовать не только ночью, но и круглые сутки...

Киевская оборонительная операция развивалась неудачно. Окруженные части 6-й и 12-й армий в тяжелой обстановке сражались до 7 августа. Исчерпав возможности дальнейшего сопротивления, армии перестали существовать. Большое количество личного состава оказалось в плену. Маршал Буденный, учитывая угрозу охвата войск Южного фронта, попросил у Ставки разрешения отвести войска за реку Ингул. Сталин пришел в бешенство и запретил отвод, указав другую линию обороны. Специальной директивой Ставки № 00661 Сталин распорядился выдвинуть для укрепления войск Юго-Западного направления 19 стрелковых и пять кавалерийских дивизий. Соединения были только сформированы, не сколочены и не обучены, не хватало вооружения. При вводе в бой многие из этих частей и соединений не проявили упорства в обороне. В условиях неразберихи нередко возникала паника, самовольно оставлялись позиции.

Когда Сталину докладывали о сдаче тех или других рубежей, новых и новых населенных пунктов, он приходил то в ярость, то впадал в состояние апатии. Вопреки своему обыкновению не торопиться с выводами и оценкой людей, теперь он часто их делал сразу же, после очередной сводки. На этот раз досталось Ивану Владимировичу Тюленеву, которого он хорошо знал с давних пор. В телеграмме Сталина в Главкомат указывалось:

«Комфронта Тюленев оказался несостоятельным. Он не умеет наступать, он не умеет также отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют даже полки. Предлагаю вам выехать немедля к Тюленеву, разобраться лично в обстановке и доложить незамедлительно о плане обороны... Мне кажется, что Тюленев деморализован и не способен руководить фронтом.

Сталин.

Продиктовано по телефону в 5.50 12.8.41 г. Шапошников».

Верховный Главнокомандующий слал грозные телеграммы, отдавал жесткие приказы, подписывал быстро подготовленные директивы, а положение ухудшалось. В августе — сентябре на Юго-Западном направлении оно стало критическим. Сталин пытался связаться то с одним, то с другим командующим, но это не всегда удавалось. Однажды, когда очередная сводка Генштаба сообщила о новом несанкционированном отходе нескольких частей, Сталин продиктовал «Приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 года».

Оговорюсь, что нам всем известен знаменитый «Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 года». Этот же приказ, № 270, был издан почти на год раньше. Его автор — лично Сталин. Потеряв надежду на возможность стабилизировать линию фронта и не допустить разгрома, Верховный Главнокомандующий, в значительной мере вынужденный критическими обстоятельствами, прибег к своему испытанному методу жестких карательных мер. Сегодня мало кто знает этот приказ, поэтому приведем его как пример личного директивного «творчества» Сталина, поставленного в опаснейшее положение «моста».

В начале приказа Верховный Главнокомандующий привел примеры, когда, оказавшись в окружении, командиры, политработники, красноармейцы проявляли силу духа и выходили с честью из самого сложного положения. Так поступил, например, командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов. Именно он и его командиры и политработники организовали выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий.

«Но вместе с тем,— диктовал Сталин,— командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов проявил трусость и сдался в плен, а штаб и части вышли из окружения; генерал-лейтенант Понеделин, командующий 12-й армией, сдался в плен, как и командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов. Это позорные факты. Трусов и дезертиров надо уничтожать.

Приказываю:

1) Срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших Родину. Расстреливать на месте таких дезертиров.

2) Попавшим в окружение — сражаться до последней возможности, пробиваться к своим. А те, кто предпочтут сдаться в плен,— уничтожать всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи.

3) Активнее выдвигать смелых, мужественных людей.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадрильях, батареях».

Сталин, залпом продиктовав приказ, остановился, не стал редактировать импульсивный текст, смысл которого укладывался в одну-две фразы: «расстреливать безжалостно дезертиров, бойцов, сдающихся в плен. А если они решатся на эту сдачу, пусть знают, что их семья будет вынуждена испить самую горькую чашу». Это был приказ отчаяния и жестокости. Хотя Сталин начал диктовать его как Верховный Главнокомандующий, однако, закончив и поставив свою подпись, приказал под документом поставить также фамилии Молотова, Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова, Жукова, хотя некоторых из указанных лиц в Ставке и не было.

Кое-где распоряжения подобного характера выполнялись весьма энергично. В конце августа 1941 года Сталину доложили о письме писателя Владимира Ставского, пробывшего десять дней на фронте в районе Ельни. Приведем несколько выдержек из него:

«Дорогой товарищ Сталин!

Ряд наших частей действует замечательно, наносит сокрушающие удары фашистам. После того, как во главе 19 дивизии встал отважный и энергичный майор товарищ Утвенко, полки дивизии, действуя на участке в 11 километров... разбили 88 пехотный полк, отбили множество немецких контратак... Части, действующие под Ельней, проходят боевую учебу, накапливают боевой опыт, изучают тактику противника и бьют немцев...

Но здесь в 24 армии за последнее время получился перегиб... По данным командования и политотдела армии расстреляно за дезертирство, за паникерство и другие преступления 480—600 человек. За это же время представлено к наградам 80 человек. Позавчера и сегодня командарм т. Ракутин и начпоарм т. Абрамов правильно разобрались в этом перегибе».

На письме, где говорилось об этом страшном «перегибе», Сталин оставил короткую запись: «т. Мехлис. И. Ст.». Его не взволновали цифра «перегиба» (пусть даже, возможно, завышенная), жестокие потери, которые он решительно санкционирует. Да, война жестока, положение отчаянное, но в резолюциях Сталина нет и намека на необходимость обращения командования, политорганов к сознанию, чести, мужеству, патриотическим чувствам, национальной гордости людей. Он, как всегда, верит только в силу и давление.

Приближалась одна из самых крупных трагедий Великой Отечественной войны. За полторы недели до нее Сталин вновь говорил с Кирпоносом:

«Бровары. У аппарата генерал-полковник Кирпонос.

«Москва. У аппарата Сталин.

Сталин. До нас дошли сведения, что фронт решил с легким сердцем сдать Киев врагу якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно ли это?

Кирпонос. Здравствуйте, тов. Сталин. Вам доложили неверно. Мною и Военным советом фронта принимаются все меры к тому, чтобы Киев ни в коем случае не сдавать... Все наши мысли и стремления, как мои, так и Военного совета, направлены к тому, чтобы Киев противнику не отдать...

Сталин. Очень хорошо. Крепко жму Вашу руку. Желаю успеха. Все».

Юго-Западный фронт держался изо всех сил. О героизме защитников Киева много написано, они делали все, что могли. Но никогда, видимо, мы не будем в состоянии передать те чувства, мысли защитников столицы Украины, отражающие как неизменность патриотических чувств подавляющего большинства советских людей, так и горестное недоумение от длинной цепи поражений, приведших агрессора на берега Днепра.

15 сентября 1-я и 2-я танковые группы немцев замкнули кольцо в районе Лохвицы, окружив основные силы Юго-Западного фронта. В кольце оказались 5-я, 26-я, 37-я и частично части 21-й и 38-й армий. За четверо суток до того, как роковая петля захлестнула десятки обескровленных частей и соединений, состоялся последний разговор Сталина с Кирпоносом.

«Прилуки. Здравствуйте. У аппарата Кирпонос, Бурмистренко, Тупиков.

Москва. Здравствуйте, здесь Сталин, Шапошников, Тимошенко. Ваше предложение об отводе войск на рубеж известной вам реки (река Псел.— **Д. В.**) мне кажется опасным. Если обратиться к недавнему прошлому, то вы вспомните, что при отводе войск из района Бердичев и Новоград-Волынский у вас был более серьезный рубеж — река Днепр, и, несмотря на это, при отходе потеряли две армии,.. а противник переправился... на восточный берег Днепра... Выход следующий:

1) Немедля перегруппировать силы, хотя бы за счет Киевского укрепленного района и других войск, и повести отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко...

2) Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Псел или где-либо по этой линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя 5—6 дивизий за этот рубеж.

3) ...Только после исполнения этих двух пунктов, то есть после создания кулака против конотопской группы противника и после создания оборонительного рубежа на реке Псел, словом — после всего этого, начать эвакуацию Киева... Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки. Все. До свидания.

Кирпонос. Указания ваши ясны. Все. До свидания».

Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос мог бы уже сказать и «прощайте» — жить ему осталось совсем немного. Больше личных указаний Верховного Главнокомандующего, совсем не учитывающих реальной ситуации, он не получит. Пока фронт окружения еще не был плотным, оставалась возможность вырваться из смертельной петли. Военный совет фронта еще раз обратился к Сталину 17 сентября в пять часов утра с этой просьбой (телеграмма № 15788). И вновь Верховный не разрешил прорыв, за исключением отхода на восточный берег Днепра 37-й армии, которой командовал А. А. Власов. Положение стало предельно критическим. Военный совет к исходу дня 17 сентября вопреки требованиям Сталина принял решение о выводе войск фронта, но время было упущено. Штаб же к этому времени утратил связь с армиями. Войска фронта, на свой страх и риск действуя отдельными частями и соединениями, пытались прорваться на восток. Удалось это немногим, хотя бои в окружении после отдачи приказа на прорыв окружения продолжались еще десять дней. Кирпоносу 22 и 23 сентября Ставка слала успокаивающие радиотелеграммы следующего содержания:

«Кирпонос (ЮЗФ).

Больше решительности и спокойствия. Успех обеспечен. Против вас мелкие силы противника. Массируйте артиллерию на участках прорыва... Вся наша авиация действует на вас. Ромны атакуются нашими войсками... Повторяю, больше решительности и спокойствия и энергии в действиях. Доносите чаще.

Б. Шапошников».

Катастрофа была страшной — в окружении оказалось 452 720 человек, в том числе около 60 тысяч командного состава, противнику досталось большое количество вооружения и боевой техники. Командующий фронтом Кирпонос вместе с начальником штаба Тупиковым и членом Военного совета Бурмистренко погибли в последних боях, разделив участь тысяч и тысяч воинов. Впрочем, если бы Кирпонос и прорвался сквозь кольцо, едва ли Сталин простил бы ему эту катастрофу. Ведь себя, разумеется, он не считал к ней причастным!

В этой едва ли не самой крупной трагедии Великой Отечественной войны Сталин выказал лишь свое железное упрямство, но не тонкое оперативное чутье, понимание обстановки. Если бы он как Верховный хотя бы отдаленно понимал, что творилось тогда под Минском, в Крыму, подле Киева, в Смоленском сражении, то, возможно, смог бы, кроме упорства, прямолинейности, проявить и должную стратегическую мудрость, которой он был явно обделен. Это был кабинетный полководец, именно кабинетный, не знающий передовой, жизни войск действующей армии. Два его тайных выезда на фронт состоялись позже, и мы о них еще расскажем.

В трагедии Юго-Западного фронта в огромной мере повинны Ставка и ее Верховный Главнокомандующий. Разумеется, командование и штаб фронта также не смогли должным образом управлять столь крупными силами, которые были, безусловно, способны при более умелом руководстве избежать столь печального конца. Слишком часто мужество не подкреплялось умением, организацией, компетентностью. Поражение под Киевом вновь резко качнуло весы смертельной борьбы в пользу агрессора на всем советско-германском фронте.

Внешне Сталин не переживал, он только сказал Шапошникову:

— Надо быстро латать дыру... Быстро!

— Меры уже приняты,— ответил начальник Генштаба.— Видимо, мы сможем восстановить Двадцать первую и Тридцать восьмую армии. Я распорядился выдвинуть из резерва Ставки пять стрелковых дивизий и три танковые бригады. Создаем новое Управление Юго-Западного фронта. Нужно Ваше решение о руководстве.

— А кого вы предлагаете?

— Думаю, что в этой сложной обстановке там нужна твердая рука и опытная голова. Видимо, лучшей кандидатуры, чем Семен Константинович, не найти.

— Согласен.

— А членом Военного совета назначить Хрущева, начальником штаба — генерал-майора Покровского.

— Пусть будет так...

Колоссальные потери требовали быстрого пополнения. Главное управление формирований и военные округа в основном справлялись с задачей бесперебойной поставки людей на жестокую, кровавую мельницу войны. Сталин внимательно исследовал справку о потерях и возможностях пополнения, подготовленную по его просьбе Шапошниковым. В конце справки была приписка Бориса Михайловича о возможных неточностях и неполноте данных, ведь события развиваются так стремительно.

Генштаб сообщал, что сейчас функционируют 39 запасных стрелковых бригад, где идет подготовка пополнения. Введен полутора-двухмесячный срок обучения для призванных и три месяца — для подготовки младших командиров. За август фронтам поставлено 613 тысяч человек в маршевых ротах и 380 тысяч человек, призванных из разных тыловых военных учреждений и заведений. До конца года учебные центры, запасные части могут подготовить и поставить на фронт два с половиной миллиона человек личного состава. А вот потери (безвозвратные и так называемые «санитарные»), Сталин почувствовал это сразу, явно занижены:

июнь — июль 1941 года	— 651 065
август	— 692 924
сентябрь	— 491 023.

Он то знал, что только под Киевом мы потеряли около полумиллиона чело-

век. Большинство из них теперь будут числиться «без вести пропавшими». Таких в первый год войны было, наверное, большинство.

Без видимой связи с тем, о чем он читал и думал, Сталин быстро написал следующую записку и передал Поскребышеву:

«т. Шапошникову

Прошу дать проверенную справку о наших потерях при отступлении с района Старая Русса.

И. Сталнн».

Почему его заинтересовала именно Старая Русса и почему он допустил грамматическую ошибку — в текстах, написанных им, обычно трудно найти ошибки,— нелегко догадаться. Может быть, потому, что наши контрудары там не дали желанного результата? Возможно, теперь, как ему казалось, после директивы Ставки — закрепиться на нынешних рубежах и занять жесткую оборону,— нужно уделить внимание, кроме главных фронтов, и другим анклавам на гигантских пространствах, где шло смертельное противоборство? Сталин и впредь будет интересоваться положением отдельных армий и участков фронта. Может быть, по этим фрагментам войны он хотел полнее представить всю ее панораму?

Сталин никогда не думал о близких, а тут невольно вспомнил о сыне Якове. В середине августа А. А. Жданов, бывший членом Военного совета Северо Западного направления, в специальном, опечатанном сургучом конверте прислал Сталину письмо. Там была листовка, на которой запечатлен Яков, беседующий с двумя немецкими офицерами. Ниже был текст:

«Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. По приказу Сталина учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к немцам. Чтобы запугать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен, потому что всякое сопротивление Германской Армии отныне бесполезно».

Судьба сына волновала Сталина только с одной стороны. Грешно думать так, размышлял Верховный Главнокомандующий, но лучше бы сын погиб в бою. Яков интересовал его только в одной плоскости: а вдруг не устоит, он слабый, сломают его, и он начнет говорить по радио, в листовках все, что ему прикажут? Собственный сын Верховного будет вести работу против своей страны и отца! Эта мысль была невыносима. Вчера Молотов, когда они остались вдвоем, сообщил, что через шведское посольство председатель Красного Креста этой страны, граф Бернадот, передал устно: уполномочивает ли его Сталин или какое другое лицо для действий по вызволению из плена его сына? Сталин минуту-две подумал, потом посмотрел на Молотова и заговорил совсем о другом деле, давая понять, что ответа не будет:

— На письмо Черчилля сообщите: безусловно, не может быть сомнения, что в случае необходимости советские корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены советскими людьми. Мы благодарим за готовность Англии в участии восстановления нашего флота после войны. Но мы сделаем так, чтобы ущерб был возмещен за счет Германии.

Молотов что-то пометил в своем блокноте, но к вопросу о сыне больше не возвращался.

Сталин еще не обрел способности мыслить масштабно, в границах всего советско-германского фронта, учитывать взаимодействие широкого комплекса факторов — военных, экономических, моральных, политических, дипломатических. Стихия войны на первый план выдвигает вооруженную борьбу, подчиняя себе все остальные формы противоборства. Пока у Сталина была явно выраженная «фрагментарность» в стратегическом, оперативном мышлении. Ему казалось, что командующие просто плохо исполняют его распоряжения. В прошлой жизни он умел терпеливо ждать и, если нужно, постепенно идти к цели. А здесь, в войне, требовался немедленный результат, но он был в цейтноте: опаздывал, часто

переоценивал силу приказа, директивы, не всегда учитывающих объективные обстоятельства. Первые три директивы в начале войны, ряд других поспешных, непродуманных шагов, особенно с тяжелыми трагическими последствиями в Киевской операции, свидетельствовали, что природной сметки, воли, сообразительности явно мало для умелого руководства всеми вооруженными силами в такой войне.

Огромную роль в становлении, «натаскивании» Сталина как стратега сыграли Генеральный штаб и такие его руководители, как Шапошников, Жуков, Василевский, Ватутин, Антонов. Но приобретение нужного опыта руководства крупными оперативными объединениями шло ценой кровавых «экспериментов», ошибок, просчетов. Не проявляя тонкого понимания обстановки, знания всех скрытых пружин войны, особенностей организации оперативно-стратегической работы, конкретного содержания работы командиров и штабов, Сталин в первый период войны «нажимал» — и это, видимо, было в значительной мере оправдано обстановкой — на моральный фактор. Прочитав то или иное донесение о неудаче, критическом положении, Сталин прежде всего обращался к духовному состоянию войск, а затем уже к оперативной обстановке. В то же время, как показывает опыт войн, эти два компонента боевой мощи не должны рассматриваться изолированно, один в ущерб другому. Когда, например, обстановка под Киевом стала критической, начштаба фронта Тупиков доложил о ней без прикрас: «Положение войск фронта осложняется нарастающими темпами... Начало понятной Вам катастрофы — дело пары дней».

Не надо быть провидцем, чтобы так оценить обстановку. Другое дело — все ли было исполнено, вплоть до последнего момента, чтобы избежать или по крайней мере уменьшить масштаб катастрофы? Из телеграммы Тупикова этого не следовало. Сталин, почувствовав трагический надрыв, тут же продиктовал ответную телеграмму.

«Прилуки. Командующему Юго-Западным фронтом.

Копия: Главкому Юго-Западного направления.

Генерал-майор Тупиков номером 15614 представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова и Потапова прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад.

Необходимо неуклонно выполнять указания т. Сталина, данные Вам 11.9».

Воевать еще умели плохо. Часто боялись докладывать наверх правду, если она была горькой,— не были приучены к этому. Характерен в этом отношении, например, разговор Г. К. Жукова с генералом Ракутиным 4 сентября 1941 года. Жуков отчитал Ракутина за то, что поступившие на усиление танки были сразу же бездумно брошены в бой и потеряны, а также за ложные донесения.

«Ракутин. Сегодня утром выеду расследовать это дело, а донесение получил только сейчас...

Жуков. Вы не следователь, а командующий. Представьте мне письменное донесение для доклада правительству. Занималось ли Шепелево или это тоже очковтирательство?

Ракутин. Шепелево не занималось... Разберусь завтра и сам доложу. Врать не буду.

Жуков. Самое главное, прекратите вранье вашего штаба и разберитесь с обстановкой хорошенько, а то вы все выглядите в неприглядном виде».

Ракутина подвели подчиненные. Такое бывало: доложить о несостоявшемся успехе. Но врать заставляла часто боязнь расправы. Ракутин действительно разобрался, но жить ему оставалось всего один месяц,— в октябрьских боях он падет на поле боя.

Сталин отчаянно искал способы, как остановить отступление, как заставить подавленных, деморализованных людей сражаться, как помочь им поверить в свои силы. Анализ документов Ставки, личных распоряжений Сталина показы-

вает: Верховный Главнокомандующий в решении этой исключительной задачи отдал приоритет угрозе беспощадной карой. Может быть, был прав Троцкий, утверждавший, что в критические моменты сражений надо ставить солдат перед выбором «между возможной почетной смертью впереди и неизбежной позорной смертью позади»? Эта мысль вполне могла прийти в голову Сталину. Он лично подготовил директиву всем фронтам о борьбе с паникерством. После его диктовки и правки документ выглядит следующим образом:

«Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать: «нас окружили!» и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия обращается в бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает выходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах... Беда в том, что твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много...

1. В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов, численностью не более батальона.

2. Задачами заградительного отряда считать прямую помощь комсоставу в установлении твердой дисциплины в дивизии, приостановку бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия...

4. Создание заградительных отрядов закончить в пятидневный срок со дня получения настоящего приказа.

И. Сталин.

Продиктовано лично тов. Сталиным. Б. Шапошников.
12 сентября 1941 г. 23.50».

Заградотряды, штрафные роты и батальоны, угроза расстрела — шаги крайние, но вынужденные в значительной мере в результате ошибок и просчетов самого Сталина. «Твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много» — тоже благодаря прежде всего самому Верховному.

Или вот еще телеграмма Сталина, рассчитанная на моральное воздействие прежде всего его имени:

«Командарму 51 тов. Кузнецову.
Командующему ЧФ тов. Октябрьскому.
Копия: НКВМФ тов. Кузнецову.

Передайте просьбу Ставки Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6—7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения.

Получение подтвердить.
15 сентября 41 г.

И. Сталин».

Такие телеграммы нередко оказывали мобилизующее воздействие. Но в данном конкретном случае, несмотря на мужество защитников Одессы, в середине октября гарнизон пришлось эвакуировать в Крым для его обороны.

Сталин искал пути подъема морального духа войск. В середине сентября 1941 года Шапошников во время очередного доклада Верховному Главнокомандующему высказал мнение, что, если бы все дивизии сражались, как лучшие соединения, враг был бы давно остановлен. Сталин промолчал, а затем приказал подумать в Генштабе, ГлавПУРе, как выделить лучшие части. Вскоре родился известный приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 от 18 сентября 1941 года, который на основании Указа рождал советскую гвардию. В приказе, в частности, говорилось: «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... За боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии. Всему

начальствующему составу дивизии с сентября с. г. установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания».

В первые месяцы войны не везде ладно было и в тылу, особенно в прифронтовой полосе. В секретариате М. И. Калинина сохранилось письмо Е. В. Луговой, копии которого были им переданы в несколько адресов. Советская женщина, по всей видимости, учительница, пишет Калинину: «Я коротко постараюсь описать тыл, где живу я. Местность Мелитополь — (Бердянск) — Осипенко. Тысячи мобилизованных из разных мест, уже занятых, и прифронтовой полосы ходят с места на место. Цели не знают. Порядка не чувствуют. Без обмундирования. Есть на 20 процентов босых. Без оружия. Дисциплина плохая... Кое-кто из мобилизованных подходит к нашим женщинам и сообщает скверные вести: «У нас нет оружия, обмундирования, немецкая техника непобедима; разбирайте зерно, все равно ему тут пропадать, разбирайте скот...» Народ волнуется сильно. Руководители уезжают, спасаются их жены, которые не работали, а нас бросают на гибель; руководить были охотники, а защищать нет никого... Газеты наши не освещают недостатков, замалчивают их, а это рождает неверие».

Простая женщина верно подметила: катастрофическое начало больше всего сказалось на моральном духе. Нужны были победы, военные успехи, которые могли бы вернуть мужество тем, кто его утратил.

Противник последовательно концентрировал усилия то на одном, то на другом участке, добиваясь успеха. Верховный Главнокомандующий, стремясь переломить крайне неудачно складывающийся ход событий, попытался тоже прибегнуть к этому методу, но войска привыкли отступать и обороняться, обороняться и отступать. Например, в середине сентября Сталин, придавая особое значение Ленинграду, решил его деблокировать. Для этого пошел на необычный шаг: командующим крупной 54-й армией, состоявшей из восьми дивизий, был назначен Маршал Советского Союза Г. И. Кулик. Это, видимо, единственный случай в нашей военной истории, когда таким объединением командовал маршал. Сталин очень надеялся и ждал успеха операции. Однако удары в направлении Мги из Волхова и Ленинграда не дали желаемого результата. Войска едва-едва продвинулись вперед, но и это ободрило Верховного. В разговоре 16 сентября 1941 года по прямому проводу с Куликом, после того как Б. М. Шапошников дал командарму конкретные указания оперативного порядка, Сталин решил пообещать «премию».

«Сталин. Мы очень рады, что у Вас имеются успехи. Но имейте в виду, что если Вы завтра ударите как следует на Мгу, с тем чтобы прорвать или обойти оборону Мги, то получите от нас две хороших кадровых дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю Вам слово, что Вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады.

Кулик. Постараемся выполнить Ваши указания и обязательно получить Вами обещанное».

20 сентября Сталин вновь приглашает к прямому проводу Кулика, все более разочаровываясь в способностях маршала добиться серьезного успеха.

«Сталин: Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если Вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами.

Кулик. Только вернулся из боя. Целый день шел сильный бой за взятие Синявино и за взятие Вороново. Противник переходил несколько раз в контратаки и, несмотря на губительный огонь с нашей стороны (я применял сегодня оба РС, ввел все резервы), успеха не имел.

Сталин. Новые дивизии и бригада даются Вам не для взятия станции Мга, а для развития успеха после взятия станции Мга. Наличных сил вполне достаточно, чтобы станцию Мга взять не один раз, а дважды.

Кулик. Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей станции Мга не взять».

Сталин прекратил разговор, но про себя, наверное, подумал: зачем в сороковом году я увенчал его Золотой Звездой Героя и маршальским званием? Что ни поручишь, одни провалы и неуспехи... Но Сталин еще раз вернется к Маршалу Со-

ветского Союза Григорию Ивановичу Кулику в критический момент — он его пошлет в эпицентр зреющей крупной катастрофы в 1942 году, когда, пожалуй, уже никто и ничем не сможет помочь. После этого последнего сталинского поручения Кулик опустился на уровень служебного положения, который занимал в начале тридцатых годов...

Нет, крупного, хотя бы локального успеха летом и осенью сорок первого года Сталин добиться, по существу, не смог. Знакомство с его телеграммами, распоряжениями, директивами, которые исходили в этот период лично от него, подтверждают вывод, к которому пришел Г. К. Жуков; Сталин в начале войны не был полководцем. Отсутствие специальных знаний, опыта руководства боевыми действиями такого масштаба Верховный Главнокомандующий пытался подменять силовым напором, угрозами, репрессивными мерами, декларативными призывами. Оперативное, стратегическое мышление в первый период войны у него еще не вышло за рамки здравого смысла, эмпирического старого опыта, прежних схем гражданской войны. Но нужно при этом признать, что Сталин был прилежным учеником. Страшным учителем была война.

Катастрофы и... надежды

Сорок первый и отчасти сорок второй год принесли немало катастроф на полях сражений. Не думаю, что какое-либо государство могло выдержать такие удары. Крупнейшие поражения, связанные с окружением основных сил — сначала Западного, под Минском, затем Юго-Западного, подле Киева, фронтов,— не были единичными, на очереди вызревали еще две катастрофы в Крыму и Ленинграде. Одна из них «состоится», а другая ценой немыслимых жертв и человеческого стоицизма будет в конце концов предотвращена — город на Неве будет удержан.

Гитлер после крупного успеха на Украине уверовал, что он может продолжать наступательные операции на нескольких стратегических направлениях. В конце сентября Шапошников доложил Сталину, что под угрозой Крым — передовые части немецкой ударной группировки ворвались на Турецкий вал. Посоветовавшись, решили немедленно направить две директивы Ставки; на первой из них настоял Сталин, на второй — Шапошников. Сталин помнил, что он еще в августе, назначая генерал-полковника Кузнецова командующим 51-й армией, в специальном приказе подчеркнул: «Удерживать Крымский полуостров в наших руках до последнего бойца». Сталин, видя в авиации панацею от многих бед (на протяжении всей войны), отдал приказ:

«Командующему Южным фронтом,
Члену Военсовета ВВС КА т. Степанову.
Командующему 51-й Отдельной Армией.

Противник силою до трех пехотных дивизий атаковал укрепления Перекопского перешейка и ворвался на Турецкий вал. Верховный Главнокомандующий приказал: Пятой резервной авиагруппе в полном составе в течение всего дня 26.9.41 уничтожать штурмующие Перекоп войска немцев...

26.9.41 г. 4.20 По поручению Ставки Б. Шапошников».

Сталин наивно надеялся при помощи только авиации воспрепятствовать вторжению немецких войск в Крым. Другая директива касалась эвакуации войск из Одессы в Крым и подчинения частей Одесского оборонительного района командующему 51-й Отдельной армией. После подписания директив Сталин спросил Шапошникова:

— Сколько человек будет защищать Крым, какие возможности его удержать?

— С переводом одесских частей число защитников Крыма возрастет до ста тысяч. Около ста танков, более тысячи орудий и пятьдесят самолетов. С этими силами удержать Крым можно.

Но не знал Сталин, что командование 51-й Отдельной армии, боясь высадки десантов, раздробит силы объединения по всему полуострову. Воевать еще не умели... Наиболее опасный участок будет укреплен явно слабо. Для обороны перешейков фактически использовались лишь части четырех стрелковых дивизий

неполного состава. После десяти дней кровопролитных боев немецкая группировка ворвалась в Крым. Войска Приморской армии с жестокими боями отходили к Севастополю, а 51-я армия (к этому времени ее командующего Ф. И. Кузнецова Сталин сменил на П. И. Батова) отступала к Керченскому полуострову.

Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко 6 ноября докладывал шифротелеграммой Сталину, что положение в Крыму исключительно тяжелое, особенно на Керченском полуострове. В его донесении сообщалось, что «резервы исчерпаны, винтовок и пулеметов нет, маршевые роты прибыли без вооружения, дивизии, отходившие на Керченском направлении, имели по 200—350 человек. Ввиду малочисленного состава 271, 276 и 156 стрелковые дивизии слиты в одну, 156 дивизию». Левченко просил или «срочно усилить Керченское направление дополнительно двумя дивизиями, или решить вопрос об эвакуации войск из Керчи».

Сталин, слушая доклады Генштаба о продолжающемся отступлении 51-й армии, все время в гневе требовал:

— Чего они пятятся? Ведь там у немцев даже танков нет! Примерное равенство в силах! Прикажите Левченко лично вылететь в Керчь и прекратить отступление. Передайте: прекратить отступление!

Уже 9 ноября из Севастополя в Керчь прибыл вице-адмирал Левченко. Обстановка не улучшилась. Сталин приказал соединить его по телефону с Маршалом Советского Союза Куликом, отозванным к тому времени с поста командующего 54-й армией. Хмуро, неприветливо поздоровавшись, без всяких предисловий и объяснений Верховный приказал неудачливому маршалу, который уже, похоже, потерял у него кредит доверия:

— Немедленно вылетайте в Керчь. Помогите Левченко разобраться в ситуации. Керчь нужно держать, иначе немцы могут оказаться и на Таманском полуострове. Вы поняли?

— Все будет исполнено. Вылетаю немедленно.

— Хорошо, действуйте,— сухо попрощался Сталин.

Прибыв 12 ноября в Керчь, Кулик застал в районе сильно дезорганизованное военное хозяйство, части которого вели разрозненные арьергардные бои без четкого плана и руководства. В городе уже были проявления паники, неразберихи и растерянности. Кулик пытался навести элементарный порядок в обороне, но этого сделать ему не удалось. Все требования Кулика — зарыться в землю, ни шагу назад! — падали в пустоту. Лишь отдельные подразделения, где командиры не потеряли голову, стояли насмерть. Два полка, которые он еще имел возможность перебросить с Таманского полуострова в Керчь, по его мнению, уже не могли спасти положения. Он приказал этим полкам не переправляться в Керчь, а усилить оборону побережья Тамани. Скоро эта деталь будет едва ли не главным обвинением против Кулика, пока еще Маршала Советского Союза.

15-го, за сутки до окончательной катастрофы, Кулик получил еще одно распоряжение Сталина, переданное Шапошниковым,— «Керчи не сдавать!». Разговаривая по прямому проводу с генерал-майором Вечным из Генерального штаба, он так охарактеризовал обстановку и свои намерения:

«Состояние 51-й армии настолько тяжелое, что можно считать максимум на 40% боеспособной одну 106 сд, остальные дивизии имеют в своем составе по 300 штыков, не более... Сейчас идут бои на южной окраине города, противник вклинился в районе Митридат. Сегодня поставил задачу удерживать еще одни сутки, до темноты вывести основную массу артиллерии, а в ночь на 16-е отвести остальные части... Мною на месте оценена обстановка и принято решение согласно личного указания тов. Сталина по телефону при отъезде в 51 армию, не допустить противника переправиться на Северный Кавказ...».

Сделаем отступление. Когда Кулика после катастрофы вызвали для объяснений в Москву, его утверждение об указании Сталина «не допустить противника переправиться на Северный Кавказ» вызвало гневную тираду Верховного:

— Не допустить на Кавказ — путем удержания Керчи! А не с помощью ее сдачи!

Но продолжим изложение доклада Кулика в Генеральный штаб:

«Сейчас 12 стрелковая бригада, вооруженная мною за счет разоружения в районе Краснодара крымских ВУЗов и запасных частей, выброшена на северный отрог Таманского полуострова и занимает оборону по западному склону этого отрога. Два полка 302 сд занимают оборону на южном отроге Таманского полуострова».

Все действия Кулика по обороне Керчи, представшего 16 февраля 1942 года перед специальным присутствием Верховного Суда СССР, будут расценены как преступные. Сталин не хотел ему простить сдачи Керчи, не использовавшему, по мнению Верховного, все имеющиеся силы для ее удержания.

Еще раз вернемся к докладу Кулика:

«Сейчас есть только одна пристань у завода Войкова, которая позволяет грузить артиллерию, а на пристани Еникале можно грузить только живую силу, вот вкратце обстановка и состояние армии. Еще одна деталь. Сейчас ловим в Анапе, Новороссийске, Крымской и Краснодаре дезертиров 51 армии, которые исчисляются тысячами».

Конечно, трудно рассчитывать на успех, если в дивизиях «по 300 штыков, не более», а дезертиры «исчисляются тысячами». В архивных документах Ставки нет следов о том, было ли ее официальное разрешение на оставление Керченского полуострова, которое последовало 16 ноября, или нет. В Москве, правда, понимали, что в создавшихся условиях организованная эвакуация — единственный оставшийся шанс. Сдача Керчи была логическим концом неудачного ведения боевых действий в Крыму. Опыт героической обороны Севастополя руководство 51-й армии использовало плохо. После оставления Керчи положение Севастопольского района обороны стало еще более трудным.

Выслушав доклад начальника Генштаба о катастрофе в Крыму, Сталин пришел в сильный гнев. Козлом отпущения на этот раз он сделал Кулика. Керчь стала началом заката этого военачальника. В марте 1942 года он был понижен в воинском звании с Маршала Советского Союза до генерал-майора. Около полугода после этого Кулик был командующим 4-й гвардейской армией, затем — заместителем начальника Главного управления формирования и укомплектования войск. Но поражений на фронте Сталин ему так и не простил. Уже через несколько лет после войны Кулик был арестован и расстрелян. Так печально завершилась судьба еще одного сталинского маршала.

По всей видимости, Кулик был достаточно незадачливым военачальником, лишенным заметных военных способностей, но в керченской катастрофе вина его, по нашему мнению, не является решающей или очевидной. Он прибыл в Керчь за четыре дня до тяжелого финала. Его способности не были столь выдающимися, чтобы за этот очень короткий срок добиться невозможного. Сталин расценил действия бывшего маршала как неисполнение его указаний. Уже после войны, в спокойной обстановке анализируя события в Керчи в ноябре 1941 года, Маршал Советского Союза Соколовский писал в заключении Генштаба: «Изучение имеющихся документов показывает, что в сложившихся условиях бывший Маршал Советского Союза Кулик, прибывший 11 ноября для оказания помощи войскам, действовавшим на Керченском полуострове, при отсутствии в его распоряжении необходимых сил и средств изменить ход военных действий в нашу пользу и удержать город Керчь уже не мог. Этот вывод подтверждают также участники этих событий адмирал тов. Левченко Г. И. и генерал армии тов. Батов П. И.».

Сталин сам вознес Григория Ивановича Кулика на большие высоты военной иерархии, хотя тот, как можно судить, не обладал ни большим умом, ни высокой профессиональной компетентностью. После разжалования Маршала Советского Союза до генерал-майора Сталин как будто дал ему шанс: через месяц распорядился присвоить звание генерал-лейтенанта. Но в конце войны после письма начальника Главупраформа генерал-полковника Смородинова и члена Военного совета генерал-майора Колесникова Булганину о «моральной нечистоплотности и барахольстве, потере вкуса и интереса к работе» Сталин вновь отдает указание снизить Кулика до генерал-майора. Окончательно доконала служба, а точнее, Сталин, Кулика, когда он был назначен заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. В этой должности там был в то время генерал-

полковник Гордов Василий Николаевич, тоже попадавший в сталинскую опалу. Ущемленные генералы вели неосторожные разговоры и вскоре были уволены в отставку, затем, однако, их арестовали, а в 1950 году Кулик и в 1951-м Гордов были осуждены и расстреляны. В 1957 году их реабилитировали с восстановлением воинских званий. Но вернемся к Крыму.

Верховный примириться с потерей Керчи не хотел. Он согласился с предложением Генштаба, что героическая оборона Севастополя может быть подкреплена дерзкой десантной операцией в Крыму, которая обещает стать началом освобождения полуострова. Поэтому, обсуждая вместе с Шапошниковым и Василевским контуры стратегических планов на зимнюю кампанию 1941/42 годов, Сталин вновь вернулся к Крыму, и уже менее чем через месяц после ухода из Керчи Ставка ВГК утвердила план десантной операции на полуострове.

Это была самая крупная операция такого рода в Великой Отечественной войне. Сталин почему-то был уверен в ее успехе. Может быть, он уповал на психологию: разве могут немецкие генералы даже предположить, что немногим более чем через месяц на Керченском полуострове вновь будут советские войска? И, наоборот, потерпев жестокое поражение, наши дивизии захотят доказать именно на этой же каменистой земле, что их воля к борьбе и победе не утрачена. Сталин сам контролировал разработку операции в Крыму, готовившейся в большой тайне.

Но это была не только крупная десантная операция, но и в конце концов крупная неудача. С 26 по 31 декабря кораблями Черноморского флота, Азовской военной флотилии на севере и востоке Керченского полуострова, в Феодосии было десантировано около 40 тысяч человек, 43 танка, 434 орудия и миномета, много другой техники и оружия. Первоначальная сила удара была внушительной. Части восстановленной 51-й армии и 44-й смогли продвинуться на запад более чем на сто километров, освободить Керчь, Феодосию. Казалось, еще одно усилие — и рядом Севастополь, после чего становилась реальной задача освобождения всего Крыма. Чтобы полнее гарантировать успех, Сталин направил в качестве представителя Ставки на Крымский фронт Мехлиса.

Накапливая силы для последующего наступления, Военный совет Крымского фронта совсем не придал должного значения обороне, которая была неглубокой и неустойчивой. Разведка, система противовоздушной обороны, маскировка, расположение резервов были организованы плохо. Расплата не замедлила произойти. 8 мая немецкая группировка, которая по численности и мощи была почти в два раза меньше, чем советские войска, нанесла удар вдоль побережья Феодосийского залива. Беспечность и неорганизованность обернулись большой трагедией. Мехлис сразу же начал слать Верховному телеграммы-доносы на командующего фронтом Козлова, но реакция Сталина была на этот раз необычной. Он понимал, что менять комфронта в критическую минуту поздно, поэтому резко отчитал Мехлиса: «Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дело Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы — не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта... Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у вас в Крыму несложные, и вы могли бы сами справиться с ними».

Сталин прав — Гинденбургов в «запасе» не было, но он ошибался, утверждая, что дела в Крыму «несложные». Верховный несколько раз направлял командованию 51-й армии директивы Ставки с требованиями закрепиться на Турецком валу, организовать упорную оборону, выехать на передовую лично, активнее использовать артиллерию. Однако командование фронта откровенно растерялось. Сталин, предчувствуя беду, в полночь 11 мая продиктовал на одном дыхании телеграмму в типично своем стиле:

«Главкому СКН Маршалу Буденному.

Копия: Военному совету Крымфронта — Мехлис.

Ввиду того, что Военный совет Крымфронта, в том числе Мехлис, Козлов, потеряли голову, до сего времени не могут связаться с армиями, несмотря на то, что штабы армий отстоят от Турецкого вала не более 20—25 км, ввиду того, что

Козлов и Мехлис, несмотря на приказ Ставки, не решаются выехать на Турецкий вал и организовать там оборону, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает Главкому СКН Маршалу Буденному в срочном порядке выехать в район штаба Крымского фронта (г. Керчь), навести порядок в Военном Совете фронта, заставить Мехлиса и Козлова прекратить свою работу по формированию в тылу, передав это дело тыловым работникам, заставить их выехать немедленно на Турецкий вал, принять отходящие войска и материальную часть, привести их в порядок и организовать устойчивую оборону на линии Турецкого вала, разбив оборонительную линию на участки во главе с ответственными командирами.

Главная задача — не пропускать противника к востоку от Турецкого вала, используя для этого все оборонительные средства, войсковые части, средства авиации и морского флота.

Ставка Верховного Главнокомандования
Сталин.
11.5.42. Василевский».

Вся телеграмма в пол-листа состоит практически из одного предложения. В ней — оценки, негодование, советы, приказ, план действий, задачи, все вместе. Но, увы, бывают положения, когда заклинания даже самых могущественных людей бывают бессильны. За пять дней до горестного исхода Сталин поручил еще раз Василевскому передать от его имени приказ руководству Крымского фронта:

«Командующему Крымфронта
генерал-лейтенанту Козлову.

15 мая 1942 года, 1 час 10 мин.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя.

2. Перебросить к войскам, ведущим бой на западе, группу мужественных командиров с рациями с задачей взять войска в руки, организовать ударную группу с тем, чтобы ликвидировать прорвавшегося к Керчи противника и восстановить оборону по одному из керченских обводов. Если обстановка позволяет, необходимо там быть Вам лично.

3. Командуете фронтом Вы, а не Мехлис. Мехлис должен Вам помочь. Если не помогает, сообщите».

Если бы Сталин был самокритичным человеком, он должен был подумать, как не хватает сейчас на фронтах людей типа Тухачевского, Блюхера, Егорова, Якира, Дыбенко, Корка, Каширина, Уборевича, Алксниса. Но по своему характеру он не мог, не умел смотреть на себя как бы со стороны. Верховный всегда полагал, что корень неудач, катастроф в неисполнительности штабов, слабой организаторской работе командиров, неумении политработников мобилизовать людей В перечне недостатков, промахов, упущений, которые он умел и любил перечислять, даже мысленно не предполагалась его вина. А она была самой крупной...

15 мая Сталин, направляя свою последнюю директиву рушившемуся Крымскому фронту, уже знал: Керчь второй раз в течение полугода агонизирует. Ему докладывали, что основные силы (а их в начале мая Крымский фронт имел уже около 270 тысяч) будут эвакуированы Когда трагедия завершилась и стихли взрывы и залпы в Керчи, он стал требовать точную сводку о потерях. Ему ее доложили лишь через полторы недели. В ней значилось, что в течение двенадцати дней немецкого наступления Крымский фронт, обладая значительным превосходством в силах, потерял 176 566 человек, 347 танков, 3476 орудий и минометов, 400 самолетов. Это была одна из крупных катастроф Красной Армии в войне. Сталин, читая сводку, был весь в гневе:

— Недоноски! Так провалить успешную операцию!

Он послал туда специально Мехлиса, но он, похоже, только мешал делу; направил заместителя начальника Генштаба генерала Вечного — подвел и он... А Козлов откровенно растерялся, как растерялись и командармы. Бездарно руководил операцией Буденный. Тут же вызвав по телефону Василевского, приказал срочно подготовить директиву Ставки в военные советы фронтов и армий, обобщающую горькие уроки поражения. 4 июня при очередном докладе Василевский положил перед Сталиным проект директивы. Сталин углубился в чтение:

«К началу наступления противника Крымский фронт располагал шестнадцатью стрелковыми дивизиями, тремя стрелковыми бригадами, одной кавдивизией, четырьмя танковыми бригадами, девятью артиллерийскими полками усиления против семи пехотных, одной танковой дивизии противника и двух бригад... Тем не менее наши войска на Крымском фронте потерпели поражение и в результате неудачных боев вынуждены были отойти за Керченский пролив». Далее следовали дельные выводы об оперативных и тактических промахах, о причинах неудачи: слабом эшелонировании обороны, плохом использовании резервов, неумении использовать местность, рутинном управлении войсками, их неслаженном взаимодействии...

«Командование фронта,— читал далее Сталин,— не обеспечило даже доставки своих приказов в армии, как это имело место с приказом для 51 армии о прикрытии отвода всех сил фронта за Турецкий вал,— приказа, который не был доставлен командарму. В критические дни операции командование Крымского фронта и т. Мехлис, вместо личного общения с командующими армиями и вместо личного воздействия на ход операции, проводили время на многочасовых бесплодных заседаниях Военного совета. Козлов и Мехлис нарушили указание Ставки и не обеспечили его выполнения, не обеспечили своевременный отвод войск за Турецкий вал. Опоздание на два дня с отводом войск явилось гибельным для исхода всей операции». Дальше шло перечисление задач военных советов фронтов извлечь уроки из поражения.

— И это все? — строго посмотрел Сталин на Василевского.

— Да, товарищ Сталин...

— Записывайте... Все эти люди должны бы пойти под военный трибунал. Те, кто заслуживает. Но с этим успеется. Пишите,— повторил Верховный.

В итоге рождался приказ:

«1. Снять армейского комиссара I ранга т. Мехлиса с поста заместителя Народного комиссара обороны и начальника Политического управления Красной Армии и снизить его в звании до корпусного комиссара.

2. Снять генерал-лейтенанта т. Козлова с поста командующего фронтом, снизить его в звании до генерал-майора и проверить его на другой, менее сложной работе.

3. Снять дивизионного комиссара т. Шаманина с поста члена военного совета фронта, снизить его в звании до бригадного комиссара и проверить его на другой, менее сложной работе.

4. Снять генерал-майора т. Вечного с должности начальника штаба и направить его в распоряжение начальника Генерального штаба для назначения на менее ответственную работу.

5. Снять генерал-лейтенанта т. Черняка с поста командующего армией, снизить его в звании до полковника и проверить на другой, менее сложной военной работе.

6. Снять генерал-майора т. Колганова с поста командующего армией, снизить его в звании до полковника и проверить на другой, менее сложной военной работе.

7. Снять генерал-майора авиации т. Николаенко с поста командующего ВВС фронта, снизить его в звании до полковника авиации и проверить на другой, менее сложной военной работе».

Сталин посмотрел на Василевского и спросил:

— Не забыли кого? Остальных пусть своей властью накажет Главком направления. А теперь давайте подпишу...

Для него это все было уже в прошлом.

Почти в то же время, с разрывом в одну-две недели, пришлось перенести еще один тяжелейший удар: жестокое поражение под Харьковом. Здесь потери были еще более страшными: около 230 тысяч человек погибшими и плененными, 775 танков, более 5000 орудий и минометов [1]. После сорок первого года это были

[1] А вот как об этом сообщило Совинформбюро 31 мая 1942 года: «Некоторое время назад Советскому Командованию стали известны планы немецкого командования о пред-

две самые ужасные неудачи. «Апофеоз войны» Верещагина лишь отдаленно отражает масштабы сталинских катастроф. К лету создалась ситуация, когда Сталин, посоветовавшись с Молотовым и Берией в отношении планов Японии, был вынужден еще раз снять с Дальнего Востока крупные силы. После того, как Молотов заверил, что «Япония завязла в Юго-Восточной Азии», Сталин тут же позвонил Василевскому:

— Снимите десять—двенадцать дивизий с Дальнего Востока. Начало скрытного выдвижения не позже одиннадцатого июля. Доложите завтра.

— Хорошо, товарищ Сталин.

На другой день, точнее, ночь, Василевский читал Сталину по телефону директиву командующему Дальневосточным фронтом:

«Отправить из состава войск Дальневосточного фронта в резерв Верховного Главнокомандования следующие стрелковые соединения:

205	стр. дивизию	— из Хабаровска
96	стр. дивизию	— из Куйбышевка, Завитая
204	стр. дивизию	— из Черемхово (Благовещенск)
422	стр. дивизию	— из Розенгартовка
87	стр. дивизию	— из Спасск
208	стр. дивизию	— из Славянка
126	стр. дивизию	— из Раздольное, Пуциловка
98	стр. дивизию	— из Хороль
250	стр. бригаду	— из Биробиджан
248	стр. бригаду	— из Зелодворовка, Приморье
253	стр. бригаду	— из Шкотово».

— Я согласен,— ответил Сталин.— Отправляйте директиву.

Верховный, начавший было обретать уверенность и уже подумывавший о том, как сорок второй год сделать годом разгрома немецких войск, вновь был до основания потрясен этими крупнейшими неудачами. Сталин еще не знал, что это не последняя его катастрофа. Он не хотел признаться самому себе, что и в этом случае полководческое мастерство противника оказалось выше. Прямолинейные, часто запоздалые указания и директивы Ставки в первый период войны были бесхитростными, часто элементарными, лишенными мудрости военного искусства.

В марте Сталин созвал совещание, на котором обсудили предложения командования Юго-Западного направления. Присутствовали Сталин, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Василевский, Жуков. Главкомат предлагал осуществить широкую наступательную операцию на юге силами трех фронтов с выходом на рубеж Николаев—Черкассы—Киев—Гомель. Возразил Шапошников:

— У нас нет крупных стратегических резервов. Целесообразнее ограничиться активной обороной по всему фронту, проявляя особое внимание на Центральном направлении.

— Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми! — заметил Сталин.

Жуков предложил нанести удар на Западном направлении, а на остальных вести активную оборону. Тимошенко настаивал на проведении крупной операции на юге. Его поддержал Ворошилов. Василевский, выражая позицию Генерального штаба, возражал. Мнения разделились, и все ждали, что скажет Сталин. До этого он на подобных заседаниях ограничивался утверждением или отклонением проработанных предложений. Сейчас ему надо было принять ответственное самостоятельное решение. Он должен был сделать выбор. Стратегический выбор.

стоящем крупном наступлении немецко-фашистских войск на одном из участков Ростовского фронта. Чтобы предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск, Советское Командование начало наступление на Харьковском направлении, при этом в данной операции захват Харькова не входил в планы Командования... Основная задача, поставленная Советским Командованием,— предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск — выполнена. В ходе боев немцы потеряли убитыми и пленными не менее 90 тысяч солдат и офицеров, 540 танков, не менее 1500 орудий, до 200 самолетов. Наши войска в этих боях потеряли убитыми до 5 тысяч человек, пропавшими без вести 70 тысяч человек, 300 танков, 832 орудия и 124 самолета».

Сталин в душе всегда был «центристом». В дни Октября, борьбы за Брестский мир, схватки с оппозицией он, мы помним, стремился занимать такие позиции, с которых было бы быстро, удобно и безопасно примкнуть к сильнейшей стороне. В архиве Радена, между прочим, содержится любопытный документ — «О центризме в нашей партии»,— где Сталин называется его выразителем, а сам центризм — «идейной нищетой политика». Сталин остался верен своему методологическому кредо. Он принял половинчатое решение, ограничив проведение войсками Юго-Западного направления одной операции. Сталин отдал предпочтение Харьковской операции с последующим освобождением Донбасса. Теперь уже никто не возражал, хотя и до этого были не столько возражения, сколько иные предложения. В Ставке Сталину возражали редко.

Согласились ограничить задачу разгромом Харьковской группировки, решили, что удары по сходящимся направлениям — из района южнее Волчанска и с Барвенковского плацдарма — могут поставить противника в безвыходное положение. Но в Ставке не знали, что и немецкое командование готовилось нанести удар по нашим войскам в Барвенковском выступе. Фактически Ставка санкционировала наступление из оперативного «мешка». Это было очень рискованно.

Наступление на Харьков началось 12 мая удачно. Сталин несколько раз говорил по телефону с Тимошенко. За первые три дня войска продвинулись до 50 километров в глубину. И полной неожиданностью для всех был мощный удар с юга во фланг наступающей группировке. Последовал ряд противоречивых распоряжений. Уже 18 мая Тимошенко, по некоторым данным (в архиве следов этих переговоров нет), обратился к Сталину с просьбой прекратить наступление на Харьков. Верховный ответил отказом:

— Мы дадим из резерва две стрелковые дивизии и две танковые бригады. Пусть Южный фронт держится цепко. Немцы скоро выдохнутся.

Событиям под Харьковом Хрущев посвятил целый фрагмент своего доклада на XX съезде партии. По его версии, он сам дозвонился до Сталина на даче. К телефону подошел Маленков. Хрущев якобы заявил, что желает лично говорить с товарищем Сталиным. Но Верховный, который находился в комнате, «в нескольких шагах от телефона», вновь сказал, чтобы он говорил с Маленковым. После того, как Маленков передал его просьбу о прекращении наступления, Сталин сказал: «Оставить все так же, как есть!» Именно здесь Хрущев упомянул и пресловутый «глобус», по которому Сталин будто бы руководил операциями на фронте. Другими словами, Хрущев однозначно сказал делегатам съезда, что именно Сталин виновен в харьковской катастрофе. Другую версию выдвигает Г. К. Жуков, полагая, что ответственность за неудачу несут и руководители Военного совета Южного и Юго-Западного фронтов.

Г. К. Жуков во втором томе своих «Воспоминаний и размышлений» пишет, что в Генштабе раньше, чем на фронте, почувствовали опасность. 18 мая «Генштаб еще раз высказался за то, чтобы прекратить нашу наступательную операцию под Харьковом... К вечеру 18 мая состоялся разговор по этому же вопросу с членом Военного совета фронта Н. С. Хрущевым, который высказал такие же соображения, что и командование Юго-Западного фронта: опасность со стороны краматорской группы противника сильно преувеличена, и нет оснований прекращать операцию. Ссылаясь на эти доклады Военного совета Юго-Западного фронта о необходимости продолжения наступления, Верховный отклонил соображения Генштаба. Существующая версия о тревожных сигналах, якобы поступавших от военных советов Южного и Юго-Западного фронтов в Ставку, не соответствует действительности. Я это свидетельствую потому, что лично присутствовал при переговорах Верховного».

Думаю, в этом случае ближе к истине маршал. Н. С. Хрущев, приводя в докладе свои личные воспоминания, скорее всего передал спустя много лет свою запоздалую реакцию на неудачу, когда уже 19-го (!) всем было ясно, что надвигается катастрофа. Маршал Жуков неоднократно подчеркивал, что решение Верховного основывалось на докладах Тимошенко и Хрущева. Если это просто забывчивость Хрущева, то это одно дело, но если в данном случае предпринята попытка задним числом создать себе историческое «алиби»,— уже совсем другое. Что же

касается Сталина, то он не смог по достоинству оценить трезвый анализ ситуации, осуществленный Генштабом.

Группа Клейста наращивала мощь удара, расширила прорыв, и Сталин к своему ужасу ясно увидел, что через день-два наши войска могут оказаться в барвенковской мышеловке. Он отдал наконец приказ перейти к упорной обороне на Барвенковском выступе, но было уже поздно. Две армии, 6-я и 57-я, фактически были разбиты, как и армейская группа генерала Л. В. Бобкина, наступавшего на Красноград. Это было еще одно из самых страшных поражений Великой Отечественной войны.

Понял ли Сталин причины неудач? Осмыслил ли суть личных промахов? Почувствовал ли собственную стратегическую и оперативную уязвимость? Трудно сказать. Но бесспорно одно, что он, как и командование вообще, постепенно воспринимал кровавые уроки войны. С высоты сегодняшних лет военные историки справедливо пишут, что причины харьковской неудачи лежат на поверхности: не создали надежного обеспечения флангов наступающей группировки; не обеспечили решающего превосходства в ключевом месте; не провели две-три отвлекающие операции где-то южнее и севернее точки удара, позволив гитлеровскому командованию тем самым безбоязненно маневрировать силами; не использовали авиацию Брянского и Южного фронтов для массированной поддержки наступления и нанесения ударов по наиболее опасным группировкам противника; контрудар Клейста оказался неожиданным, что говорит о слабой работе разведки; и, наконец, управление, связь оказались вновь на чрезвычайно низком уровне. Все это ясно нам, повторяю, сегодня, в тиши кабинетов, наедине с архивными папками дел Ставки. В те дни в кровавой мясорубке войны все было сложнее, труднее, неопределеннее. Но именно в такие моменты и выявляются подлинная гениальность, величие и талант полководца. Сталин их не проявил. Невиданную стойкость проявил лишь народ, простой солдат, которые продолжали сражаться, сражаться, сражаться, не ведая, что многие колоссальные жертвы под Минском, у Киева, в Крыму, под Харьковом, в ряде других мест связаны в огромной степени с просчетами вождя.

Испытав ряд сокрушительных поражений, на которых лежит и печать его личной вины, Сталин продолжал искать шансы усиления сопротивления. После крымской и харьковской катастроф он принял решение активизировать партизанское движение. В конце мая 1942 года, после «обговора» со своим окружением, он подписал постановление ГКО № 1837 «О создании при Ставке Верховного Главнокомандования центрального штаба партизанского движения». В постановлении, в частности, говорилось:

«В целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения создать при Ставке Верховного Главного Командования Центральный штаб партизанского движения». При военных советах Юго-Западного направления, Брянского, Западного, Калининского, Ленинградского и Карело-Финского фронтов создавались фронтовые штабы партизанского движения. Были сформулированы задачи партизанского движения, которое возглавлялось Центральным штабом, куда вводились товарищи Пономаренко П. К. (ЦК ВКП(б), Сергиенко В. Т. (НКВД), Корнеев Г. Ф. (Разведуправление НКО). Это был правильный шаг Ставки, который, возможно, нужно было сделать раньше.

Конечно, Сталин мучительно размышлял над причинами неудач. В последующем он многому научится, но эти уроки слишком кровавы. А пока, едва более или менее стабилизировав фронт на юге, Сталин решил послать специальное письмо Военному совету Юго-Западного фронта.

В два часа ночи 24 июля, после того, как Василевский закончил очередной доклад и собирался уходить, Сталин произнес:

— Подождите. Я хочу вернуться к харьковской неудаче. Сегодня, когда я запросил штаб Юго-Западного фронта, остановлен ли противник под Купянском и как идет создание рубежа обороны на реке Оскол, мне ничего вразумительного доложить не смогли. Когда люди научатся воевать? Ведь харьковское поражение должно было научить штаб. Когда они будут точно исполнять директивы Ставки? Надо напомнить об этом. Пусть кому положено накажут тех, кто этого заслуживает, а я хочу направить руководству фронта личное письмо. Как вы считаете?

— Думаю, что это было бы полезным,— ответил Василевский.

Бесстрастные хранилища человеческой памяти — архивы — сохранили для нас и этот документ.

«Военному Совету Юго-Западного фронта.

Мы здесь в Москве — члены Комитета Обороны (характерно, Сталин ни с кем из Комитета Обороны не советовался и решение, как и многие другие, принял единолично.— Д. В.) и люди из Генштаба, решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна. Тов. Баграмян не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте. Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 10—20 дивизий».

Сталин остановился, замолчал, посмотрел на Василевского, затем вновь стал расхаживать по кабинету. Наконец, обратился к начальнику Генштаба:

— Вместе с Самсоновым тогда, в 1914 году, потерпел поражение генерал русской армии с немецкой фамилией, забыл...

— Ранненкампф,— помолчав, сказал Василевский, ставший только в этом месяце начальником Генштаба и еще не привыкший к возможным «зигзагам» мысли Верховного.

— Да, конечно... Пишите дальше.

«Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Ранненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося тов. Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остается неудовлетворительной, информация недоброкачественная...

Направляем к Вам временно в качестве начальника штаба заместителя начальника Генштаба тов. Бодина, который знает Ваш фронт и может оказать большую услугу. Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28 армии. Если тов. Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше.

Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов Военного совета и прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущева. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе — с потерей 18—20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто...

Желаю Вам успеха.

26 июня 42 г. 2.00. И. Сталин».

Сталин отпустил Василевского, устало откинулся в кресле. Подумалось: так хорошо начался год. Контрнаступление под Москвой с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года было первой крупной наступательной операцией, осуществленной в тесном взаимодействии трех фронтов. Страна ликовала: удалось отбросить врага от стен столицы на 100—250 километров на запад! Казалось, перелом наступил. Удачная высадка крупного десанта в Крыму. Успех под Тихвином, окружение крупной группировки под Демянском... И потом... Если бы Сталин читал о Божественном Юлии Гая Светония, то мог бы сказать словами Цезаря: «Никакие победы не принесут столько, сколько может отнять одно поражение». Однако их было не одно. И будут еще...

А потом эти поражения. Но он их воспринял более спокойно, чем угрозу, которая нависла в октябре прошлого года над столицей. В то время Верховный Глав-

нокомандующий еще никак не мог освободиться от какой-то неуверенности, его мучили тревожные предчувствия. До первой крупной победы под Москвой он никак не мог обрести былой уверенности. Когда 2 октября принесли радиоперехват с речью Гитлера, ему могло подуматься: если сейчас не выстоим, то это будет концом прежде всего его, Сталина. Вождю все время казалось, что в случае еще одного большого неуспеха от него не просто отвернутся — его сместят, уберут, ликвидируют...

Он помнит, что тогда несколько ночей не уезжал из кабинета, забываясь тревожным сном в небольшой комнате отдыха на два-три часа в сутки, а остальное время вместе с генералами Генштаба, членами Политбюро что-то лихорадочно решал, о чем-то распоряжался, кого-то вызывал. Помнит, как ему кажется, умную директиву, подготовленную в Ставке: перейти по всему фронту к упорной, жесткой обороне, закопаться в землю, вырыть везде окопы полного профиля в несколько линий с ходами сообщения, проволочными заграждениями и противотанковыми препятствиями. Сейчас ему представляется смешным, но в те дни он был, пожалуй, главным «снабженцем»: лично распределял чуть ли не каждый танк, орудие, машину, прибывающие в Москву. Например, 1 октября 1941 года он распределял «по справедливости» колючую проволону и пакеты малозаметных препятствий.

Несмотря на героические усилия войск Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов, к середине октября 3-я и 4-я танковые группы немецких войск соединились в районе Вязьмы и дивизии 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий попали в кольцо окружения. Какой-то рок висел над советскими войсками в сорок первом и первой половине сорок второго года — немецкие подвижные танковые и механизированные соединения готовили и осуществляли охваты, окружения, клещи. Окружение, как проклятие, витало над войсками. Одно неосторожное слово в обороне — «обошли» или «окружили» — создавало предпосылки паники, резкого снижения морального духа войск. Сталин опасался, что боязнь окружения парализует войска и под Вязьмой, но войска отчаянно сражались. Росла моральная «упругость» людей, их стойкость, хотя она была все же еще недостаточной. Сталин отдал приказ: окруженным соединениям с боями выходить на Можайскую линию обороны. Отдельным частям это удалось, но потери вновь были очень велики. Самоотверженность советских солдат, павших в боях в районе Вязьмы, позволила задержать более чем на неделю около тридцати вражеских дивизий. За это время срочно укреплялась Можайская линия.

Когда Сталину сказали, что немецкие войска, выйдя к Осташкову, Туле, Наро-Фоминску, непосредственно угрожают Москве, он, не советуясь с Генштабом, продиктовал один короткий приказ и подписал его как нарком обороны: «Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи отражения воздушного противника, быть готовым к отражению и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника». Над созданием оборонительных укреплений вокруг Москвы работало более полумиллиона москвичей, в основном женщины. Это были самые тревожные недели столицы. С Дальнего Востока и из Сибири шли свежие дивизии.

Над Москвой нависла реальная угроза. 20 октября решением ГКО в Москве было введено осадное положение. Для Сталина, как и для всего советского народа, октябрь и ноябрь оказались исключительно трудными. Полное душевное равновесие к нему не приходило потому, что противник наносил один жестокий удар за другим, не давал опомниться, отдышаться, оглядеться. Сталин был подобен боксеру, загнанному в угол и с трудом держащемуся на ногах под градом ударов удачливого соперника. Временами Сталину могло казаться, что его спасет только чудо. Но это было не чудо, а народ, который будучи поставленным в тяжелейшее положение, нашел в себе силы выстоять. На эти же октябрьские дни приходится и кульминация тревоги за Ленинград. Великий стоицизм, подлинное величие духа проявили ленинградцы. В своей речи, произнесенной 9 ноября 1941 года, Гитлер, объясняя топтание немецкой армии у стен Ленинграда, цинично заявил: «Под Ленинградом мы ровно столько времени наступали,

сколько нужно было, чтобы окружить город. Теперь мы там в обороне, а противник вынужден делать попытки вырваться, но он в Ленинграде умрет с голода. Если бы была сила, которая угрожала снять нашу осаду, то я приказал бы взять город штурмом. Но город крепко окружен, и он и его обитатели — все окажутся в наших руках».

У Сталина не было уверенности, что Ленинград удастся удержать. По его поручению Василевский 23 октября 1941 года продиктовал ночью по прямому проводу текст указаний, собственноручно написанных Сталиным:

«Федюнинскому, Жданову, Кузнецову.

Судя по вашим медлительным действиям, можно прийти к выводу, что вы все еще не осознали критического положения, в котором находятся войска Ленфронта. Если вы в течение нескольких ближайших дней не прорвете фронта и не восстановите прочной связи с 54 армией, которая вас связывает с тылом страны, все ваши войска будут взяты в плен. Восстановление этой связи необходимо не только для того, чтобы снабжать войска Ленфронта, но и, особенно, для того, чтобы дать выход войскам Ленфронта для отхода на восток — для избежания плена в случае, если необходимость заставит сдать Ленинград. Имейте в виду, что Москва находится в критическом положении, и она не в состоянии помочь вам новыми силами. Либо вы в эти два-три дня прорвете фронт и дадите возможность вашим войскам отойти на восток в случае невозможности удержать Ленинград, либо вы попадете в плен.

Мы требуем от вас решительных и быстрых действий. Сосредоточьте дивизий восемь или десять и прорвитесь на восток. Это необходимо на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важней. Требуем от вас решительных действий.

Сталин. 23.10. 3 ч. 35 мин.».

Верховный допускал возможность захвата противником и Москвы, и Ленинграда. Это ясно видно из вышеприведенного текста его личных указаний, из распоряжений по подготовке к уничтожению Балтийского флота. В тех же архивных делах зафиксировано, что часом позже Василевский по прямому проводу говорил с командующим войсками 54-й армии генерал-лейтенантом М. С. Хозиным, который через четыре дня будет назначен командующим Ленинградским фронтом: «На ваши вопросы отвечаю указаниями товарища Сталина. 54-я армия обязана приложить все усилия к тому, чтобы помочь войскам Ленфронта прорваться на восток... Прошу учесть, что в данном случае речь идет не столько о спасении Ленинграда, сколько о спасении и выводе армии Ленфронта. Все».

Критическая ситуация сложилась и на подступах к Москве. Командование группы армий «Центр» получило предписание Гитлера: «4-я танковая группа и 4-я армия без промедления наносят удар в направлении Москвы, имеющий целью разбить находящиеся перед Москвой силы противника и прочно захватить окружающую Москву местность, а также плотно окружить город. 2-я танковая армия с этой целью должна выйти в район юго-восточнее Москвы с таким расчетом, чтобы она, прикрываясь с востока, охватила Москву с юго-востока, а в дальнейшем и с востока». В октябрьском наступлении немецкие войска в ряде мест продвинулись до 200—250 километров.

Сталин помнит, как 17 или 18 октября он утром собрал у себя в кабинете членов ГКО и Политбюро, военных. Пришли В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, Л. П. Берия, Н. А. Вознесенский, А. С. Щербаков, Л. М. Каганович, А. М. Василевский, П. А. Артемьев. Поздоровавшись, Хозяин предложил всем сесть и сразу же начал отдавать распоряжения: сегодня же эвакуировать правительство, крупных общественных, государственных деятелей, произвести минирование крупнейших предприятий и подготовить их в случае захвата Москвы к взрыву. У всех въездов, входов в Москву соорудить противотанковые и противопехотные заграждения. Здесь же было решено, как и предписывалось мобпланом, эвакуировать правительство в Куйбышев, а Генштаб — в Арзамас. Помолчав, Сталин добавил, что он все же надеется на лучший исход: скоро из Сибири и с Дальнего Востока начнут прибывать дивизии. Погрузка их в эшелоны уже началась.

«Москвы не сдадим», «Дальше отступать некуда» — стало гражданским, патриотическим императивом каждого советского человека. После кратковременной паники в середине октября на улицах Москвы наступила спокойная решимость. Столица была готова сражаться до конца.

Вокруг ближней дачи Сталина поставили несколько зенитных батарей, усилили охрану. Однажды, приехав под утро на дачу, Сталин, едва выйдя из машины, оказался свидетелем воздушного налета на Москву. Оглушительные хлопки зенитных орудий, лучи прожекторов над головой, надсадный гул множества самолетов в московском небе наглядно продемонстрировали сегодняшнее положение столицы. Сталин застыл у машины и молча смотрел на картину налета. Мог ли он думать еще четыре месяца назад, что его дача окажется на расстоянии дневного броска немецкой танковой колонны? Рядом на дорожке что-то с шумом упало. Власик нагнулся — то был осколок от зенитного снаряда. Начальник охраны пытался увлечь Сталина на дачу (укрытие было сделано позже), но Верховный, пожалуй, впервые непосредственно ощутивший смертельное дыхание войны, постоял еще несколько минут, вдыхая промозглый воздух октябрьского утра. Тогда-то у него и возникло желание побывать на фронте

В конце октября, ночью колонна из десятка машин выехала за пределы Москвы по Волоколамскому шоссе, затем через несколько километров свернула на проселок. Сталин хотел увидеть залп реактивных установок, которые выдвигались на огневые позиции, но сопровождение, охрана дальше ехать не разрешили Постояли на пригорке. Сталин послушал какого-то высокого командира с Западного фронта, долго смотрел на багровые всполохи за линией горизонта на западе и повернул назад. На обратном пути его тяжелая бронированная машина засела в грязи. Шофер А. Кривченков был в отчаянии. Но кавалькада не задерживалась — Берия настоял, чтобы Верховный пересел в другую машину, и к рассвету «выезд на фронт» завершился.

Однажды в середине октября, когда Сталин хотел ехать на дачу, Берия нерешительно сказал: «Нельзя, товарищ Сталин». На недоуменный взгляд Хозяина ответил по-грузински: «Дача заминирована и подготовлена к взрыву». Сталин возмутился, но быстро остыл. Берия сообщил также, что на одной из станций под Москвой приготовлен специальный поезд для него, а также готовы четыре самолета Ставки, в том числе личный самолет Сталина «Дуглас». Сталин колебался, потому что где-то в глубине души чувствовал: пока армия, народ знают, что он в Москве, это придает им уверенность. После долгих размышлений решил оставаться в Москве до последнего. Это было его дополнительным шансом. Знал, что эвакуация столицы идет полным ходом, минируются оборонные предприятия; Берия предлагает в случае отхода взорвать и метро... Надо поговорить с Щербаковым... Сталин закрыл глаза: куда-то уплыл сразу Берия, пропал звук его голоса и с запахом полыни пришли видения — багровые всполохи. А он держит теплый осколок зенитного снаряда, который дал ему Власик...

И ведь выстояли! И второе генеральное наступление немцев на Москву провалилось! Вскоре Сталин одобрил идею командующего Западным фронтом Г. К. Жукова о контрнаступлении. Суть плана заключалась в том, чтобы мощными ударами Западного фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Калининского и Юго-Западного фронтов уничтожить основные группировки врага, нависшие над Москвой с севера и юга, окружить и разгромить все армии противника, противостоящие нашему Западному фронту. В конечном счете дело решили резервы.

Как предсказывал командующий группой «Центр» фон Бок, «исход сражения будет решен последним батальоном». Советское командование распорядилось ими на этот раз куда расчетливее. Когда немецкие атаки буквально заглохли на самых подступах к Москве и солдаты вермахта валились с ног от усталости, был отдан приказ на начало контрнас ·пления. Оно было наконец успешным. Гитлеровцы потерпели первое круп..ое поражение во второй мировой войне. Это было особенно важно, ибо немецкое командование уже разработало ритуалы «пленения» столицы, которые должны были означать близкую капитуляцию русских. Самое поразительное, что успеха советским войскам удалось добиться в условиях, когда противник имел некоторое превосходство в танках, артиллерии, некоторых других компонентах мощи.

Когда захватчиков погнали на Запад, казалось, это перелом. Самое главное, что удалось достичь первой победой,— в рнуть веру людям в возможность разгромить агрессора, развеять атмосферу фатальной неудачливости, сорвать, сдернуть ореол «непобедимости» с германской армии. Духовное значение победы в первой крупной стратегической наступательной операции было нельзя переоценить. Пожалуй, с декабря 1941 года к Сталину начала приходить уверенность в общем благоприятном исходе войны. Конечно, даже в минуты горечи поражений под Харьковом, в Крыму, в районе Вязьмы Сталин в глубине души надеялся на конечный успех. И эти надежды не были беспочвенными, они основывались прежде всего на способности советского народа переносить такие катастрофы, которые не пережил бы никто, кроме него. Фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные поражения не превратились в национальную непоправимую трагедию прежде всего потому, что Гитлер не смог сломить дух нашего народа. И пока он жив, этот дух, пока воля к борьбе не утрачена, самые крупные материальные утраты и человеческие жертвы еще не означают непоправимого конца. Катастрофы укрепили надежду Сталина. Это парадоксально, но это так. Те просчеты, которые он допустил накануне войны,— дилетантское руководство вооруженной борьбой, в ее первом периоде повлекшее невообразимые материальные, людские, технические, территориальные утраты,— не простил бы своему руководителю ни один народ. Но советский народ «простил», потому что уже давно функционировала система, в которой ему была уготована роль не творца, а исполнителя воли вождя. Для Сталина всегда был важен лишь результат, а не его цена. Исторической судьбе было угодно во главе гигантской страны иметь полководца-вождя, который мог позволить себе терять в операциях по сто, двести, триста, четыреста тысяч человек и не терять надежды на конечную победу...

И еще один момент битвы за Москву. В конце ноября немцы вышли к каналу Волга — Москва, форсировали реку Нара и подошли к Кашире с юга. Ставка в это время готовила контрнаступление, а Сталин, теперь уже на подмосковных фронтах, вновь предложил «перетасовку» командующих. Еще раньше, в октябре, командовать войсками Западного фронта вместо генерал-полковника И. С. Конева (его отправил командовать Калининским) он послал генерала армии Г. К. Жукова, на Брянском — генерал-полковника А. И. Еременко заменил генерал-майором Г. Ф. Захаровым, а затем генерал-полковником Я. Т. Черевиченко. На Юго-Западный фронт, который участвовал в Московской битве правым крылом, вместо маршала С. К. Тимошенко назначил генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. Лишь маршал С. М. Буденный удержался на Резервном фронте. Сталину казалось, что эти перестановки помогли под Москвой нащупать наиболее удачные сочетания фронтового руководства. Но, думается, все это вызывало разве что недоумение фон Бока, командовавшего группой армий «Центр» и не успевавшего осмысливать разведдонесения о рокировках советских генералов, а также создавало сплошные неудобства командующим, которым приходилось без конца «с ходу» вписываться в новую обстановку. Пожалуй, впервые под Москвой советские войска проявили настоящую упругость, «уперлись» до предела, развенчав миф о непобедимости немцев. Воспрянули не только народ и армия. Пришла, кажется, утраченная было уверенность и к Сталину.

Своеобразна была реакция Сталина на рассказы о трагедии ленинградцев, смерти сотен тысяч людей от голода. Генерал армии И. И. Федюнинский однажды рассказал мне о состоявшейся беседе Сталина с группой ленинградских руководителей после блокады. Сталину говорили, что город зимой 1941—1942 годов стал городом-призраком. Многие трупы лежали неубранными, вдоль домов медленно двигались тени. Беспомощные, обессилевшие люди падали и не поднимались. Саперы взрывчаткой делали рвы, куда убирали горы трупов. Самое страшное, рассказывал Федюнинский, что до последнего момента у умирающего человека сохраняется ясным сознание. Исчезает даже страх. Человек как бы «видит»,

созерцает собственную смерть. Застывший город стал молчаливым свидетелем одной из самых страшных трагедий в человеческой истории.

Сталин на этот рассказ ответил так: «Смерть косила не только ленинградцев. Гибли люди на фронтах, на оккупированных территориях. Согласен, смерть страшна в условиях безысходности. А голод — безысходность. Мы больше тогда ничего предложить Ленинграду не могли. Москва сама была на волоске. Смерть и война — понятия неразрывные. Этот мерзавец с челкой принес беду не только Ленинграду».

Когда Сталину докладывали о крупных потерях в результате окружения, неудачного контрудара или операции, Верховный обычно не давал волю чувствам. Мог сделать одно-два злых замечания в адрес военачальников, что-то вроде такого: «Когда, наконец, научатся воевать?», или: «Опять повторяется старая история». Но никогда не говорил о горечи безвозвратных потерь, тысячах погибших сынов Отечества, не выражал, как Ленин в гражданскую войну, своих чувств словами: «Такие потери, такие потери, это ужасно». У Сталина эмоции либо «застыли» задолго до войны, либо он умел их прятать очень глубоко.

Сталин был неплохим психологом. Он понимал, что ему нельзя покидать Москву, знал, что в сообщениях Информбюро не должно быть панических ноток, не случайно требовал, чтобы больше писали в газетах о подвигах, отважных, мужественных поступках советских воинов. Накануне ноябрьских праздников Сталин спросил Молотова и Берию:

— Как будем проводить военный парад? Может быть, на час-два раньше обычного?

Собеседникам показалось, что они ослышались. Какой парад? Немцы буквально под Москвой. Ударная группировка фашистов, состоящая из 51 дивизии, полуохватила столицу. Что за парад?! Сталин, словно не замечая недоумения соратников, продолжал:

— Войска противовоздушной обороны Москвы следует еще больше усилить. Военачальники основные на фронтах. Принимать парад будет Буденный, а командовать — генерал Артемьев. Если во время парада будет бомбежка — прорвутся немецкие самолеты,— убитых и раненых быстро убрать, но парад завершить. Пусть кинохроника снимет документальные журналы, которые быстро размножить и разослать по всей стране... Газеты должны отразить парад шире. Я сделаю доклад на торжественном собрании и произнесу речь на параде... Что скажете?

— Но риск... Риск! Конечно, политический резонанс у нас и в других странах будет огромным,— опомнился Молотов.

— Значит, решено,— не стал больше распространяться Сталин.— Отдайте необходимые распоряжения,— он повернулся к Берии,— но до последнего момента, кроме Артемьева, Буденного и еще нескольких особо доверенных лиц, никто не должен знать о готовящемся параде.

С высоты сегодняшних дней надо сказать, что решение провести парад было дальновидным шагом. Оно свидетельствовало о возрастающей уверенности Сталина, его умении влиять на общественное мнение страны, управлять духовным состоянием людей, тем более, что война у многих посеяла сомнения в ее победном исходе. В оккупированных районах появились многочисленные пособники гитлеровцев. Сталин понимал, что неудачи подтачивают веру, а ее нужно всячески укреплять.

Факты массовой сдачи в плен Сталин расценивал как проявление предательства, измены, враждебных намерений. Без всяких исключений. При этом никогда публично не признавал бесспорного факта, что во вражеском плену оказалось очень много советских военнослужащих. Председатель ГКО, выступая 6 ноября 1941 года на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся, проходившем на станции метро «Маяковская», заявил, что «за 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч человек и пропавшими без вести 378 тысяч человек». Сталин знал, что «пропавших без вести» было в несколько раз больше. В скупых цифрах сводок потерь, где в графе «пропавшие без вести» (графы «попавшие в плен» не было) были многозначные цифры, видел не результат катастрофического начала войны, а политические изъяны подготовки людей, «недоработку» карательных органов, вражеское влияние, отрыжки классовой борьбы прошлого. В оценке этих явлений Сталин не был ни тонким психологом, ни трезвым политиком, ни «мудрым отцом нации». Здесь он был тем Сталиным, каким во весь рост проявил себя в 1929—1933, 1937—1939 годах. Природа человека, его внутренний «стержень» меняются медленно. У Сталина установки на «вражеские происки» и «вражеское окружение» остались на всю жизнь. Иначе он просто не был бы Сталиным.

Плен и власовщина

Фашистское нашествие принесло множество бед в самых страшных формах. Одна из них — плен. Человек, поставленный в ситуацию выбора между смертью и жизнью, часто в войне выбирает жизнь, хотя она сопровождается утратой свободы, многих ценностей, своего достойного социального статуса. В минувшей войне плен был почти той же смертью, ибо подавляющее большинство пленных в немецких концлагерях погибло.

В мае 1918 года Советское правительство в обращении к Международному Комитету Красного Креста и правительствам мира подчеркнуло, что конвенция о жертвах войны, как и «все другие международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного Креста, признанные Россией до октября 1917 года, признаются и будут соблюдаться Российским Советским правительством». Как сообщается в энциклопедии «Британника», новая Женевская конвенция 1929 года по проблеме военнопленных Советским Союзом ратифицирована не была. Времена и люди в Советской России сильно изменились по сравнению с тем, что было в Москве в 1918 году. А что касается Гитлера, то для него международное право было лишь еще одной «химерой».

В первые полтора года войны в немецкий плен попали миллионы наших воинов. До сих пор нет точных советских данных ни потерь, ни пленных. Остается лишь надеяться, что теперь, когда доступ к архивам становится постепенно более свободным, будут уточнены суммарные цифры погибших, плененных. В одной из следующих глав мы приведем свои подсчеты потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне, но сегодня почти не вызывает сомнений, что в 1941 году попало в немецкий плен около 3 миллионов советских военнослужащих, что составляет примерно 70 процентов всего количества наших потерь пленными за войну. Для советских людей эта проблема стала не только делом «соотношения сил», но и проблемой политической и нравственной. В полной мере она и до сих пор не решена. Наряду с бесчестными людьми, перевертышами, предателями было очень много и тех, кто в силу трагически сложившихся обстоятельств оказался в плену. Все это — страшные ж е р т в ы войны.

Величие Сталина, долго державшегося на пьедестале победы и после разоблачения его культа, связано, между прочим, и с тем, что народ, общество до сих пор не знают т о ч н о й цены Победы. А она безмерно велика — и не в последнюю очередь из-за огромных просчетов Сталина накануне войны, его преступлений, связанных с террором по отношению к военным кадрам, равно как и из-за дилетантского, неумелого руководства, особенно в начале войны.

В 1941-м, как и в 1942 году, в результате ряда неудачных оборонительных и наступательных операций огромное количество советских военнослужащих оказалось в фашистском плену. Судьба этих людей безмерно горька. Горька вдвойне потому, что плен, по нашим официальным взглядам, был позором. Хотя советские уставы не рассматривают политическую и нравственную сторону плена, однозначно считалось, что плен — это фактически измена. Существовала формула: лучше смерть, чем плен. Но обстоятельства войны повернулись таким образом, что многие предпочли жизнь, чем смерть, в надежде вырваться из плена, вернуться к родным очагам.

Сталин уже в первые месяцы войны несколько раз интересовался объемом потерь. Генштаб, Главное управление кадров докладывали ему, но, похоже, тогда никто ничего толком не знал. Передо мной несколько дел военной статистики,

где содержатся сводки о потерях. Есть графы о том, сколько людей погибло, ранено, сколько больных, сколько пропало без вести; сколько выбыло из строя лошадей, потеряно орудий, минометов, танков, самолетов... Но графы, сколько попало в плен, нет. Если верить такой сводке, то за июнь и июль «пропало без вести» на всех фронтах всего 72 776 человек. Если приплюсовать август и сентябрь в следующей сводке, то сумма удвоится, но мы-то знаем, что только в районе Киева было окружено 452 720 человек. Большая их часть оказалась в плену.

В частных, не обобщающих донесениях число пропавших без вести определялось точнее. Например, Главный военный прокурор Красной Армии диввоенюрист Носов докладывал 24 сентября 1941 года заместителю наркома обороны СССР Л. З. Мехлису: «В 8-дневных боях в районе ст. Жуковка на шоссе Брянск — Рославль понесла огромные потери 299 стрелковая дивизия 50 армии Брянского фронта. На 12 сентября с. г. дивизия насчитывала менее 500 штыков, причем из 7000 чел. боевого расчета убито около 500 чел., ранено 1500 чел. и пропало без вести 4000 человек».

Сам Сталин косвенно признавал наличие большого количества «пропавших без вести». В телеграмме Тимошенко, Хрущеву, Бодину он писал: «Ставка считает нетерпимым и недопустимым, что Военный совет фронта вот уже несколько дней не дает сведений о судьбе 28, 38 и 57 армий и 22 танкового корпуса. Ставке известно из других источников, что штабы указанных армий отошли за Дон, но ни эти штабы, ни Военный совет фронта не сообщают Ставке, куда девались войска этих армий и какова их судьба, продолжают ли они борьбу или взяты в плен. В этих армиях находилось, кажется, 14 дивизий,— Ставка хочет знать: куда девались эти дивизии?»

Катастрофическое начало войны, когда немецкие танковые группировки, стремительно вклиниваясь, рассекали фронты, армии корпуса, создавало в войсках обстановку изоляции, оторванности, неизвестности. Главная сила коллектива — чувство локтя, сплоченности, монолитности — в этих условиях ослабевает. Немецким военачальникам удалось осуществить немало маневров, связанных с окружением или полуокружением отдельных частей, соединений. Этому виду боя советские войска не были обучены. Несмотря на мужество многих бойцов, командиров, политработников, тогда не были редкими случаи проявления паники, растерянности, утраты управления. Немало командиров, чтобы избежать плена, стрелялись. Часто это делалось после того, как были исчерпаны все возможности для сопротивления. Нередко главными мотивами такого шага были боязнь позора плена или страх ответственности за неисполненный приказ. Так, упоминавшийся нами генерал Копец, храбро сражавшийся в небе Испании, ставший командующим ВВС Западного особого военного округа, после ошеломительных неудач первых дней застрелился. Так поступали и некоторые другие. Генерал-майор Берзин С. В., находясь в окружении в районе Умани, когда были исчерпаны все возможности для сопротивления, тоже покончил с собой, хотя еще долго числился в списках как «пропавший без вести».

Гитлер, выступая в ноябре 1941 года, утверждал: «Если я хочу обрисовать в общих чертах успех этой войны, то мне достаточно назвать число пленных, которое менее чем за полгода достигло цифры 3,6 миллиона человек. И я запрещаю всяким английским остолопам рассказывать, что, дескать, это не подтверждено. Когда германское военное учреждение что-нибудь подсчитало — то его счет всегда правильный». Захлебываясь от истерии восторга, Гитлер фактически объявил, что победа уже у его ног и ему осталось нагнуться и поднять ее. Но он еще не чувствовал, что призрак наполеоновского поражения стоял у него за спиной.

Сейчас на Западе в научном обиходе циркулируют различные цифры советских военнопленных в минувшей войне. В некоторых изданиях приводятся данные штабов вермахта (ОКХ и ОКВ): с июня 1941-го по апрель 1945 года немцами было захвачено пять миллионов 160 тысяч человек. По нашим предварительным данным, цифра, видимо, завышена. Плата за просчеты, некомпетентность, неподготовленность была огромной.

Повторяю: вероятно, в недалеком будущем будут названы более точные цифры погибших, раненых, пленных с той и другой стороны. Но, по нашим предварительным подсчетам, зная численность частей, попавших в окружение, количество потерь в операциях первого периода войны, зарубежную статистику, можно дать осторожную оценку количества советских военнослужащих, попавших в фашистский плен. Эта цифра за первые полгода войны исчисляется примерно тремя миллионами человек. Значительно меньшее количество военнослужащих оказалось в плену во время Харьковской и Крымской операций и во время летнего наступления немцев в 1942 году. А затем, после Сталинграда, как правило, уже советские войска пленили врага. И ради исторической справедливости отметим: когда была поставлена последняя победная точка в Берлине в мае 1945 года, те солдаты, офицеры и генералы вермахта, кто уцелел,— все, подчеркнем, все,— оказались в плену советских войск или их союзников. Так что разговор, по Гитлеру, об окончательном «успехе этой войны», выраженном в числе пленных, могли в конце концов вести только союзники.

Как Сталин относился к плену? Как реагировал на факты окружения и сдачи в плен огромного числа военнослужащих? Помимо официальной устной установки, запрещающей плен как недопустимый для советского воина поступок, у Сталина к этому примешивалось главным образом подозрение в измене, предательстве, пособничестве врагу. Любой человек, побывавший в плену, не заслуживал его доверия. Кроме заградотрядов, Верховный, как мы уже говорили, лично санкционировал создание специальных лагерей НКВД для «проверки» выходящих из окружения людей. И в первый да и второй периоды войны они создавались в немалом количестве. Резолюций Сталина, подобных той, что мы приведем ниже, было немало.

«Товарищу Берия Л. П.

Против организации 3-х лагерей НКВД для проверки отходящих частей возражений не имеется.

И. Сталин.

24.8.42 г. 3 часа 35 минут. Продиктовано тов. Сталиным по телефону. Боков».

Сталин очень внимательно следил за судьбой пропавших без вести крупных военачальников. Например, им были даны специальные указания выяснить судьбу командармов Качалова, Понеделина, Власова, Ефремова, Потапова, Ракутина, Самохина, Лунина. О судьбе Качалова и Понеделина мы уже говорили ранее. После того, как исчезли Власов и Ефремов, Верховный отдал распоряжение Берии выяснить их судьбу. В архиве А. А. Жданова сохранилась телеграмма генералу Сазонову:

«По поручению Ставки Верховного Главнокомандования немедленно ответьте, что вам известно о Власове, жив ли он, видели ли вы его и какие меры вы приняли к его розыску. Жду немедленного ответа.

Жданов».

Власова не нашли, но он скоро сам заявил о себе, о чем мы скажем ниже. О генерал-лейтенанте М. Г. Ефремове, судьбу которого также приказал выяснить Сталин, узнали случайно. Одна жительница из деревни Слободка Темкинского района Смоленской области сообщила военным, что в конце апреля солдаты за околицей «закапывали генерала». Доложили наверх, где было подозрение, что командарм оказался в плену. В результате проверки к Сталину пошло донесение, фактически реабилитирующее погибшего генерала:

«Товарищу Сталину.

Генерал-лейтенант Ефремов М. Г. организовал группу бойцов и командиров для выхода из окружения. Во время одного из боев с противником в районе дер. Малое Устье генерал-лейтенант Ефремов М. Г. был тяжело ранен в бок; не имея возможности самостоятельно передвигаться, застрелился и был похоронен в дер. Слободка, Темкинского р-на, Смоленской области. Путем раскопки могилы и опознания трупа установлено... что Ефремов получил тяжелое ранение в седалищную кость и, не имея уверенности на спасение от пленения, застрелился.

Соколовский.

30 апреля 1943 г. Булганин».

Своей смертью, обстоятельства которой стали известны, советский генерал, сохранивший мужество до последних минут жизни, снял с себя политически двусмысленное определение: «пропал без вести».

Как докладывали Сталину из учетно-статистического управления ГУК, в 1941—1942 годах «пропало без вести» немало генералов: Л. В. Бобкин, Т. К. Бацанов, П. М. Падосек, С. В. Вишневский, П. Ф. Алферьев, Г. М. Зусманович, В. В. Владимиров, И. П. Новохатный, И. С. Никитин, Н. А. Лебедев, И. В. Зуев, Л. С. Грищук, Т. К. Черепин, В. Г. Ванеев, А. И. Попенко, Г. А. Ларионов, П. Г. Егоров и Д. Г. Егоров, И. П. Прохоров и В. И. Прохоров, Б. А. Погребов, Г. И. Федоров, А. С. Титов, А. В. Горнов, М. Г. Хацкилевич, А. Б. Борисов, М. Д. Борисов, В. Б. Борисов, Г. И. Кузьмин, Л. Г. Петровский, П. П. Павлов, Ф. Н. Матыкин, Э. Я. Магон, И. П. Карманов, И. А. Корнилов, М. М. Шаймуратов, Б. С. Рихтер, К. Т. Руденко, А. А. Журба, П. В. Сысоев, А. Н. Смирнов, Ф. Г. Сущий, А. Г. Самохин, А. С. Зотов, И. А. Коняк, Я. И. Тонконогов, К. Е. Куликов, Д. М. Карбышев, Г. П. Козлов и ряд других генералов.

Некоторые из них оказались в плену, немало застрелилось, большая часть погибла при выходе из окружения. Работая над книгой, мне удалось установить дальнейшую судьбу многих из них. Это могло бы стать темой специального исследования. Назову лишь несколько фамилий. Генерал-майор Л. В. Бобкин не пропал в безвестье, а, находясь в окружении, был убит немецким автоматчиком 26 мая 1942 года. Пуля настигла его, когда он стоял у трупа собственного сына...

Генералы Г. А. Ларионов, П. Г. Егоров, Г. И. Федоров, А. С. Титов, М. Г. Хацкилевич, А. Б. Борисов, В. Б. Борисов, Э. Я. Магон, Л. Г. Петровский, М. М. Шаймуратов, К. И. Ракутин, А. Н. Смирнов, А. С. Митрофанов, Ф. Н. Матыкин, Ф. Ф. Алябушев, Ф. Г. Сущий, Д. П. Сафонов, С. В. Берзин, И. В. Васильев и некоторые другие тоже не были «пропавшими без вести», а погибли непосредственно в бою. Так, например, генералы В. Б. Борисов и М. Г. Хацкилевич погибли в танках от прямых попаданий немецких снарядов. Генералы Г. М. Зусманович, И. С. Никитин, П. Г. Макаров, Н. М. Старостин, И. М. Шепетов, К. Е. Кулинов, С. В. Баранов, Д. М. Карбышев и многие другие нашли мученическую смерть в фашистских лагерях. У других судьба иная. Генерал-майор П. В. Сысоев, попавший в плен в июле 1941 года, смог бежать из лагеря в 1943 году, три года затем «проверялся». Несколько человек были приговорены к расстрелу за невыполненные приказы или за измену Родине. Таких — единицы, наподобие Б. С. Рихтера, В. Ф. Малышкина, Г. Н. Жиленкова, пошедших в услужение Гитлеру. Но, подчеркнем еще раз, таких подонков в генеральских чинах были единицы.

Большинство советских генералов оказались в плену в первые месяцы войны, потом было лишь два-три таких случая, когда в силу тактической ошибки, роковой неосторожности они оказывались в расположении противника. По каждому из этих обстоятельств Верховный издавал грозный приказ. Вот, например, выдержка из одного такого приказа:

«Командующим войсками фронтов и отдельных армий.

Шестого ноября командующий 44 армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий артиллерией той же армии генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли ориентировку, попали в район расположения противника, при столкновении с которым в машине, управляемой лично Хоменко, заглох мотор, и эти лица были захвачены в плен со всеми находящимися при них документами.

1. Запретить выезд командующих армиями и корпусами без разведки и охраны;

2. При выезде в войска, от штаба корпуса и ниже, не брать с собой никаких оперативных документов, за исключением чистой карты района поездки...

4. Запретить высшему начальствующему составу личное управление автомашинами.

7 ноября 1943 года И. Сталин».

Сталин, организовав в 1937—1939 годах «тотальную» чистку общества, казалось, мог надеяться, что явлений сотрудничества с оккупантами не будет. Молотов и после войны утверждал, что Хозяин в то время «ликвидировал пятую колонну». Иначе, по его словам, мы едва бы выстояли в войне. Однако и Сталин, и Молотов были далеки от истины. Прежде всего в 1937—1938 годах Сталин вырубил не врагов, об этом мы уже много говорили. Ну и, наконец, квислинги и лавали были и на Западе; предатели, коллаборационисты появились, и в немалом количестве, и на оккупированных территориях Советского Союза. Причины этого явления многолики. После революции прошло всего два десятка с небольшим лет. Еще были живы обиженные Советской властью. Многих заставлял идти на путь сотрудничества с захватчиками страх, стремление приспособиться, выжить. Некоторые, особенно в сорок первом году, считали, что немцы пришли надолго, если не навсегда. Ну и, наконец, во все времена были и, наверное, будут слабые, безвольные, а то и просто мерзкие люди, способные на подлость, предательство, измену. Например, в конце декабря 1941 года Берия сообщил Маленкову, что красноармеец, по документам А. П. Ульянов, попавший в плен к немцам, был переброшен ими через линию фронта уже в качестве капитана, дважды Героя Советского Союза, но его быстро разоблачили.

Да, попадались такие люди, для которых Родина не была высокой ценностью. Но неизмеримо больше было тех, чьи честь и достоинство гражданина, патриота ни при каких условиях не позволяли пойти в услужение к агрессору.

В минувшей войне Сталину пришлось столкнуться не только с отдельными, но и организованными проявлениями сотрудничества некоторых наших соотечественников с фашистами. В наиболее откровенной форме это выразилось в предательстве генерал-лейтенанта Власова А. А., командующего войсками 2-й ударной армии Волховского фронта.

Когда в конце мая 1942 года Сталину сообщили, что в районе Мясной Бор отрезана 2-я ударная армия Волховского фронта, он воспринял сообщение внешне спокойно. Сколько уже армий «отрезали»! В сорок первом такие вести он воспринимал более драматически. Теперь, после успешной Московской битвы, неудачи Сталин воспринимал более спокойно. Он был уверен, что те или иные неудачи на фронте не в состоянии кардинально изменить положение. И больше не вызывало сомнений, что антифашистская, антигитлеровская коалиция придет к победе. Приняв сообщение о 2-й ударной армии, он знал, что командует ею опытный заместитель командующего фронтом Власов, всего три месяца назад Сталин одобрил постановление СНК СССР о присвоении ему звания «генерал-лейтенант» как одному из самых «крепких» командармов, кандидату на командование фронтом. Через несколько дней Сталин спросил у генштабистов, какие части 2-й ударной вышли из окружения и как все это случилось.

Василевский напомнил, что директивой № 131 от 21 мая, которую подписал Верховный Главнокомандующий войскам Волховской группы Ленфронта ставилась, в частности, задача: «Ударом главных сил 2 ударной армии с запада, с одновременным ударом 59 армии с востока, уничтожить противника в выступе Приютина, Спасская Полисть... а затем силами 59, 2 ударной и правым крылом 52 армий прочно обеспечить за собой плацдарм на западном берегу р. Волхов в районе Спасская Полисть, Мясной Бор, Земтицы, прикрыть ленинградскую железную дорогу и шоссе с тем, чтобы не допустить соединения по этим дорогам новгородской и чудовской группировок противника и восстановления железной дороги Новгород — Ленинград».

— Ну, а как вы допустили окружение армии? — спросил Сталин Василевского.

— Когда с севера над Второй ударной армией нависла крупная немецкая группировка, я неоднократно требовал от Хозина отвести войска армии на рубеж реки Волхов.

— А Хозин?

— Лишь двадцать пятого мая фронт отдал необходимые распоряжения, но явно запоздал. Через три-четыре дня основные коммуникации снабжения армии были перерезаны, и армия оказалась в окружении. После этого,— продолжал Василевский,— я направил третьего июня командующему Ленинградским фронтом такую телеграмму за своей подписью и Бокова: «Действия по уничтожению про-

тивника в районе Спасская Полисть и Приютина проводятся Вами крайне медленно. Противник Вами не только не уничтожается, а, наоборот, перейдя к активным действиям, преградил пути отвода Второй ударной армии, так как разгадал Ваш маневр по ее выводу. Попытки войск фронта пробить брешь в боевом порядке противника оказываются малоуспешными. Основной причиной этого нужно считать не только медлительность Ваших мероприятий, но и вывод сил по частям вместо удара всеми силами Второй ударной армии... Промедление и нерешительность в этом деле чрезвычайно опасны, ибо все это дает противнику возможность изо дня в день сильнее закрепляться на перехваченных им путях отвода Второй ударной армии». Но, похоже, требования и сейчас командованием фронта и армии не выполняются...

— С Власовым связь есть?

— Нет. Последние сообщения от него были где-то в начале июня,— ответил Василевский.

— Может быть, Волховскую оперативную группу выделить в отдельный фронт?

— Считаю этот шаг верным: в этой группе войск много. Надо, чтобы они обеспечили вывод Второй ударной из окружения.

— Хозина снять, а командующим Ленинградским фронтом назначить Говорова. Командующим новым, Волховским фронтом — генерала армии Мерецкова. Если возражений нет, оформите приказом.

Возражений Сталину практически никогда не было. Скоро другие события отодвинули Власова из поля зрения, внимания и памяти Верховного Главнокомандующего. Правда, лишь один раз, когда немецкое радио начало усиленно муссировать тему об окружении «самой крупной» советской армии, Сталин распорядился сделать специальное сообщение Совинформбюро. Сталину быстро доложили проект:

«28 июня германское информационное бюро передало сообщение Ставки Гитлера об уничтожении 2-й ударной, 52-й и 59-й армий Волховского фронта, якобы окруженных немецко-фашистскими войсками на западном берегу р. Волхов. Но события на этом участке фронта развернулись так, что ударами 59-й и 52-й армий с востока и 2-й ударной армии с запада части противника, прорвавшиеся на коммуникации, были большей частью уничтожены, а незначительные их остатки отброшены в исходное положение... Следовательно, ни о каком уничтожении 2-й ударной армии не может быть и речи.

Совинформбюро».

Сталин взглянул на текст, помолчал и отдал Поскребышеву со словами: «Ничего сообщать не надо». Верховный передумал. Но затем, спустя несколько часов, вновь отдал распоряжение сообщить о 2-й армии. 29 июня 1942 года Совинформбюро, в частности, передало: «Гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30 000 якобы захваченных пленных, а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, эта очередная гитлеровская фальшивка не соответствует фактам... По неполным данным, в этих боях немцы потеряли только убитыми не менее 30 тысяч человек... Части 2-й ударной армии отошли на заранее подготовленный рубеж. Наши потери в этих боях до 10 тыс. человек убитыми, около 10 тыс. человек пропавших без вести». Как трудно верить, когда и у немцев и у нас всегда потери такие «круглые»! Мы только сегодня постепенно узнаем, как плохо подготовленная операция поглотила ранней весной в болотах на Волховском фронте тысячи и тысячи людей, которые и по сей день горько числятся как «без вести пропавшие»!

Через несколько недель после исчезновения Власова как-то поздно ночью в кабинете Сталина остались Молотов и Берия. Сверкнув стеклами своих маленьких очков, Лаврентий Павлович вытащил из своей неизменной кожаной папки несколько листов бумаги и положил их перед Сталиным.

— Что это?

— Посмотрите: вот как объявился «пропавший без вести» командарм Второй ударной армии,— ответил Берия.

Сталин придвинул к себе листки и быстро пробежал глазами заголовок:

«Обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза».

«Русский комитет,— говорилось в «Обращении»,— ставит перед собой следующие цели: свержение Сталина и его клики, заключение почетного мира с Германией, создание Новой России... Призываем переходить на сторону действующей в союзе с Германией Русской освободительной армии... Председатель Русского комитета генерал-лейтенант Власов. Секретарь Русского комитета генерал-майор Малышкин». Далее шли листовки-пропуска для перехода через линию фронта к немцам, «Открытое письмо А. А. Власова: почему я стал на путь борьбы с большевизмом» и другая подобная «продукция».

Сталин брезгливо отодвинул листовки от себя, спросил Берию:

— А может, это фальшивки? Что известно о Власове? Есть подтверждения?

— Да, есть. Власов активно работает на немцев.

— Как же мы его перед войной не разглядели? — вмешался в разговор Молотов.

Берия вместо ответа вытащил из папки личное дело Власова. Сталин, перелистнув страницу, задержался взглядом на скуластом человеке в очках с оттопыренными ушами и внимательными глазами. Родился в Горьковской области; родители из крестьян-середняков. Кроме отца старика и жены, родственников нет. Видимо, это Берия подчеркнул красным карандашом: окончил духовное училище в Нижнем Новгороде, два года учился в духовной семинарии до 1917 года. Сталин подумал: если бы не революция, то был бы попом, а не красным генералом. Участвовал в гражданской войне. Служил затем все время хорошо: 99-я стрелковая дивизия, которой он командовал, была одной из лучших в Киевском округе. До этого был в спецкомандировке в Китае. Командовал 4-м механизированным корпусом, который хорошо сражался под Перемышлем и Львовом, а затем — Сталин это сам хорошо знает, потому что подписывал назначение,— был выдвинут командующим войсками 37-й армии, защищавшей Киев. Армия здесь выглядела неплохо. Затем — командующий 20-й, а потом и 2-й ударной армией... Сталин помнит, как по его поручению 20 апреля Шапошников подписал приказ о назначении «по совместительству» (в военной лексике это слово редко употребляется) командующего 2-й ударной армией Власова А. А. и заместителем командующего Волховским фронтом. В 1938 году в его партхарактеристике записано: «Много работает над вопросами ликвидации остатков вредительства в части». Аттестации подписаны такими известными военачальниками, как Кирпонос, Музыченко, Парусинов, Голиков. 24 января 1942 года генерал армии Г. К. Жуков в боевой характеристике Власова написал: «Руководил операциями 20 армии: контрударом на город Солнечногорск, наступлением войск армии на Волоколамском направлении и прорывом оборонительного рубежа на р. Лама. Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками армии справляется вполне».

Я внимательно просмотрел личное дело бывшего советского генерал-лейтенанта А. А. Власова. Все характеристики блестящие. Единственное замечание, отмеченное в аттестации 19 ноября 1940 года, сводится к пожеланию «обратить внимание на сбережение и уход за конским составом». Везде: «Предан делу партии Ленина — Сталина и социалистической Родине». И вдруг...

Заслужить в это жестокое время оценку Жукова — «справляется вполне» — значит немало. Но как не распознали Жуков, Кирпонос, Голиков и другие предателя? — могла бы заскользить мысль в привычном раньше направлении. Но остановимся в самом начале: до войны к нему было «не подкопаться», а воевал Власов лучше многих. Был награжден орденами Ленина и Красного Знамени... Просто тайники человеческого сознания могут хранить то, что не поддается внешнему наблюдению. У этого человека никогда не было подлинных социалистических убеждений. Он умел имитировать себя патриотом, человеком долга, был службистом. Некоторые особисты пытались ухватиться за духовное образование Власова, но вынуждены были отпустить эту зацепку — сам вождь, как

известно, учился в духовной семинарии... Сталин не верил, что Власову удастся сделать что-то серьезное у немцев, но сейчас, он понимал, вслед за объявлением о создании РОА (Русская освободительная армия) следует ждать других формирований национального характера. И он не ошибся.

В Берлине почувствовали, что, сделав ставку на молниеносную войну, они недооценили мощь Советского Союза, мощь экономическую, военную, социальную и духовную. Гитлер надеялся, что после таких ударов, которые он нанес в сорок первом году, Советский Союз рассыплется на национальные осколки, но этого не произошло. Интернациональное единство не было поколеблено. Наоборот, оно явилось одним из устоев жизнеспособности Советского государства. Общая опасность в огромной степени усилила интернациональную сплоченность советского народа, хотя Сталин и допускал в национальной области серьезные ошибки и преступления, в том числе и в ходе войны.

Уже в 1942 году гитлеровское руководство стало искать в лагерях для военнопленных отщепенцев, готовых служить не только в Русской освободительной армии Власова, но и в различных национальных легионах: Грузинском, Армянском, Туркестанском, Кавказском, прибалтийских, других национальных формированиях. Усилий было приложено много, но результат был незначительным. Немало военнопленных оказались «легионерами» лишь потому, что видели в этом путь к выживанию и получению возможности бежать к своим; были, конечно, и такие, кто поддался на националистическую пропаганду. Но в целом сила интернационалистского сознания была велика. Даже носившие форму «легионеры» очень часто искали возможности перейти линию фронта, хотя многие не могли не знать, что их ждет. 3 октября 1942 года, например, солдаты Туркестанского легиона Бергенов, Хасанов и Тулебаев после четырехдневных поисков партизан вышли в расположение советских частей, сообщив, что бо́льшая часть их батальона готова перейти к своим. 8 октября того же года на участке обороны 2-й гвардейской стрелковой дивизии перешли линию фронта бывшие военнослужащие Цулая и Кабакадзе с просьбой помочь подразделению Грузинского легиона перейти линию фронта.

Особенно немцы рассчитывали на легионы, которые они формировали в Прибалтике. Население этих республик накануне войны в составе Союза жило лишь около года. Но эти легионы немецкое командование смогло в основном использовать как вспомогательные формирования для охраны объектов, дорог, патрулирования, иногда и для карательных операций. После войны лица, служившие в легионах, были осуждены и отправлены в ссылку. Руководство республик, в частности, обращалось в Советское правительство с просьбой об амнистировании этих лиц. Например, 16 марта 1946 года Предсовнаркома Латвийской ССР Лацис и Секретарь ЦК КП(б) Латвии Калнберзин писали в Москву: «В период временной оккупации Латвийской ССР немецкие захватчики насильно мобилизовали все трудовое население, часть которого угнали на принудительные работы в Германию, а другую зачислили в т. н. легионы немецкой армии... Впоследствии, после освобождения, эти люди были сосланы на 6 лет в северные районы. Просим тех, за кем нет ничего другого, кроме службы в легионах,— вернуть в Латвийскую ССР».

Сталин обычно такие записки передавал на решение Молотову и Берии, но его позиция была всегда неизменна, когда дело касалось судеб людей, сознательно ушедших к немцам или с немцами. После освобождения Северного Кавказа Берия докладывает Сталину:

«НКВД считает целесообразным выселить из Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска, Мин. Вод, Ессентуков... членов семей бандитов, активных немецких пособников, предателей, изменников Родины и добровольно ушедших с немцами и переселить их на постоянное жительство в Таджикскую ССР в качестве спецпереселенцев. Выселению подлежат 735 семей — 2238 человек. Прошу Ваших указаний.

Л. Берия».

Сталин, как всегда, «согласен». Едва ли он не понимал, что за преступления отца, брата не могут отвечать их мать, сестры, дети, но он всегда оставался с а м и м с о б о й.

О деятельности легионов Сталину доносили по линии политорганов и НКВД. Он понимал, что какой-то реальной силы эти формирования представлять не могут, но политический резонанс, основанный на использовании радио, листовок, произвести могут. Устные указания, как и резолюции на документах, с которыми мы имели возможность ознакомиться, свидетельствуют о жестком, непримиримом отношении Сталина к изменникам Родины. В общей сложности их было не так уж мало, и среди них люди разных национальностей.

В документах Сталина и Берии находится ряд донесений о предательских, бандитских действиях отдельных групп отщепенцев, которые пошли на услужение к гитлеровцам. Вот, например, Кобулов докладывает Берии: «О ходе борьбы с бандитизмом в районах Северного Кавказа. За истекшую неделю (с 2-го по 3 мая) имело место 6 бандпроявлений. Убито 8 бандитов, в т. ч. два германских парашютиста. Арестовано 46 бандитов. Изъято оружия 37 единиц. Наши потери 8 человек. Убит главарь Каякентской банды Ильясов Нажмуддин, ликвидирована банда Темирканова С. Х.» Или вот еще донесение, где в верхнем углу стоит помета наркома внутренних дел: «Сообщение послано тов. Сталину, Молотову, Антонову». Приведем его полностью:

«20 июля 1944 года. Л. Берия.

12 июля в результате прочески лесного массива в р-не селения Казбурун Кабардинской АССР задержан немецкий парашютист Фадзаев Х. Х. (бывший член ВЛКСМ, осетин, работал полицаем в с. Урух, в 1943 году вступил в немецкую армию. Имеет звание обер-фельдфебеля немецкой армии). Задержано еще несколько парашютистов. Из 8 парашютистов продолжается розыск еще 2-х человек. Остальные убиты или задержаны.

Кобулов».

Подобные сообщения поступали из Крыма и других мест. Вместо того чтобы продолжать вести борьбу с бандитами, прислужниками оккупантов, конкретными преступниками, Сталин и Берия на основании предложений и планов, разработанных Серовым, Кобуловым, Момуловым, Цанава, другими заплечных дел мастерами, принимают решения о выселении целых народов с Северного Кавказа, из Калмыкии, Крыма на восток. Документально установлено, что в то время там было немало перевертышей. Но сколько же было героев, славных сынов этих народов и всего нашего Отечества! Например, только среди чеченцев и ингушей к концу войны стало 36 Героев Советского Союза.

На протяжении 1944 года, когда война своими кровавыми дорогами приближалась к победному завершению, на основании решений Сталина, закрепленных соответствующими Указами, были выселены сотни тысяч чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, калмыков, турок-месхетинцев, людей других национальностей. (Пожалуй, одно из немногих исследований этого трагического периода на основании документов партийных и государственных архивов осуществлено профессором Х.-М. Ибрагимбейли.)

А в то время Сталину шли доклады подобного рода:

«Государственный Комитет обороны.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета и Постановлением СНК СССР от 28 декабря 1943 года, НКВД СССР осуществлена операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы... Всего было погружено в эшелоны 26 359 семей, или 93 139 человек переселенцев, которые отправлены к местам расселения в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области...

Л. Берия».

Сталин за этими «операциями» следил так же пристально, как и за фронтовыми. Но здесь сопротивления не было, ведь выселяли главным образом стариков, женщин, детей. Даже в докладах Берии сообщается: «При проведении операции по выселению на месте и в пути происшествий не было». Трагическая подавленность, духовное потрясение сотен тысяч людей... Но они не были ведо-

мы «отцу народов», выступавшему «по совместительству» и как их бесчувственный, жестокий диктатор. В подобных случаях он был щедр:

— Представьте к наградам лиц, образцово исполнивших приказ о выселении!

Распоряжения его выполнялись быстро:

«Государственный Комитет обороны.

Товарищу Сталину И. В.

В соответствии с Вашим указанием представляю проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями наиболее отличившихся (в чем? Разрядка наша.— **Д. В.**) участников операции по выселению чеченцев и ингушей... Принимало участие 19 тысяч работников НКВД, НКГБ и «Смерш» и до 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД, значительная часть которых участвовала в выселении карачаевцев и калмыков и, кроме того, будет участвовать в предстоящей операции по выселению балкарцев. В результате трех операций выселено в восточные районы СССР 650 тысяч чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев».

Печальные страницы... Единовластие, выраженное в жестоком самоуправстве, обращенное к целым народам. Подумать только: Сталин дошел до того, что фактически предъявлял обвинение в «государственной измене» целым народам! Более ста тысяч бойцов участвуют в высылке стариков, женщин и детей! Неудивительно, что на фронтах, часто в самом горячем месте, в критический момент не хватало «лишнего» полка или батальона. А здесь более ста тысяч! У единодержца уже давно не было никаких нравственных тормозов. Сталин, возомнивший себя единственным «хранителем» и «толкователем» Ленина, не захотел вспомнить его мудрого предостережения: ничто так не мешает интернациональной сплоченности, «как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства». Жертвами сталинизма стали все народы нашего великого Союза: русские, украинцы, белорусы, литовцы, казахи, евреи, кабардинцы, десятки других народностей. Сталин «завязал» немало трагических узлов в нашей истории, в том числе и национальных, которые мы обязаны мудро и спокойно развязать сегодня. При этом не должна — ни в коем случае! — пострадать наша интернациональная солидарность, источник нашей силы и такого желанного и пока далекого процветания.

Мы сделали большое отступление, чтобы показать: «экзекуция» целых народов не имела никакого отношения к единичным фактам предательства Родины и невыполнения воинского долга отдельными лицами и целыми группами советских граждан разных национальностей. Если бы Сталин следовал своей преступной логике всегда, то после образования РОА Власова ему надо было бы ссылать и русский, и украинский, и все другие народы... В неисполнимости этого, между прочим, видна вся абсурдная преступность сталинских решений.

О Власове на Западе написано немало книг. Примером такого исследования может служить работа Иоахима Гофмана «История власовской армии». В ней, в частности, утверждается — якобы на основе власовских архивов,— что к маю 1943 года в распоряжении германского вермахта имелось 90 русских батальонов и почти столько же национальных легионов. Эти цифры сильно завышены, равно как и все попытки представить это «движение» как «альтернативу большевизму» выглядят крайне неубедительно. По существу, формирования Власова вбирали в себя главным образом не «идейных борцов», а уголовников, националистов, а также слабых, безвольных людей, захваченных единственной «идеей» — выжить. Попытка Власова опереться на белогвардейскую эмиграцию (атамана П. Н. Краснова, генерала А. Г. Шкуро, генерала Султан-Гирей Клуча и других) свидетельствовала о полной идейной нищете движения. К слову сказать, сразу после окончания войны союзники в ряде городов Германии активно передавали разоруженные власовские подразделения советским властям.

По указанию Сталина проверка освобожденных территорий, охрана тылов Красной Армии были возложены на наркомат внутренних дел. Регулярно Берия докладывал самому о проведенных мероприятиях. Дело было поставлено с размахом. Вот один из документов, в котором Берия информирует Верховного Главнокомандующего о состоянии дел в этой области:

«За 1943 год войсками НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии в процессе очистки территории, освобожденной от противника, и при несении службы по охране тыла фронтов задержаны для проверки 931 549 человек. Из них военнослужащих 582 515 человек, гражданских лиц — 349 034 человека.

Из общего количества задержанных разоблачены и арестованы 80 296 человек (агентура, изменники, предатели, каратели, дезертиры, мародеры и прочий преступный элемент)».

Чтобы пресечь и осудить само явление измены, в феврале 1943 года был проведен ряд процессов, где были заочно осуждены и приговорены к расстрелу бывшие генералы Красной Армии А. А. Власов, В. Ф. Малышкин и некоторые другие предатели, активно сотрудничавшие с фашистами. Но и здесь не обошлось без ошибок. Директива Ставки № 30126 от 12 мая 1943 года, подписанная Сталиным, определяла, что, «как теперь достоверно установлено, генерал-лейтенант Качалов В. Я., генерал-лейтенант Власов А. А., генерал-майор Понеделин П. Г., генерал-майор Малышкин В. Ф. изменили Родине, перебежали на сторону противника и в настоящее время работают с немцами против нашей Родины». В компанию к предателям Власову и Малышкину «пристегнули» и патриотов Качалова и Понеделина. Лишь в 1956 году их честные имена были восстановлены.

Берия, его службы не только активизировали проверку и выявление сомнительных элементов по эту сторону линии фронта, но и пытались выяснить обстановку в формированиях, созданных немцами из советских военнопленных. Однажды Берия, который докладывал о своих делах обычно один на один со Сталиным или только в присутствии Молотова, показал Верховному допрос генерал-майора Красной Армии Будыхо А. Е., вырвавшегося из немецкого лагеря и перешедшего к партизанам. Будыхо был в Ораниенбургском лагере, где находились преимущественно пленные командиры. Он дал очень многим подробные характеристики, рассказал о приезде в лагерь личного представителя Власова генерала Г. Н. Жиленкова, других функционеров РОА. К слову сказать, этот предатель до войны работал секретарем одного из райкомов партии Москвы, быстро выдвинувшись в результате репрессивного вала, прокатившегося по партийным работникам. Будучи членом Военного совета 32-й армии Западного фронта, Жиленков оказался в окружении, затем в плену. Беспринципность и приспособленчество человека, случайно оказавшегося в партийных вожаках, быстро привели его в стан коллаборационистов. Таким же оказался и другой приближенный Власова, бывший генерал-майор В. Ф. Малышкин, начальник штаба 19-й армии. Будучи репрессированным в 1938 году, в начале войны он был освобожден, но в конце концов оказался у Власова. Трудно сказать, руководила ли этим человеком «обида» или его предательские намерения вытекали из его убеждений. Во всяком случае, когда Берия докладывал по делам ряда осужденных и освобожденных позднее генералов, Сталин бросил:

— Разберитесь, кто ходатайствовал за Малышкина...

Сталин не стал дальше читать материалы допроса Будыхо: ему было жалко времени на знакомство, как он полагал, с деяниями недобитков, которых он не выявил в 1937—1939 годах. В конце концов, думал Сталин, все эти власовы ничего изменить не могут. Самые страшные месяцы 1941 года страна выстояла. В истории трудно найти пример более катастрофического начала войны, чем войны Великой Отечественной. Все крупнейшие военные и политические авторитеты считали, что Россия продержится максимум три месяца. Советский народ опроверг эти прогнозы. Правда, потом сам факт невероятного упорства и стойкости стали приписывать лишь «мудрому руководству» Сталина, хотя он, повторяем, как раз более всего виновен в таком катастрофическом начале.

(Продолжение следует.)

Константин ВАНШЕНКИН

Из лирики

В ту пору

Еще поэты, не жалея сил,
Писали о космическом полете.
А «Новый мир» в ту пору выходил
Пока еще и в твердом переплете.

Еще казалась крепкою казна,
Еще с войны побаливали раны.
Еще открыты были допоздна
Шашлычные, кафе и рестораны.

Пожалуйста, возьми и посети!
Но деньги в пальцах редко шелестели.
Менялся курс: один не к десяти,
А к тридцати, наверное, на деле.

Но жизнь сводила все еще с ума,
И листопад кружился по спирали,
И звонкою была еще зима,
И снег еще исправно убирали.

Канал

Горит густого вечера пожар.
Стою у борта. Тесные, как лузы,
В которые едва проходит шар,
Трещат давно построенные шлюзы.

Могучий век, ты славил и пинал,
Уничтожал и льстил — гордились чтобы.
...Так в наши дни нам говорит канал,
Сработанный еще рабами Кобы.

Кино

Первая серия — Ягода,
Вторая серия — Ежов.
И тот, и тот — враги народа,
Один кровоточащий шов.

Третья серия —
Лаврентий Берия.

Но и тут Генсек —
Главный дровосек.

Нет, не на лесоповале,
Не в суде и не в подвале,
А в кремлевской тишине
Сам с собой наедине.

Крановщик

Со своим громоздким краном
По столице кочевал,
Памятники корчевал,
Что поставлены тиранам,
Бил по стенам, как тараном:
Помешала — наповал.
И над каждым котлованом
Рос, на смену деревянным,
Блочных стен девятый вал.

По счастью

От порчи тогдашней людской,
От скрытого сглазу
Изгой со своей мелюзгой
Был выселен сразу.

Казенным считалось жилье, —
Не числясь в квартире,
Какие-то люди в нее
Корыта вкатили.

В трехдневный
безжалостный срок,
Как сняли с работы,
Убрался с семейством сурок
Для новой заботы.

Прошли сквозь
бесчисленность бед,
Сквозь это горнило,
Где если случался обед,
То лишь без гарнира.

Но в том не оставшись дому, —
Не ведая цели,
Уехали — и потому,
По счастью, не сели.

Огромный невиданный трал,
Он снова и снова
Не только с поверхности брал,
Треща от улова.

Но были прорехи в сети,
Сквозь них понемножку
На этом путинном пути
Теряли рыбешку.

Вместо заключения

Посмотрел: последняя глава
Называлась — «Вместо заключения»,
И, сдержав волнение едва,
Рассмеялся с чувством облегчения.

Значит, ссылка! Снег в Сибири лег.
Ничего, бывает посуровее...
— Слушай, это просто эпилог,
Это к длинной книге послесловие.

* * *

Больной безмерно утомил,
Что вдруг случается с больными,
Когда не остается сил
Их видеть и возиться с ними.

Но в воскресенье поутру
Ей показалось это дико.
Шумели ветви на ветру,
А на душе все было тихо.

И раздражение больным
Исчезло. Возвратилась жалость.
Теплом повеяло былым,
Но безотчетно сердце сжалось.

* * *

«Подай еще газку», —
Сказал себе и вдруг
Почувствовал тоску,
Руль выпустил из рук.

Пошел волчком вперед.
Подумал: «Поделом!»
Закрытый поворот.
Открытый перелом.

И в отраженье глаз —
Чужой резины след...
Огромный встречный МАЗ.
Зеленый вечный свет.

* * *

Жизнь младенчески любя,
Все мечтал чечетку сбацать.
Не печатали тебя
Лет пятнадцать или двадцать.

Серым волком по лесам
Слыл — достаточно похоже.
А сказать точнее: сам
Не впечатывался тоже.

Но теперь ты на коне,
Слава богу, все в порядке.
Проступают как в окне
Твои прежние повадки.

И когда в твоей судьбе
Одобренья слышен говор,
Проявляется в тебе
Давний юношеский гонор.

Даже в зрелые лета,
Проплывающие мимо,
Глупость нежная — и та,
Видимо, неистребима.

* * *

В том пасмурном марте
Не знал среди ночи и дня
О близком инфаркте,
Уже поджидавшем меня.

О подлой засаде,
Ударившей прямо в упор.
О первой досаде,
Оставшейся, будто укор.

...Все глухо и сонно,
Пока пребывает в тиши
Сейсмичная зона
Всегда напряженной души.

* * *

Я приобщился к сонму стариков,
В их гавани ошвартовался тоже.
Я старым стал. Твардовский, Смеляков,
Светлов, Бернес — и те меня моложе.

Мои друзья безжалостно стары,
Немало повидавшие мужчины.
Рисунком, отпечатанным с коры,
Темнеют их глубокие морщины.

Жизнь далеко нас нынче завлекла
И все еще, посмеиваясь, длится.
Неужто правы эти зеркала —
Ровесников немыслимые лица?

* * *

С утра гусей пролетных клич
Над голубой землей расцветшей.
Рыжеет сквозь листву кирпич
Давно отстроенных коттеджей.

Березовый вскипает сок,
И хочется, душе на радость,
Прожить еще какой-то срок,
Покуда никому не в тягость.

* * *

В Коктебеле на пляже мужском
Разговоры велись без поправок.
А волна добиралась ползком
До беспечно оставленных плавок.

Там Зенкевич, Каверин, и Крон,
И Ямпольский, и тот же Иванов
В жизнь смотрели с различных сторон
Со своих деревянных диванов —

Топчанов. А соленая пыль
Не спеша оседала на коже.
Моисеев, Герасимов, Миль,
Разумеется, были там тоже.

Там все было тогда без прикрас,
И я вроде мальчишек сопливых
Слушал новый подробный рассказ
Между двух краткосрочных заплывов.

Нынче что там? Наверное, рок,
Что ликует наивно и грубо,
Заглушая давнишний урок —
Будни мудрого голого клуба.

...Я задремывал, и в полусне,
Мне сознанье слегка будоража,
Оставалась чуть-чуть в стороне
Дымка близкого женского пляжа.

Николай ЕВДОКИМОВ

Собиратель снов

ПОВЕСТЬ

Всю жизнь я прожил в одной и той же коммунальной квартире и всю жизнь, около сорока лет, протрубил в районной библиотеке. Размещалась она в старинном особняке. Однако ныне нет ни особняка, ни библиотеки — пустырь: наши московские градостроители хотели что-то грандиозное воздвигнуть, но раздумали, наверное, а старинный особняк смели с лица земли.

Особняк был цел и крепок, хотя отроду ему было почти сто лет и числился он в памятниках архитектуры конца XIX века. Особняк снесли, а вот дом, в котором я вырос и жизнь доживаю, построенный в начале тридцатых годов, все стоит, разваливается от ветхости, трещит по швам, штукатурка сыплется, стены и потолки слоятся от влаги, трубы текут, лопаются, поют на все голоса, но он функционирует, ждет капитального ремонта или стихийного бедствия, которое превратит его в развалины и погребет под этими развалинами нас, жильцов. Просить, жаловаться мы давно перестали: измучились ходить и писать по разным инстанциям; начальники сочувствуют, обещают, на том дело и кончается, дом наш рассыпается, и мы вместе с ним. Вот его бы снесли, но его тщательно берегут, а библиотеку смели одним махом.

Бог мой, за сорок-то лет сколько я перевидал начальников самых разных рангов — несть им числа, менялись они один за другим, оставляя за собой бессмертные дела и идеи, и все почему-то вмешивались в нашу библиотечную жизнь. Голова пухла от указаний, кому какие книги выдавать, — какие детям, какие взрослым, какие вообще не выдавать, а какие придерживать.

Ныне я одинокий пенсионер с больной печенью и прогрессирующей стенокардией. Дел никаких, зато времени много. Прав был Сенека в своих письмах: «Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше». Это свое пустое, тоскливое время я заполняю — знаете чем? Коллекционирую сны.

Да, записываю свои сновидения. Бессмысленное занятие? Нет. Поучительное скорее, ибо в снах узнаешь так много о жизни, что не узнаешь и наяву. Порою кажется, что сон — реальность, а реальность — сон.

Недавно очень обрадовался, вычитав у Толстого: «Во сне часто видишь такие вещи, которые, когда их наяву распределяешь во времени, кажутся нелепыми, но то, что о себе узнаешь во сне, зато гораздо правдивее, чем то, что о себе думаешь наяву... Сновидения — ведь это моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени, видим сущность своей жизни — степень своего роста». А не то же ли самое говорил древнеиндийский философ: «Когда человек спит, он достигает сущего, уходит в себя».

Записывать сны я начал давно, еще когда работал в библиотеке.

А заболел вскоре после того, как вышел на пенсию. Когда началась болезнь и когда стала уходить она из меня — я знаю определенно, знаю день и, может быть, даже час.

Со второго этажа из окна нашей комнаты многое видно и слышно. Метрах в двухстах от нас в старом деревянном доме размещался молочный магазин. Дом развалюха, но магазин хороший: все там было всегда — молоко, сметана, сыр, колбаса, — но несколько лет назад снесли развалюху, не стало магазина. Был магазин — шумели очереди, грохотали машины, привозившие продукты, переругивались грузчики, это раздражало, но когда закрылся магазин и стало малолюдно, тихо, вдруг обнаружилось, что не хватает чего-то. Магазин закрыли, а дом с заколоченными окнами еще стоял. На двери до тех пор, пока не приехал бульдозер и не снес его, превратив в груду мусора и камней, висел большой лист бумаги, на котором торопливо было выведено карандашом: «Дорогие покупатели, прощайте, закрываемся навсегда, всего вам доброго, благодарим за все».

Эта записка, такая неожиданная в нашей суетливой, отчужденной жизни, была не только трогательна, но и веяло от нее давним традиционным московским благожелательным добрососедством. А ведь все тут случалось: и недоразумения с кассирами, и раздражительность продавцов, и брань покупателей, многое было, но сразу забылось от этого прощального послания. Осталось душевное тепло, благодарность и, я бы сказал, сентиментальное ощущение потери.

Ведь действительно все это было когда-то в давние времена — отзывчивость москвичей, внимание друг к другу и даже при конфликтах в коммунальных квартирах, несмотря ни на что, ощущение общности, почти семейственности жителей дома, двора, улыбчивость и доброжелательность знакомых и незнакомых.

Было, но постепенно ушло куда-то, хотя старого москвича все-таки всегда угадаешь по его предупредительности, спокойному тону, милому исчезающему «аканью» и порою едва заметному в произношении «л» почти как мягкое «в», так же как в исчезающих «простите», «не будете ли так любезны», «мое почтение», «разрешите, уважаемый», «весьма вам признателен», «премного благодарен», «не стоит благодарности», «милости прошу», произносимых с вежливой улыбкой, — ты случайно толкнул человека: «Ах, извините», а он тебе в ответ не «глаза протри, куда прешь», а «ничего, ничего, не беспокойтесь» таким тоном, будто это он виноват, а не ты.

Да было, было, и не в такие уж сказочные времена.

Бульдозер снес бывший магазин, мусор вывезли, неделю привозили свежую землю, которую по вечерам растаскивали женщины для своих комнатных цветников, затем посадили кустарник, разбили клумбы — и появился у нас перед окном уютный зеленый островок с цветущими ноготками, шиповником, сиренью. Мы с Наденькой ходили туда не только выгуливать Цицерона, но и посидеть на скамеечке, подышать свежестью зеленого воздуха, кормили крошками хлеба ненасытных воробьев и жиреющих, урчащих голубей.

Однако и двух лет не прошло, как в один день этот уютный оазис был выкорчеван, на образовавшийся пустырь завезены железобетонные плиты и... А никакого «и» дальше не последовало: плиты лежали долго — лето, зиму, весну, — а потом их снова увезли и снова стали рыхлить землю, сажать кустарник, разбивать цветники.

Но на этом не кончилось. Наша жизнь удивительна в своей непредсказуемости и в созидательном энтузиазме. Вольтер сказал: «Самая редкая вещь — это соединение разума с энтузиазмом». Через некоторое время кустарник и молодые цветы снова выкорчевали, теперь уже надолго. Замусоренный, пыльный пустырь торчал у нас перед глазами много месяцев.

А однажды снова завезли сюда железобетонные плиты, потарахтел экскаватор, роя ковшом ставшую каменной землю, вырыл траншею метра в три-четыре длиной и убрался восвояси. И снова тишина, дожди заливали эту траншею, грязь сохла, превращалась в пыль, которую носил по улице ветер.

Как-то рано утром Наденька, выглянув в окно, крикнула:

— Витя, взгляни, что делается!

Я еще не вставал, еще грел старые кости в постели.

— Господи, что там такое?

Вскочил и увидел: на пустыре с двух грузовиков пятеро добрых молодцев сгружали кирпич. Новенький, белый, чистый. «Сгружали» — это, очевидно, в их понимании. Трое стояли в кузове и бросали ровные, аккуратные глиняные бруски вниз, на землю, где двое других молодцев пыта-

лись складывать их в штабель. Падая, кирпичи стукались друг о друга, и почти ни один не оставался целым: то кусок отваливался, то разлетался мелкими осколками, то ломался пополам. Пиршество разрушения совершалось отважно, на глазах всего честного народа. Один грузовик уехал, приехал другой, и снова веселые парни, не торопясь, перекуривая, смеясь, матерясь, кололи на части розоватые в своей белизне кирпичи.

Прохожие останавливались, что-то говорили этим мастерам, пытаясь, видимо, образумить, но те продолжали свою работу.

Еще приехал грузовик, уже выросла беспорядочная куча полубитого кирпича. Я заорал из окна:

— Что делаете, изверги? — Но меня никто не услышал или не захотел услышать.

— Успокойся! — сказала Наденька. — Разве их уймешь?

Но я уже завелся, дрожал весь, к голове кровь прилила. Кое-как оделся и побежал на улицу.

— Что вы делаете, ребята? — взывал я, суетясь возле грузовика.

— Уйди, дед, — сказал самый молодой, — тебе что, больше всех надо?

— Посторонись, отец, — крикнул другой, — пришибем невзначай...

Я вернулся домой — ну что мне дались эти кирпичи, сам не понимал, отчего дрожу, — лихорадочно стал листать телефонный справочник (у меня целая коллекция этих справочников за многие годы), нашел номер районного отдела народного контроля.

Долго никто не отвечал. Наконец женский голос сказал:

— Ну, слушаю.

— Это народный контроль?

— Что надо-то, говорите.

Почти заикаясь от возбуждения, я рассказал, что происходит возле нашего дома.

— А мы при чем? — спросила женщина.

— А кто же «при чем»?

— Ну, запишу, — сказала она. — Вы кто?

— Житель, пенсионер, какое это имеет значение!

— Значит, имеет. Имя у вас есть, фамилия, адрес?

— Господи, зачем? Меры надо принимать!

— Ну и обращайтесь к господу богу. А я должна записать, от кого сигнал. Не ясно разве? — уже сердясь, воскликнула женщина.

— Эх! — Я повесил трубку.

Нашел номер телефона райкома партии. Попал в приемную первого секретаря.

Очень вежливый, очень спокойный отозвался мужской голос, выслушал, сказал:

— Спасибо, примем меры сейчас же, благодарю вас.

Благодарность я получил, а какие меры были приняты, не знаю, потому что грузовики подъезжали и все продолжалось по-прежнему.

Я закрыл окно, чтобы не слышать стона бьющихся кирпичей, и лег на диван. Сердце ломило, голова гудела, руки дрожали, бог мой, ну действительно, какое мое собачье дело, только взвинтил себя и вот лежу, готовый отдать концы. Наденька накапала мне в рюмку валокордина, я выпил, но и это не помогло, лежал с щемящей болью в груди до вечера.

Теперь я точно знаю, что с того дня стал помаленьку рассыпаться, мучаясь странной болезнью, — опух, растолстел, задыхался, шею будто перехватило обручем, еле двигался, хотелось постоянно спать. Что за болезнь такая, наш районный врач определить не мог. Положили в больницу, пролежал больше месяца в палате, в коридоре, кочевал туда-сюда из-за тесноты, лучше не стало, и в одно прекрасное утро я осознал, что борюсь с тем, что неотвратимо; жить осталось недолго, скоро отправлюсь в дальнюю дорогу. Как сказано у Екклезиаста: «...и счел я блаженными всех мертвых, которые уже скончались, более, чем живых, которые живут доселе...» Смирился с этой мыслью и выпросился из больницы домой. Выписали.

А было это накануне Девятого мая, накануне Дня Победы. Я плелся домой по ждущим праздника наряженным улицам, радио играло торжественные марши, люди шли, звеня медалями, блестя орденами. А я...

Признаюсь, я не то чтобы не любил, но, как бы сказать? — ну, вроде стеснялся этого праздника. Я 9 Мая, скажу честно, всегда пытался отсиживаться дома, делая вид, что приболел ногами, или сердцем, или еще чем-нибудь, лишь бы не выходить на улицу. Однако Наденька все же вытаскивала меня, и я шел с нею, испытывая душевное неудобство, неловкость, ощущение своей неполноценности, что ли. А все оттого, что на груди у меня ничего не было — ни медальки, ни орденочка. Шел, как голый.

А ведь я от войны не прятался. Самых тяжких шесть месяцев сорок первого года пробыл на фронте. И вшей кормил, и медвежьей болезнью болел, и от немца драпал. Из окружения выбирался, тонул в осенней реке, красной от нашей и немецкой крови, шинель набухла, сапоги стопудовые ко дну тянут, ору что-то, рядом тоже кто-то орет предсмертным криком, вкус этой кровавой речной воды, то ли соленой, то ли кислой, до сих пор во рту стоит. И сейчас, как увижу розовый или красный напиток, тошнота подступает к горлу.

И в атаку ходил. Вот что должно сниться. Не снится, иногда будто наяву видится. В такие моменты дрожь по телу и зуб на зуб не попадает. Как сделать первый шаг, как выскочить из окопа, из этого хрупкого прибежища? Нет сил, ну нет, и не страх даже держит, а ноги не двигаются, словно парализовало их. Кто-то выпрыгнул, не помню кто, не видел кто, в глазах туман, подал мне руку, я схватил ее, и так, держась друг за друга, понеслись мы куда-то вперед, снаряд рвануло, мы упали, земля сыплется, осколки свистят, лицо залепило чем-то мокрым, клейким, надо скорее дальше бежать, но опять нет сил встать, но и лежать нельзя, бежать надо, спасение в беге, только в беге вперед, теперь уже я вскочил, держа товарища за руку, и бегу, бегу, бегу и вдруг вижу: его-то нет, нет его, а держу я его еще живую руку, ее пальцы вцепились в мои пальцы... с головы до ног я в его крови...

Может, этого не было? Может, это один из моих снов?

Наденька не одобрила моего поступка — зачем выписался из больницы раньше времени, а вот Цицерон от радости чуть не сбил меня с ног, да попугайчики залопотали что-то в своей клетке. Детей у нас с Наденькой не было, а была собака и два попугайчика-неразлучника, Тяп и Ляп, которые и скрашивали наше одиночество.

Теперь я подолгу сидел у открытого окна, смотрел на бывший пустырь, заваленный кирпичом и железобетонными плитами, для чего — непонятно, ибо никакой деятельности тут не происходило. Да так, между прочим, и не произошло: кирпичи со временем снова побросали в грузовики и увезли, а потом и плиты увезли. И снова на пустыре мусорная свалка ящиков, коробок из соседних магазинов и учреждений.

Я сижу у окна, а внизу подо мной, у подъезда на скамеечке, происходит своя быстроменяющаяся жизнь, кипят свои страсти, которым я невольный свидетель, людей не вижу, а разговоры слышу.

— Чистокровно тебе говорю, хочешь верь, хочешь нет, твое натуральное дело, — твердит кому-то мужской хриплый голос. — Меня не бойся, бойся маленьких, несовершеннолетних и тех, кто не допивает, у них ум за разумом, уж я знаю, я в этом деле копенгаген. Понял?

— А у нас в тюряге, знаешь, какой плакат висел? — вторит ему другой, молодой голос. — Агитационный. Погоди, дай припомнить. Слушай, декламирую. — И он нараспев проговорил: — «Пьяница в быту, что трус в бою, они позорят Родину свою». Во, додумались в камере повесить.

— А что? Стих. Я стихи обожаю. «Мы с товарищем вдвоем оба водочку не пьем, попадет бутылка в руки, пробку с горлом оторвем». Ну, давай дерябнем — и привет Петру Петровичу...

— Кто это?

— А хрен его знает. Ну, поехали...

Через некоторое время на смену им — женские голоса.

— Мария Петровна, вы не согласны? — спрашивает настойчивый, напористый голос, слегка шепелявя. — Разве я не заслужила?

— Конечно, Тамара Сергеевна, кто же, если не вы, такая заслу-

женная активистка и вообще,— отвечает заискивающе другой голос, вроде бы даже робея, словно бы изображая почтительность.

— У меня мама умерла экспромтом, и я не успела ничего сделать, сожгли ее в крематории, но уж для себя-то я добьюсь, потому что заслужила, буду лежать обязательно на Новодевичьем, туда экскурсии ходят.

— Конечно, у вас право, Тамара Сергеевна.

— Заранее не побеспокоишься, сунут куда-нибудь, а я уже и в дирекции заявила, и в райкоме, я с них добьюсь письменного обещания...

— А как же иначе, пусть письменно обещают, как же иначе...,— еще более робким, почтительным голосом согласилась другая женщина.

Они ушли, их сменили через некоторое время снова мужские голоса.

— Я никак не могу им вдолбить,— говорил один возбужденно,— ведь у нас на ВЦ сейчас такие застарелые методы работы, как во времена Минск-32 и М-220. Разве можно так работать?

— Безусловно, использование СВМ неизбежно,— сказал другой.

— Ты прав, но дело в том еще, что СВМ начинает рассматриваться как основная система... А вообще неразбериха какая-то. И при этом, объясни мне, пожалуйста, почему наше объединение теперь будет называться экспериментальным? В чем эксперимент?

Его собеседник засмеялся:

— Ну, что ты! Детский вопрос. В какой стране мы живем? Мы живем в стране экспериментов... Экспериментальная спичечная фабрика, сахарный завод, птицефабрика... В семнадцатом отдали в порядке эксперимента, наверное, землю крестьянам, а в конце двадцатых тоже в порядке эксперимента стали отбирать, создавать колхозы. Колхозы — тоже великий эксперимент... Ай, что тут толковать: всю дорогу эксперименты... Дай бог, чтобы удался последний эксперимент, с перестройкой, иначе... а иначе буль-буль будет, утонем.

Потом снова их сменили женские голоса.

— Ах, я терпеть не могу этих жен военных, каждая еще недавно коров доила, а теперь строит из себя канделябру.

— Чегой-то вы навалились на военных жен? Может, вам завидна их судьба?

— Я сама из их среды, потому и говорю с таким знанием об их некультурности. Военные — люди занятые, им надо укреплять обороноспособность и некогда невест выбирать, вот и хватают абы кого, первопопавшую Дуньку деревенскую...

Они ушли, их сменили дети, загадывали друг другу загадки, которые и я пытался вместе с ними отгадывать.

Вот так каждый день и текла моя жизнь возле иной, разнообразной жизни. Сидел у окна, изредка выходил прогуляться на опухающих ногах, чтобы вывести Цицерона, в булочную сходить, часто повторяя почему-то стихи Такубоку, они привязались ко мне, как печальная мелодия:

Не знаю отчего,
Мне кажется, что в голове моей
Крутой обрыв,
И каждый, каждый день
Беззвучно осыпается земля.

Мне никогда не скучно было жить, столько лет проходил по земле, и хотя новый день всегда был почти повторением старого по своим однообразным событиям, я не устал от жизни и не томился одиночеством или тоской. Жить интересно, и нужно, стоит жить даже тогда, когда на тебя обрушивается горе.

Теперь я, просыпаясь, дольше обычного лежал по утрам в теплой постели. Затем спускал на пол левую ногу, ту, раненую, которая скрипела в суставах, а потом уже другую, правую, нескрипучую, ничем не примечательную ногу.

Левая нога хрустела смешно, в каждом суставе по-своему. Старая кровать скрипела при каждом моем движении, и нога не отставала, вторила ей, будто вежливо они желали друг другу доброго утра. Или ворчали сердито, кто их знает? У них свой разговор, свои взаимоотношения. Правая нога не скрипела, не хрустела, смазка не высохла, еще не очень

старой была эта нога и за день не уставала. Левая, раненая, к вечеру совсем рассыхалась, хрупала, скрипела, хрустела, а правая чапала без особой усталости — топ себе да топ, как молодая нога молодого юноши.

Так, со скрипучей ногой, и выходил я в общественный коридор квартиры, но тут уже скрипа не было слышно, потому что скрипели утренние половицы под ногами соседей. «Здрасте», «Доброе утро», «Привет», «Чао», «Как спалось?», «Как здоровьице?».

Прошел месяц, другой, осень наступила, перед окном все тот же невеселый пейзаж, в душе все то же ощущение смирения перед тем, что меня ждет. Зима пришла, Наденька заклеила щели в окнах, шум улицы притих, снег завалил двор, приближался Новый год.

Сны не очень меня одолевали, если и снилось что, то старые, привычные сны — книги, горы книг, штабеля книг, среди которых я хожу, брожу, как в густом лесу.

Однако хорошо помню, как в последнее предновогоднее воскресенье я проснулся среди ночи в страхе и никак не мог понять, где я, и поверить, что пережил сейчас всего-навсего сновидение.

Приснилось, что иду в суд и вывеску вижу: «Народный суд» на грязном, старом трехэтажном здании. Вхожу будто в сарай, холодно, замусорено, полутемно от немытых окон. Вошел и остановился — туда ли попал? — ведь суд всегда казался мне пристанищем закона и помещаться, значит, должен чуть ли не во дворце, где все должно наводить трепет, вызывать уважение, веру в справедливость. А это сарай.

Я повернулся, чтобы уйти, но услышал:

— Гражданин подсудимый, вернитесь!

И оказался я в тесной комнатушке, не более шести метров, где сидели какие-то люди, то ли зрители, то ли свидетели, в пальто, ежась от холода. А на возвышении в высоком кресле — судья. Ехидная девица с надменным взглядом и две народные заседательницы, усталые тетки, одна из которых явно клевала носом.

— Как же вы, старый человек, могли совершить такое? — тоном, выражающим сокрушительное презрение ко мне, спросила судья.

Я молчал. Я знал, что ничего не совершал, но если меня в чем-то обвиняли, значит, я совершил нечто: правосудию лучше знать. Но что я совершил? Что? Я заплакал. Не знаю, от стыда или от раскаяния за то, что ничего не совершил, или, наоборот, за то, что совершил нечто. Я плакал и не мог унять слез.

— Не разыгрывайте комедию,— сказала судья.

— Какую комедию? — спросил я и вдруг увидел, что рядом с судьей, где только что была сонная заседательница, на спинке кресла сидят зелено-желтые попугайчики, водят из стороны в сторону головками.

— Ах, господи, какой же вы любопытный выдумщик! — вдруг ласково сказала судья, да и судья ли это была, словно какая-то другая женщина, лицо ее светилось добротой.— Чему вы удивляетесь? Это обыкновенные волнистые попугайчики. Я обожаю их, у меня несколько видов, мечтаю о какаду инка. Они красивы, умны, а мясо съедобно. Попугаи — прекрасные птицы, поддаются дрессировке, язык у них короткий, ноги парнопалые, приспособленные, представляете, держать пищу, они легко приручаются, едят не только растительную пищу, но и мелких животных...

— Таких, как я?

— Вот еще! Причем здесь вы? Впрочем, такие, как вы, тоже съедобны... Знаете что? Достаньте мне или какаду инка, или, что еще лучше, синеголового лори — это удивительный попугай, не сидит на ветке, как все, а висит вниз головой, потому и прозван попугаем — летучей мышью...

— Где же я вам его достану? — в отчаянии спросил я.

— Ну, как хотите,— сказала судья и спросила у народных заседателей, есть ли вопросы к подсудимому.

— Нет,— превратившись из попугая снова в сонную тетку, ответила та.

— Нет,— ответила вторая.

— Комедия ля финита,— проговорила судья и объявила перерыв. Суд удалился для вынесения приговора.

Все исчезли. Я один сидел в пустой, тесной, грязной комнате. Потом тут почему-то оказался телевизор: транслировали матч между «Спартаком» и «Торпедо». А перед телевизором очутился председатель районного суда. Он посмотрел на меня, сказал, ласково улыбнувшись:

— «Спартак» выиграет — оправдаем тебя, а проиграет...

«Спартак» проиграл.

Я в ужасе проснулся. Во дворе за окном какой-то мужик — в такую-то рань, было шесть утра, — орал:

— Вася, «Спартак» вчера продул! Три ноль!

— Ну и хрен с ним! — зло ответил из своего окна мой сосед, шофер такси Вася, Василий Игнатьевич Кулагин.

Через два дня мне снова приснился этот же сон. Не этот, правда, а похожий.

Теперь в сарае, именуемом районным судом, рядом с судьей сидел я, а на скамье подсудимых — Иван Антонов. Ваня Антонов, молодой наш сотрудник, за год до прихода к нам окончивший институт. Вежливый, старательный юноша, к которому все мы быстро прониклись симпатией за его услужливость, старательность, за знания его и любовь к книгам.

Ваня Антонов сидел на скамье подсудимых, подмигивал мне и пальцем грозил. Судья, на этот раз она не молодой была, как в прошлом сне, а желчной старухой, кривила тонкие бесцветные губы и злорадно спрашивала:

— Зачем хвостом виляете, подсудимый?

— Нет у меня хвоста и не было! — возмущался Антонов.

— А это что? Есть хвост или нет? — Она обращалась ко мне, но я, похолодев от страха, сидел, боясь взглянуть на Антонова: а вдруг в самом деле у него есть хвост?

— Ну? — спросила судья.

Я посмотрел: не было у Антонова хвоста.

— Ну? — повторила судья.

Я знал, чего она ждала от меня, и ответил, отвернувшись:

— Есть.

А когда снова посмотрел на скамью подсудимых, то увидел там не Антонова, а саму судью.

— Мяу, — сказала она, виляя длинным облезлым хвостом.

— Мяу, — уныло поддакнул я ей.

Это был сон и в то же время, увы, не сон, а трагическая действительность.

Наш любимец Ваня Антонов действительно попал под суд, а я на этом суде выступал как общественный защитник. Бедный Антонов получил три с половиной года строгого режима за то, что ударил шофера грузовика, матерно обругавшего его, Антонова, беременную жену. Подбежавшие прохожие разняли их, и хотя свидетелей причины этой драки не было, доказательством антоновского хулиганства был подбитый глаз шофера. Суд был предвзятым, я первый раз имел дело с судом и был поражен, как необъективно вела себя судья. Ей почему-то все в нем не нравилось, она даже подделала протоколы судебных заседаний, что обнаружил адвокат Антонова. Городской суд не изменил меру наказания, игнорировав замечания адвоката, что судья фальсифицировала протоколы... Вот парадокс. Антонов оберегал честь жены, разбив морду хулигану, тем самым нарушил общественный порядок и был жестоко наказан, а судья, поправ честь советского закона, не пострадала никак. Где сейчас Ваня Антонов, не знаю. Знаю только, что жена его разрешилась прежде времени мертвым ребенком.

— Мяу, — сказала судья, виляя хвостом.

— Мяу, — ответил я, соглашаясь с ней, однако на скамье подсудимых снова сидел Ваня Антонов, который жалкими глазами смотрел на меня, ища моей поддержки, но я, глядя ему в лицо, снова сказал то, что хотела судья: «Мяу» и... проснулся.

— Ты стонешь, что с тобой? — обеспокоенно спросила Наденька.

— Нет, ничего, прости. Напугал?

— Немножко, — сказала она.

Приближался новогодний праздник. Надя купила за три рубля елочку, украсила ее и комнату украсила — все, как каждый Новый год, только в этот раз мы решили не звать гостей: мне не хотелось своим похоронным видом портить людям настроение.

Дней за пять до Нового года мы с Наденькой отправились за продовольственным пайком, который, как всегда перед праздниками, продавали ветеранам войны. Идти, слава богу, недалеко, магазин располагался в соседнем доме.

Очередь была большая, бывшие солдатики и солдатки терпеливо, покорно стояли перед заветной дверью в тесное помещение «стола заказов», уже набитое людьми до отказа. Было холодно, над нашей толпой пар висел от дыхания, старые все старички да старушки стояли тихие, угрюмые, жались от мороза, кто-то попытался предаться воспоминаниям, но его не поддержали.

Два мужичка, с утра уже навеселе, прошли мимо, остановились, один спросил:

— Народ, чего дают? За чем очередь?

Другой потянул его за рукав, сказал:

— Глаза протри! Ветераны! Недобитков перед Новым годом подкармливают.

Они ушли, а мы стояли замерзшие, мрачные, недобитые на давней войне, где начиналась и прошла наша юность.

Наконец нас с Наденькой пропустили через заветные двери в магазин. Тут тесно было, душно, пахло людским спертым воздухом, смешанным с запахом продуктов. В тепле все преобразились, оживленнее стали, веселее, вежливее, общительнее, кто-то шутил, кто-то делился впечатлениями о вчерашнем телевизионном фильме, кто-то, как уж положено, критиковал американцев, заклинившихся в своем упрямстве продолжать работы над СОИ.

С улицы, минуя очередь, протиснулась дама — ей за восемьдесят было, не менее, но старухой ее не назовешь, а именно «дамой», не иначе. Руки и голова слегка тряслись от старости, но на лице — отчаянное желание загладить пудрой, кремом морщины. На высохшем теле висела ветхая, в проплешинах, когда-то называвшаяся каракулевой шуба.

Шепелявя, но поставленным, «благородным» голосом — бывшая актриса, наверное, — дама попросила продавщицу, изобразив на лице заискивающую улыбку:

— Милая, продайте мне баночку икорки. И свесьте, пожалуйста, скибочку салями.

— Не могу! — отрезала продавщица.

— Ну, пожалуйста, уважаемая.

— Господи, ну не имею же права без талона!

— Поймите, голубушка, — почти униженно сказала дама своим поставленным артистическим голосом, — мне на поминки, внук погиб в Афганистане. Отпустите, милая. Я ведь сама как ветеран: муж в сорок втором погиб. Разве за них двоих один раз в жизни не положено? Один раз!

— Откуда я знаю, что положено, что нет, мне талон надо, — сказала продавщица. — Ну, отойдите, бабуля, не травите душу.

— Я уйду, я уйду, не сердитесь, — проговорила дама и заплакала. — Бедные мои мужчины, и колбаски вам не положено мертвым. Извините, люди добрые, простите, бога ради.

Она ушла. Все стояли молча, не глядя друг на друга.

— Эх, мужики, — сказал вдруг кто-то, — думали разве в окопах-то...

— Помолчи, — ответили ему из толпы, — у государства трудности, а он, понимаешь...

— Не затыкай рот, затычка! За эту пайку воевал, что ли? «Трудности»! Всю дорогу одни трудности...

— Дурак ты бессовестный, да я таких, как ты...

— Оно и видать, чем ты занимался...

— Разговорчики! — прикрикнул кто-то властным, генеральским голосом.

Голос был жесткий, начальственный, в нем слышалась не только привычка повелевать, но и угроза.

И все притихли. Секунда страха, что ли, повисла над нами всеми. Да, всю жизнь мы словно боимся начальственного окрика, бывшие храб-

рые солдаты. И бояться-то вроде нечего, а вот будто испугались генеральского возгласа. Этот страх — не страх — порождение уже мирного времени. Мирного. Но когда и как он появился? Странное чувство, не правда ли, словно и не боимся, но и побаиваемся чего-то, будто страх въелся в нашу плоть и кровь? Так и живем с неистребимым таким ощущением...

— Господи, — сказала Наденька, когда мы вышли из магазина, — отдать надо было ей эту дурацкую икру. Что за жизнь: вечное унижение, погоня за куском хлеба, и никакого просвета.

Я промолчал, я устал, еле доплелся до дома, свалился на диван и проспал до вечера: такие прогулки по магазинным очередям уже не для меня. По-моему, Вольтер говорил, что старый поэт, старый любовник, старый министр и старая лошадь никуда не годятся. Я не поэт, не министр, не любовник, но старая лошадь — это определенно. Кляча с проплешинами, как шуба на несчастной артистке.

Наступил новогодний вечер. Надя хлопотала, загружая стол всяческой едой. Пирог, салаты, жареная курица, соленые грибы, которые сама собирала, неутомимо обшаривая по воскресеньям каждое лето подмосковные леса. Раскрыла баночку злополучной икры.

— Я транжира, извини, — сказала она, — два помидорчика с рынка принесла.

— Ну зачем такая роскошь, мамочка, никого ведь не будет.

— Ты же любишь помидоры! Новый год, стол должен ломиться...

— Спасибо, — сказал я, — конечно, деньги — голуби...

Да нет, не голуби у нас были деньги, улетали, а прилетали очень мало. Мы бедно жили. Я, например, в своей библиотеке дослужился до высшего заработка — 115 рублей. Денег не было, но на книги не жалели: колбасы не купим, а книгу обязательно купим.

Я позвал Цицерона, вышел на вечернюю заснеженную улицу. Бедный Цицерон уныло плелся за мной: с тех пор как я заболел, он тоже захирел, стал скучный и жалкий, тоскующий, терпеливо лежал в своем углу, смотрел на нас с Наденькой слезящимися глазами или, прикрыв их, вздрагивал в полусне или в воспоминаниях о своем прошлом.

Я стоял у подъезда, а вокруг было как на рождественских картинках — луна светила, снег голубел, деревья во дворе окутаны снегом. Снег падал мягкий, крупный, будто ненастоящий, как в рисованных кинофильмах. Разноцветно светились окна домов, за шторами мелькали тени. Благостно, умиротворенно, торжественно. Воздух чист, прозрачен и пахнет по-особому, как всегда пахнет под Новый год, — детством, подарками, грустной радостью, обещанием перемен. Да, все это ощущалось в запахе, а не только в обычном настрое всех чувств, ждущих обновления твоей жизни: впереди загадка, надежда, впереди тайна.

Однако у меня ничего не было впереди, я знал и давно примирился с этим. Я стоял у подъезда и ловил последние мгновения уходящего года, которые были и последними мгновениями моей жизни. Как странно, я умирал, а воздух пахнул по-новогоднему детством, грустной радостью, покоем. Синий лунный свет лежал на снегу, и от него тоже пахло вечностью.

Я прошелся по двору, туда, обратно, снова туда и устал, опухшее тело давило меня. Цицерон вяло топал рядом, оставляя на свежем снегу отпечатки лап. Мы вернулись к подъезду, он уныло повилял хвостом, лизнул мне руку, издал какой-то неясный звук, то ли заскулил, то ли завыл, или лениво, с трудом тявкнул. Я присел, погладил его лохматую умную голову и увидел светящиеся в лунном отблеске глаза, слезящиеся, скорбящие, жалеющие меня. Или мне это только казалось? Не знаю. Впрочем, нет, именно сочувствие, скорбь я увидел в преданных глазах своей собаки. Все Цицерон понимал, все на свете понимал. Он еще раз лизнул мою руку и поплелся в подъезд. А я с трудом выпрямился, задыхаясь от такого ничтожного усилия, и, уняв сердцебиение, постоял еще под вечным небом, вдыхая неповторимый аромат новогоднего воздуха.

Мне не было грустно. Благостность была во мне, удовлетворение жизнью. «Как я жил?» — этой мысли не было во мне, я не подводил итогов своим дням. Не мысль о том, как я прожил жизнь, а ощущение согласия с самим собой примиряло меня с тем, что должно скоро произойти.

Я уйду, но, право, я верил, знал, что честно жил, старался быть справедливым, не делать никому зла, не завидовать, быть полезным людям и обществу, мне не в чем было упрекнуть себя. И тогда, стоя у подъезда своего дома, за веселыми окнами которого люди ждали новогодних открытий, я, зная, что в последний раз дышу сказочным воздухом наступающего года, испытывал покой и даже удивительное, волнующее ожидание раскрытия тайны, чувство, какое каждый из нас знает и помнит по воспоминаниям детства, — скоро, через несколько часов, совсем скоро прилетит Дед Мороз, добрый Санта-Клаус, и приподнимет завесу над этой вечной новогодней загадкой...

Мы вернулись с Цицероном домой. Наденька потушила большой свет, зажгла свечи на елке, и мы сели за стол. Налили водки, чокнулись, провожая старый год, но пить я не мог. Не шло мне питье, я только пригубил, а Наденька выпила все.

— Ты поосторожней, — сказал я, — не спейся тут без меня.

— Не беспокойся, — ответила она, улыбаясь, — все будет «хоккей», как говорят мои оболтусы. А ты, дорогой, проживешь еще сто лет, да, да.

В ответ я только махнул рукой.

Мы прослушали правительственное поздравление, кремлевские куранты стали отбивать последние секунды старого года, Наденька открыла шампанское. Ловко открыла, не разлив ни капли, хотя никогда не умела да и не любила обращаться с бутылками. В ней вообще жила некоторая старомодность, классический тип стерильной учителки, классной дамы: всегда белая кофточка, строгая прическа — пучок на затылке, — прямая спина и, конечно, неприятие спиртного.

— С Новым годом! — поздравили мы друг друга, и снова я пригубил свой бокал, а она выпила до дна.

— Разбушевалась! — сказал я. — Будь же счастлива, мамочка.

— Обязательно. И ты тоже.

— Буду, — ответил я.

А потом мы просто сидели рядом в полутьме, пахло горящими свечами, жареной курицей, и молчали.

— Мамочка, — сказал я, — я благодарен тебе за все. Прости, я часто доставлял тебе огорчения, особенно по молодости, ну и потом по старости, ворчлив стал, раздражителен. Прости, девочка. Я люблю тебя, я благодарен тебе за все, я был счастлив с тобой.

Она погладила мою руку и поцеловала меня в губы. Осторожно, нежно поцеловала.

Как объяснить, что этот поцелуй растрогал меня до слез? Потому растрогал, что она всегда, всю жизнь, даже в самые нежные, интимные минуты была сдержанна, стыдлива в проявлении своих чувств и поэтому, наверное, не любила целоваться и меня отучила. Поцелуй был редкостью в нашей семье, почти наградой.

Осторожно, нежно она меня поцеловала, и я, скрывая слезы, уткнулся лицом в ее маленькие ладони.

Теперь я знаю, этим поцелуем она взяла мою болезнь: она выпила тот яд, который отравлял меня.

Знаете ли вы, что Плиний Старший в своей «Медицине» описывает различные противоядия — от яда змеи, бешеной собаки, фаланги, ехидны, морского зайца, морской ядовитой рыбы и других зверей и птиц? Но самый сильный яд, говорит он, от которого почти нет спасения, — это яд человека... Мой яд, выпитый ею, оказался смертелен для нее. Поцелуй, которым одарила меня Наденька, принес мне избавление. С этой новогодней ночи началось мое выздоровление, а ее стремительная болезнь.

Умерла Наденька в ночь на первое сентября. Первое сентября всегда было для нее большим праздником, она вся светилась от торжественной радости, когда выходила из дому и шла в школу, соскучившись за лето по своим ученикам. Хотя к концу учебного года, уже в мае, они так ей надоедали, что ее раздражение я ощущал на себе.

Ночью ей стало плохо, проснулся я от ее стона, вскочил и не узнал своей Наденьки: серое лицо с впавшими щеками, обесцвеченные глаза

и гладкий глянцевый восковой лоб, покрытый холодным потом. Дышала тяжко, слеза ползла по щеке.

— Солнышко мое, не надо, — крикнул я, — не надо! — И побежал звонить в «скорую».

Меня спрашивали, сколько лет больной, что с ней, адрес спрашивали, номер телефона, кто вызывает, а я путался, забыв вдруг и улицу, и номер дома, и номер телефона.

— Что вы там паникуете? — сказали мне в трубку. — Давайте быстрее говорите, у нас сотни вызовов, не паникуйте, приедет «скорая», ждите.

Но «скорая» не ехала.

Проснулись соседи, кто-то снова стал звонить по «03», кто-то побежал на улицу встречать машину.

Не ехала «скорая».

А по Наденькиному лицу со лба на щеки, на нос опускался глянцевый, восковой налет, она смотрела на меня потухающими глазами, у губ стояла прозрачная капелька — слеза — и не таяла, и не растекалась, будто застылый комочек льда.

«Скорая» не ехала.

— Сейчас, Наденька, сейчас, — говорил я, стоя у ее кровати на коленях, еще не понимая, что ЭТО уже свершилось.

Сосед Михаил Николаевич Лебедев совал мне рюмку с какой-то жидкостью, валерьянку, наверное, чтобы я выпил, я перехватил его руку, пытаясь влить эту жидкость в полуоткрытые Наденькины губы. Но все разлилось по ее щеке, по подбородку.

— Глотни, Наденька, глотни, — говорил я.

Наконец приехала «скорая». Лебедев побежал в прихожую открывать дверь, вошли двое, женщина и мужчина, я не видел их лиц, только белые халаты.

— Сделайте что-нибудь, доктор! — взмолился я не в силах подняться с колен. — Пожалуйста, скорее!

— А что тут можно сделать? — проговорил бесстрастно мужчина. — Труп есть труп.

— Разве так можно, — сказал Лебедев, — у вас нет других слов?

— Какие слова? Смерть есть смерть, — ответил он. — Труповозка придет часа через два. Нужно в морг, на вскрытие.

Я так и стоял на коленях, уткнув лицо в Наденькины еще теплые руки, пока не приехали санитары и не увезли ее...

Ее смерть, похороны — все произошло стремительно, пронеслось опустошающе, как ураган. Я потерял волю, ощущение реальности и словно только наблюдал, что происходит вокруг меня и во мне самом: ее сослуживцы оформили необходимые бумаги, вынесли гроб из морга и меня фактически вынесли из дома, усадили в автобус, где лежала у моих ног в красном гробу, закрытая крышкой, Наденька, и автобус помчался через весь город в крематорий. А там директор школы, еще кто-то произносили положенные речи, и Наденька уплыла куда-то вниз, под пол, в бездну. Кто-то приготовил поминальный стол, потом убрал все в комнате, и я остался один.

Должен признаться: вместе с горем я испытывал странное чувство, почти унижение. Да, унижение. Унижение от своей бедности, от нищеты своей. Конечно, какую-то часть расходов по похоронам взяла на себя школа, но все же и мне надо было достойно отправить Наденьку в неведомую дорогу. Хотелось последний ее земной путь уложить цветами, отблагодарить всех, кто участвовал в печальной этой церемонии: служителей морга, сгладивших страдальческие морщины на ее лице, шофера автобуса за его внимание и услужливость, агента похоронного бюро за хлопоты... Многое хотелось сделать, а денег так мало. Господи, жизнь прожить и, увы, не накопить хоть самую малость! Нет, никогда не испытывал я стыда, внутреннего унижения от своей бедности, а тут... Тут словно что-то кричало, вопило во мне: «Прости, Надюша! Наденька, прости» — от сознания, что она прожила свою жизнь в постоянной нужде и что я виноват в этом. Я. А кто же еще? Я должен был, обязан был обеспечить ее, зарабатывать как можно больше. Одевать, украшать ей жизнь... Стыд-то какой: в шкафу висели несколько старых платьев да перелицованная зимняя шуба. И у меня самого один костюм, он и парадный, он и будничный... Но как больше зарабатывать? Как? Не воровать же?

Наденькина смерть опустошила меня. Я сидел в осиротевшей комнате, дрожал от озноба, независимо от того, какая погода стояла на улице, и стонал в тоске. Вместе со мной стонал в своем углу Цицерон, который весь облез, будто облысел, и не ел ничего, только изредка устало лакал пустую воду. А однажды, когда я вывел его во двор, исчез. Навсегда. Ушел умирать.

Так я остался совсем один. В пустоте, потому что и попугайчики тоже вдруг захирели и умерли в один день, оба, сразу.

Но я жил.

Наденька стала приходить ко мне во сне.

Был такой сон, — я увидел себя в постели, больным. Наденька дает мне какие-то таблетки, я с отвращением глотаю их и с мольбой смотрю на дверь, где на пороге комнаты стою тоже я, но здоровый, полный сил.

— Что ты делаешь? — спрашиваю я Наденьку, тот я, что у двери.

— Умоляю тебя, — отвечает Наденька, — не мешай, уходи.

— Это ты уходи, — говорю я, тот, что у двери.

А другой я — в постели — крепко держу Надину руку, не отпускаю.

— Вот, вот, — говорит она, стараясь освободить руку, — так всю жизнь. Я ведь все знаю. Знаю, ты изменял мне, и ты, и ты, — освободив руку, она ткнула пальцем в того меня, что стоял у двери, и в того, что лежал на кровати, — да, и ты, и ты, обманывали меня, и не только меня! Сами себя обманывали и всех окружающих...

— Неправда, — сказал я, тот я, что у двери.

— Ложь! — воскликнул я на постели и, будто не изнемогал только что от болезни, стремительно сел и зло, в благородном возмущении заорал: — Никогда, слышишь, никогда я не обманывал тебя, дура, а тем более других людей. Никогда!

И проснулся.

Через несколько месяцев мне снова приснилось все это в тех же подробностях. Только самый конец, перед пробуждением, был иным.

Снова один я лежал в постели и с отвращением глотал таблетки, которые давала мне Наденька, а другой я стоял на пороге комнаты у двери. И этих нас, обоих «я» Наденька обвиняла в обмане.

— Ложь! — воскликнул я, и, как в первом сне, стремительно сел в благородном возмущении и заорал, тыкая в нее пальцем: — Кого я обманывал? Кого? А вот ты... Дурочка, нет бабы на свете, которую нельзя было бы соблазнить. Разве в мыслях хотя бы ты не обманывала меня, не изменяла мне тысячу раз?

— Оказывается, ты умеешь мысли читать? Вот не знала, — проговорила она.

— Я многое чего умею, — сказал я, тот я, что у двери, — я умею...

И тут я проснулся, так и не узнав, что же я умею...

Во сне я выяснял с ней отношения раздраженно, злясь, а наяву жил как в пустоте. Наяву мне не хватало ее.

Я чувствовал себя как бы во взвешенном состоянии, лишним среди других людей, у них своя жизнь, а я между ними так, сбоку припека, и на улице, и в квартире, набитой соседями. Соседи у нас с Наденькой менялись часто, только мы жили в своей клетушке с молодых лет до старости, в трех же других комнатах люди менялись постоянно, как в гостинице: перебьются три-четыре года, обрастут детьми и уезжают в отдельные квартиры, все приезжие, по так называемому лимиту, а мы, коренные москвичи, так и не узнали никогда, что такое своя кухня, свой туалет. Вот и ныне очередные лимитные соседи Кулагины суетятся, шумят, радуются молодой жизни, и естественно, что я раздражаю их, если лезу со своими замечаниями, советами, рассуждениями. Старики для молодых помеха. Так было всегда, и так всегда будет. Когда-то, в какой-то момент надо понять, что ты весь уже в прошлом, а они еще в будущем, и смириться с неизбежностью лёта времени, и ощутить, что плывешь ты стремительно по руслу той реки, по которой уплыла Наденька. И они, молодые, тоже плывут туда же, но у нас и у них разные русла, разные реки. Надо

понять, и умом, возможно, понимаешь, но сердцем... Как принять сердцем эту жестокую истину!..

Я одинок, мне не хватает Наденьки, все без нее лишено цели и смысла. Очевидно, это мое чувство эгоистично, потому что я думаю о себе: как мне плохо, а не о том, что, может быть, живи она, а я продолжал бы болеть, ей было бы невыносимо тяжело со мной.

И все же, если быть до конца честным, мы с ней не так уж хорошо жили. Притерлись за множество лет и терпели друг друга. Поругивались, сердились, днями не разговаривали, Наденька с возрастом становилась нервной, раздражительной, эгоистичной. Каков стал я с годами? Не знаю. Впрочем, если смотреть ее глазами, то такой же — эгоистичный, раздражительный, сухой сухарь.

С некоторых пор я словно пал в ее глазах. Она будто разгадала, что я, ее прежний король, голый. Неудачник, всю жизнь просидевший на одном месте, на мизерной зарплате.

Между прочим, я вообще не понимаю, что такое «неудачник» по отношению к любому человеку. Я не о себе, у меня в самом деле нет никаких талантов, я библиотекарь, книжный червь, но таких, как я, миллионы. Простых, скромно исполняющих свою работу, свой долг. Тех, кого когда-то называли винтиками в большой государственной машине.

Наденька — рядовая школьная учительница, со всеми присущими подавляющему большинству нынешних учителей недостатками, основной из которых — непонимание своих учеников. Могу ли я назвать Наденьку неудачницей? Ведь она не сделала никакой карьеры, выше классного руководителя не вознеслась. Нет, не могу я ее так назвать, потому что человек ценен не должностью, не карьерой, даже не талантами, не наградами. А ведь у нас, увы, с каких-то пор стали почтительно относиться не к человеку, а к должности, которую он занимает. Человек ценен тем, что живет на земле, продолжая дело своих безвестных предков, исполняя главное свое назначение: торя дорогу тем, кто будет жить после нас. Не так ли? Не всякому человеку удается попасть в Коринф — Non cuivis homini contingit adire Corinthum. Как тут не согласиться с индийским мудрецом, воскликнувшим: «Не забывайте, как велик человек. Я, человек, величайшее божество, которое когда-либо было или будет. Христос, Будда и другие — лишь волны в безбрежном океане бытия, а я — океан».

Кстати, в сказке о голом короле житейская мудрость придумала и такой конец: однажды король вышел на балкон, взглянул на покорный народ и увидел — народ-то голый. В подражание своему повелителю народ сбросил одежду, все уверяли друг друга, что их одеяние, которого не было, так же прекрасно, как и у короля. Умна эта присказка: увы, и народ бывает голым, если обманывает себя самого, не доверяя своим глазам. Впрочем, к чему это я? Не знаю...

Голова ведь, как старый сундук, набита воспоминаниями, ненужными ассоциациями, пустыми мыслями, полна коробочка, но вот беда — болтается на шее, не очень-то держится в спокойном состоянии. Живем, как говорится, в век научно-технического прогресса, а с человеческим телом ученые ничего не могут поделать. Как было в прошлые времена несоответствие между телом и душой, так и ныне осталось. Тело, словно старый пиджак, все в дырах, молью изъедено, однако ж подкладка — душа — еще крепка, еще молода и пылка. У того же Исикавы Такубоку есть и такие строки:

Если спросят:
«Что такое печаль?» —
Я скажу:
«Это вкус вещей...»
Слишком рано его я узнал...

Рано, хотя уже далеко за шестьдесят, а все равно рано...

Тоскливое ощущение одиночества гложет меня с той минуты, как просыпаюсь утром, и до того момента, когда ложусь вечером в постель и засыпаю.

В детстве, да и в юности тоже, и даже на фронте в блиндаже, вот что удивительно, по утрам, открыв глаза, я чувствовал в себе торжественность, радость, готов был кукарекать, как утренний петух, приветствующий начало нового дня. Какие сны снились мне в те далекие времена — не помню, но, наверное, приятные, пряничные сны, и после войны, в студенческие годы, не помню, чтобы снилось мне что-нибудь страшное, мрачное, военное. В книгах я много читал о ночных ужасах бывших фронтовиков, которым грезятся кошмары, но я не испытал этого.

Хотя, нет, вру, был один давний сон, поразивший меня, и я запомнил его и часто вспоминал, стараясь понять, есть ли какая-либо суть в его ужасе. А ужаса вроде и не было никакого — сон, как сон, но я тогда проснулся в панике и долго лежал, прижав к груди руки, стараясь унять сердцебиение.

Приснилась плоская равнина. Сухая, давно не видавшая дождя — ни травинки, ни кустика. Над безводной, в трещинах, землей — холодное, бледное солнце, оно не светит, а, как луна, льет белесый, холодный свет. И по этой бесконечной пустыне я бреду один, усталый, опустившийся, жалкий нищий, потерявший человеческий облик, в оборванной, грязной шинели, бреду один-одинешенек в пустом глухом мире, куда бреду, откуда бреду, неизвестно, но бреду в глухой, мертвой тишине. Мне хочется кричать, но рта раскрыть не могу, словно боюсь потревожить безмолвный мир, сквозь который куда-то обреченно бреду, опустошенный, онемевший, но и остановиться, отдохнуть не могу, и назад повернуться нельзя, потому что знаю, что кто-то велит мне идти вперед, все вперед, хотя впереди ничего нет, впереди пустота, безнадежность... И во сне, и потом, когда проснулся, было ощущение конца света, апокалипсиса, страшного пророчества. Сон этот долго преследовал меня в воспоминаниях, да и сейчас еще кажется, что неясное, таинственное, зловещее его предсказание должно осуществиться...

Ведь бывают же пророческие сновидения.

Мне было лет шесть, мы с мамой ехали в Ржев к отцу, где он, мелиоратор, изучал болота, чтобы потом начать их осушать, те самые болота, в которых в сорок первом я чуть не нашел свою смерть. Едва мы сели в поезд, как мама прилегла отдохнуть и задремала. Но очнулась почти сразу, засуетилась, стала собирать вещи, и на первой же станции, в Воскресенске, нынешней Истре, мы сошли на ночной дождливый перрон, дождались встречного поезда и вернулись домой в Москву. Мама говорила потом, что, задремав, она вдруг ясно увидела, что наш поезд сошел с рельсов. И что же? Через несколько дней стало известно: подо Ржевом поезд и в самом деле потерпел крушение...

С такого, по-моему, вещего сна началось то, о чем я намереваюсь рассказать дальше.

Когда-то жила в нашей квартире семья Савельевых. Игорь Валентинович и Марина Петровна, научные сотрудники, шумные молодые люди, любившие по вечерам вести долгие разговоры по телефону. Родился у них первенец — мальчик, названный, очевидно, в честь деда Петром, а через три года появилось новое существо — девочка Галя. Прожили они с нами лет десять, получили отдельную квартиру и уехали, а в их комнату вселились Кулагины, которые к тому времени, о котором я рассказываю, тоже собирались от нас уезжать.

Савельевы были приятные люди. Наденька легко находила с ними общий язык. Первое время мы бывали у них в гостях на новой квартире, а потом это знакомство само собой оборвалось. Многие годы ни мы ими не интересовались, ни они нами.

И вот вдруг — с чего бы? — приснилось мне, что Савельевы снова живут в нашей квартире, я захожу к ним в комнату, они все сидят за столом и смотрят на меня укоризненно. Марина Петровна говорит:

— Нехорошо, Виктор Иванович, вы нас совсем забыли. Мы разве вас обидели? Ждем, ждем, а вы не идете...

— Я по грибы ездил, — отвечаю, — грибов в этом году множество.

— Разве вы не знаете, дядя Витя, что грибы ядовиты? — спрашивает Галочка. — Все радиоактивны.

— Не преувеличивай, — говорю я, — а потом от радиоактивности помогает водка.

— Вы стали пить? — спросил Петя.
— Упаси боже! Но ведь Игорь Валентинович-то пьет.
— Я? — удивился Игорь Валентинович. — Впрочем, запьешь от такой жизни.
— В лес не надо ходить, — сказала Галочка. — В лесу много бродячих собак. Спросите папу.
— Не обижайте нас, — сказала Марина Петровна, — приходите, Виктор Иванович.

Проснувшись, я решил наяву осуществить эту ее просьбу.

Купил в палатке возле метро торт и поехал с утра пораньше.

Жили они на шестом этаже в шестнадцатиэтажной башне в Чертанове. Зелени много, воздуха много, лес рядом, хорошее место.

Лифт не работал, и я поплелся вверх, отдыхая на каждой лестничной площадке. Возле двери отдышался, позвонил.

Дверь открылась. Высокий худой парень стоял передо мной в старых джинсах и в синей майке с надписью «Tennessi University». В этом длинношеем акселерате полутораметрового роста трудно было узнать прежнего пухлого, розовощекого, глазастого Петю. Он угрюмо смотрел на меня, молчал. И я словно бы его глазами взглянул на себя: наверное, не узнал он меня в сутулом, морщинистом, высохшем, как египетская мумия, старике.

— Не узнал, Петя? — спросил я.
— Узнал, — ответил он, но приветливости в его голосе я не услышал, скорее наоборот.
— Ну, тогда разреши войти... Вот торт возьми.

Он пропустил меня в квартиру, торт не взял, словно не увидел, хотя я и протянул ему руку с коробкой.

— Невесел ты, дружочек, и не очень вежлив, — сказал я, идя за ним в комнату и ставя торт на стол. — А ведь лет семь уже, наверное, не виделись. Да, Петя, столько лет уже прошло. Эвон как ты вымахал...
— Да, вы наблюдательны, — проговорил он хмуро, — садитесь.

Я сел, огляделся. Комната не была заставлена и потому казалась просторной — две книжные полки на стене, обеденный стол, старенький телевизор, диван, платяной шкаф и кактусы, целый выводок на подоконнике.

— Где же Марина Петровна? — спросил я. — Галочка?
— Нету, — резко ответил он.
— Жаль, — стараясь не замечать этого непонятного раздражения, сказал я, — вот пришел чаи гонять с тортом. Ты, помню, был любитель до сладкого. Скоро придут?
— Не знаю! — уже почти зло ответил он.
— Да что с тобой, дружочек? Колючий, как еж.

Я подошел к нему, попытался обнять за плечи, но он увернулся.

— Может, мне уйти? — спросил я.
— Хорошо бы, — ответил он.
— Вежлив ты бесконечно. Разве гостей так встречают? Какая муха тебя укусила? — сказал я, решив и в самом деле уйти, но тут же передумал: — Уж прости, дружочек, извини, дождусь все же маму и Галочку. Сто лет не видел.
— Не дождетесь вы их! — вскрикнул он. — Нету Галки, убили Галку, а мама там... на ее могиле...
— Господи, что ты такое говоришь? — похолодев от страха, пробормотал я. — Кто убил, за что?

Он молчал. Мы долго сидели так — он с окаменевшим, злым, воспаленным лицом, я, потрясенный, оцепенело смотрел перед собой. На столе огромной горой, каменной белой глыбой возвышалась коробка с тортом, перевязанная белой синтетической веревкой, и пахло от коробки, не поверите, но это так, пахло как из захудалой парикмахерской, несло сладкой, приторной кондитерско-галантерейной вонью.

— Как же это случилось, Петя? Извини, я не знал, — наконец пролепетал я.
— Как? — спросил он, прикрыв ладонью глаза, и жестким голосом медленно сказал: — В Остоженске она была на картошке. У нас ведь некому убирать картошку. Милые мальчики из хороших семей... эти... с гитарами и мотоциклами... надругались над нею... не где-нибудь, а на главной площади, возле вечного огня... Она кричала, звала на помощь, но никто не пришел...

Он недоговорил, встал, подошел к окну, постоял, глядя на улицу, снова сел к столу, отодвинул злополучную коробку с тортом, которая заслоняла меня от него, и, глядя мне в лицо прищуренными, полными злости, не горя, нет, и не презрения, а скорее холодного отчаяния глазами, сказал:

— Нет, убили ее не они. Они довершили убийство. Убил ее отец, когда бросил нас...
— Вас бросил отец?
— Пять лет уже. И ни разу не появился. Мы любили его, верили, а он обманывал... разве только маму? И нас. Добрый, ласковый, честный папочка. Учил нас высокой нравственности, а сам... Он убил Галку, он и бездушные школьные учителки, напичканные прописными истинами. Ложь... всеобщая ложь убила ее. Проповедуют одно, делают другое... Теперь-то я знаю, где мы живем. В мире оборотней, хамелеонов...
— Что ты говоришь, Петя! — вырвалось у меня.
— Разве нет? И вы... тоже такой! Она была не столь тупой, как я... Когда отец ушел, у нее сразу открылись глаза. А я вместе с мамой лепетал ей затасканные утешения. Она в бога поверила, не ожесточилась, стала тихая, смиренная, говорила о всепрощении... Бога нет? А что есть? Он хоть не лжет. Тот, кого нет, не может ни лгать, ни истину вещать. Абстрактный бог не лгал, а вокруг все врали. Отец, мама... вы, Надежда Васильевна...
— Не надо, — сказал я. — Оставь в покое Надежду Васильевну, она умерла...
— А Галя где? — вскрикнул он, убежал в другую комнату и вернулся со школьной тетрадью. — Это прошлогоднее Галкино сочинение... на тему «Как мы провели лето»... Прочтите... Читайте...

И я прочел:

«В это лето мама отправила меня в деревню к ее брату. Он еще недавно был председателем колхоза, а сейчас работает в сельсовете. Ехали почти сутки. Дорога очень красивая. Густые леса, луга, все в цветах. От станции до деревни нужно добираться целых тридцать километров по проселочной дороге на подводе или машине. Дядя прислал за мной машину. Лето было очень хорошее, теплое, много купались, грибы собирали. Все было очень интересно, весело, но потом все испортилось. Поехал дядя на рыбалку, не один, все местное начальство, из райкома, директор школы, а главное, из города прикатил какой-то большой начальник, это для него и устроили рыбалку. Я, дура, напросилась, и дядя взял меня, хотя очень не хотел. Ловили рыбу сетью, а сетью нельзя, но был сам начальник рыбохраны, он сам и устанавливал сети. Мелкую рыбу выбросили, а самую хорошую заложили в котел. Сварили уху, водку пили, все напились, и дядя тоже. Стали развлекаться — прыгать через костер. Прыгать с таким условием, что выигрывает тот, кто выше всех прыгнет и громче всех пукнет. Дядя не хотел прыгать, меня стеснялся, но начальник из города велел, и дядя прыгнул. Но начальнику что-то не понравилось, он заставил его еще раз прыгнуть, потом еще раз... Дядя прыгал, а начальник хохотал, и все хохотали... Я не могла на все это смотреть, убежала, заблудилась, еле нашла дорогу к деревне и два дня болела, простудилась. А потом уехала домой. Так я провела лето. Лучше бы не ездила туда, навидалась двоедушия, чинопочитания, хамства. И это люди, которые руководят народом, учат детей, произносят с трибуны правильные речи. Вот вам и...»

Дальше было густо замазано красными чернилами, а внизу приписка: «Я это зачеркнула, такая галиматья не для посторонних глаз. Писать такое не стыдно? Не безнравственно такое писать в школьном сочинении? Неужели ничего хорошего ты не увидела? 2!»

— Ну что? — спросил Петя. — Прочли? За это сочинение ее едва из школы не выгнали. Мама на коленях валялась в ногах у директорши...

Он взглянул на меня больными глазами, уронил голову на руки и, уткнувшись лицом в стол, замолчал. Сидел не двигаясь, лишь изредка вздрагивали худые плечи как в судороге.

— Когда вернется мама? — наконец спросил я.

— Не знаю, сидит у ее могилы. Уходите, пожалуйста, прошу вас.

— Да, конечно, — сказал я. — И все же не ожесточайся, Петя.

— Не надо проповедей! — крикнул он. — Уходите и торт свой унесите...

Торт я не взял, ушел с пустыми руками и пустой душой.

Я ушел от него, потрясенный случившимся. И вроде обиженный. Да, обиженный его юношеским максимализмом, не за себя, нет, а за те ужасные слова, которые он так, походя, в своем ожесточенном исступлении сказал о Наденьке. Что он знал о ней, обо мне?

Но ночью проснулся от сердцебиения. Нет, ничего не приснилось, я проснулся внезапно, охваченный ужасом: всего того, что услышал и пережил за прошедший день, быть не могло, это не реальность, а сон, и мне надо броситься к своей тетрадке и записать это страшное сновидение. Но если бы это было сном! Галю убили возле вечного огня, у могилы неизвестного солдата в каком-то городе Остоженске — вот правда, вот реальность, вот ужас, который я ощутил в полной мере только сейчас, ночью...

Но все же этой ночью мне приснился под утро не то чтобы страшный, а какой-то неприятный, «некомфортный», как любила говорить Наденька, сон. Я записал его и забыл, но сейчас понимаю, что это был за сон и почему приснился именно тогда, в ту ночь.

Мысли о Галочкиной гибели вызывали у меня физическую боль, воспоминания о ней, о том, как она жила здесь, в нашей квартире, как топала ботиночками, и это, увы, вызывало у меня раздражение чаще, чем умиление, и я посылал Наденьку к Марине Петровне парламентером — просить обуть Галочку в тапочки.

Не буду врать, какой-либо особой привязанности, сюсюканья, умиленности ее детскостью у меня не было: ну так, живет, мелькает, играет с Цицероном или забежит покормить попугайчиков, наивное существо, соседская дочка. По-моему, родители даже пугали ее мною, потому что она иногда спрашивала меня:

— Дедушка Витя, а где у вас мешок, куда вы ловите непослушных детей?

— Нету у меня мешка, — говорил я ей, — и не прячу я никаких детей.

— Нет, есть, нет, прячете, — твердила она, — я знаю.

Однажды родители купили для нее билет в театр Оперетты, на утренний спектакль — балет о деревянном человечке на музыку Касагранде. Но потом оказалось, что пойти с ней не смогут, и попросили меня.

Я обрадовался этому предложению уже потому, что давным-давно не был в театре вообще, хотя в молодые годы мы с Наденькой не то чтобы были театралами, но похаживали. Прежде ведь поход в театр был событием праздничным, которому предшествовал целый ритуал: загодя готовились к торжественному дню, начинали собираться за несколько часов, одевались во все лучшее, во все нарядное, торопили друг друга, суетились не суетливо, а значительно, все добрые, все ласковые, и ты сам — пятилетний ребенок — ощущал себя на пороге какого-то чуда, и оттого сердце замирало, будто летел с высоты, — ощущение странное, смесь страха и радости. В детстве с отцом и мамой ходил я в театр раза три-четыре, но всю жизнь трепетно помнил те мгновения сборов, дорогу и вхождение в храм праздника. Именно туда меня водили, в филиал Большого театра, в сверкающий позолотой и бархатом многоярусный дворец, наполненный волшебными звуками и запахами, где ныне помещается театр Оперетты. В фойе пахло буфетом, лимонадом, пирожными, нарядными людьми, и в зале тоже пахло сладостями, но и еще чем-то неповторимым, непонятно загадочным — то ли от ярких люстр, расписного купола в бесконечной вышине, то ли от тяжелого занавеса или от мягких кресел. 'А в оркестровой яме, куда я, встав на цыпочки, глядел через барьер, рассаживались музыканты, тоже, как и все вокруг, значительные, торжественные, иные какие-то люди, из волшебного мира, усаживались, раскладывали ноты, настраивали инструменты... Я туг на ухо, но именно эти мгновения приводили меня в трепет, когда постепенно гас свет, оркестранты еще настраивали инструменты и разноголосица скрипок, флейт, виолончелей звучала в затихающем зале.

Всю жизнь именно эти секунды пробующих голоса инструментов, звучащих будто бы вразнобой, нестройно, а на самом деле слагающих особую мелодию, которую я только и понимал, ее одну, что бы потом ни играл оркестр, всю свою жизнь, и в юности, и в зрелом возрасте, я ощущал с трепетным волнением.

В самом деле, нечто зовущее, обещающее вхождение в сказание о чем-то таинственном было в нестройных звуках настраиваемых инструментов.

Потому-то, когда мы с Галочкой вошли в зал, я прежде всего повел ее, а точнее сам заторопился, потащил ее за руку к оркестровой яме, и Галя встала на цыпочки и заглянула через барьер туда, где стояли пока еще одни пюпитры да лежал в углу в чехле контрабас. Яма еще была пуста, там гулял ветерок, там еще не горел свет, но я рассказал ей, откуда выйдет дирижер, куда встанет, как зазвучат первые пробные аккорды...

Мы сидели ни близко, ни далеко — в амфитеатре. Погас свет, зазвучала музыка, поднялся занавес, и старый Джепетто стал вытесывать деревянного человечка. Пиноккио ожил, задвигался. Музыка гремела, а чуда не было. Оркестр играл, будто сам был деревянный, лишенный души. Музыка оглушала, а я никак не мог свыкнуться с этим грохотом, думая что стал стар, ибо не нахожу в себе прежних чувств и ощущений.

В антракте мы снова стояли с Галочкой у оркестровой ямы, там по-прежнему было пусто, по-прежнему стояли безжизненные пюпитры, гулял ветерок, и я вдруг понял, в чем дело, и посмотрел в программу, где в самом конце ее было написано: «Спектакль идет под фонограмму».

Из театра я уходил, ведя за руку оглушенную радиомузыкой Галочку, и сам будто оглохший, с ощущением обмана. Хотел вернуться в детство? Вернулся, как же! Все равно что сходил бы в зоопарк, а мне вместо живых зверей показали их на телевизионном экране. Разве самая лучшая фонограмма, усиленная репродукторами, заменит живой оркестр? Как хорошо, что Гале было всего пять лет и она еще не могла понять, что ее обманули. Но и я был обманут... Как я прожил свою жизнь? Разве не под фонограмму, заменившую живой звук свободного оркестра? Может быть, у других был хороший слух и они слышали эту подмену, а я, увы, теперь-то понимаю, я не слышал. Нет!

Вот и приснилась мне в тот день, когда я узнал о гибели Гали, зияющая, холодная пустота, ров какой-то, в котором стояли застывшие, зловещие стулья — и ничего больше, ров, и страшные в своей неподвижности стулья, и холод, идущий из полутьмы этой ямы. Было жутко, неуютно и печально до слез. Я проснулся от неясной жалости к себе самому, хотел понять, откуда, почему этот непонятный сон, но тогда не догадался, не понял, а потом, спустя много времени, осознал, что это ожило во мне воспоминание о глухой, мертвой оркестровой яме, холодной, как могила, куда заглядывала, стоя на цыпочках, пятилетняя Галочка, которой осталось жить только десять лет.

Я с трудом встал, пошел на кухню готовить завтрак. В коридоре уже не пройти: сегодня наконец из бывшей комнаты Савельевых переезжали в новую квартиру Кулагины. Вещей было уйма: чемоданы, ящики от шкафов, столы, стулья, матрацы, рулоны ковров заполнили всю прихожую. Непостижимое количество вещей, непонятно как умещавшееся в их одиннадцатиметровой комнатке.

Алевтина Спиридоновна каждый раз, вытаскивая новую вещь в коридор, притворно приговаривала:

— Барахольщики, ну, барахольщики! Ладно, по дороге выброшу половину. Извините, соседи уважаемые, лихом не поминайте... Таня! Танюша! — кричала она дочери, восемнадцатилетней красавице.

Высокая, обтянутая джинсами, длинноволосая, с тонкими, гибкими руками, работающая официанткой в каком-то кооперативном кафе, она сидела на кухне, подпиливала ногти на пальцах и томно спрашивала:

— Ну-у, чего-о?

— Да помоги, господи! «Чего-о, чего-о!»

— Я говорила, не буду, не лошадь.
— А я лошадь? Я кобыла, конечно?
— Сказано, не буду. На работе еле ноги волочу, дайте хоть дома отдохнуть, у меня выходной сегодня. Обалдела ты от радости, что ли? А радоваться нечему: загнали к черту на кулички, до работы теперь часа полтора добираться.
— Помоги! — закричала Алевтина, волоча матрац. — Упаду сейчас.
— Не торопись, не суетись, — посоветовала Таня своим нежным, мелодичным голоском.
— Господи, вырастила дочь, все ей с пеленок, от себя последний кусочек отрывали...
— Помоги, Татьяна, — сказал я, — нехорошо.
— Не воспитывайте, Виктор Иванович, — сказала Татьяна, но поднялась, пошла к матери, ухватила матрац и ловко пронесла его в прихожую, к выходу.
— Вот умница, вот молодчинка ты моя! — радостно воскликнула Алевтина Спиридоновна.
Пришел с улицы Василий Игнатьевич.
— Ух, добра-то! — восхищенно сказал, едва открыв дверь. — Мать, люстру купил чешскую, завез туда, ну, квартирка — конфетка, потолки — три, прихожая — десять, кухня с электроплитой — десять, шкафы всякие...
— Васенька, птенчик, — протискивая к нему свое громоздкое тело, сказала Алевтина громко, на всю квартиру, — я тебе там тройню рожу, обещаю...
— Ты что, обалдела? Я тебе рожу! Выгоню! Одна Танька во где сидит. Даже шуточек таких не признаю... Не болтай, а подарочек принимай, еле-еле раздобыл. — Он приволок с лестничной площадки огромный бидон — в таких молоко на фермах разливают.
— Нет, не приму, неси обратно, — закричала Алевтина. — В тюрьму захотел? Не разрешаю!
— Не ори! В отдельной квартире никто не узнает, шито-крыто.
— Неси откуда принес, самогонщик проклятый! Еще как узнают! У них теперь собаки надрессированы на это дело.
— Не перечь, Алевтина! Не выводи из себя. Принимай. А то вдарю! — заявил Василий.
— Да пусть везет, мам, — сказала Татьяна, — жалко, что ли...
— Тебе никого не жалко! Хорошо, вези, но знай — передачи в тюрьму таскать не буду. Заявляю решительно. Хочешь опозорить свое доброе имя? В передовиках ведь ходишь! Господи, зачем я за тебя замуж пошла? Космонавт Петя Русакевич за мной ухаживал. Королевой жила бы...
— Мели! Нет такого космонавта...
Ругались они постоянно, впрочем, не ругались, нет, а так, как сейчас, языки чесали, без злости. Василий часто, как и сейчас, грозился «вдарить», если не будет слушаться, и она делала вид, что очень этого боится, и умолкала на время. Однако уж если кто мог «вдарить», то это Алевтина, а не Василий. Он был небольшого росточка, худой, а она монументальная женщина необъятных размеров, платья сидели на ней словно приклеенные, так и казалось, вот-вот лопнут по швам, когда она двигалась. На овощном складе, где она работала кладовщицей, не нужны, наверное, были сторожа: внушительная ее внешность могла, мне кажется, отпугнуть любого, пожелавшего поживиться тем, что плохо лежит. Сама же она после каждой смены приходила с полными сумками, набитыми всякой ерундой, тем, что можно купить в любом овощном магазине и что стоило копейки.
— Отца тюрьмой пугаешь, — сказала Татьяна, — а сама со склада всякое гнилье тащишь. За это по головке, что ли, гладят?
— Постыдись матери такие слова говорить. Стыда на тебе нет!
— Довольно, бабы, — крикнул Василий, — машина приехала, вещи выносить надо... Шевелитесь!
Быстро, наверное, минут за двадцать, четверо парней вместе с Василием снесли во двор вещи, втиснули в автофургон, и, когда погрузились, Василий, потный, красный, вбежал ко мне в комнату, задыхаясь, прошептал заговорщицки:

— Виктор Иванович, будь другом, четвертной одолжи. Пузырь надо купить. Алька, зараза, все деньги упрятала. Отдам, не сомневайся.
Четвертного у меня не было, а пятнадцать рублей я ему дал.
— И на том спасибо! Ну, прощевай, будешь на могилке супружницы, поклонись. Ну, пока. Счастливо оставаться!
Они уехали. И в квартире тихо стало, пусто. Гулко. Тишина эта и гулкость пространства будто раздвинули стены и в то же время как бы придавили меня: каждый звук отскакивал от стен и прыгал туда-сюда, словно мячик. Теперь даже слышно было, как двигался у себя в комнате единственный оставшийся постоянный мой сосед Михаил Николаевич Лебедев, сорокапятилетний закоренелый холостяк, педантичный аккуратист. Такая гулкость, такая опустелость пространства не пугали, нет, а вроде бы усиливали ощущение одиночества, тоски не тоски, а той тревожной жалости — к кому? к себе? к Галочке? — с которым я пробудился утром после испугавшего меня во сне рва...

Как неожиданно ощутимы потери: мог ли я когда-либо предполагать, что уедут суматошные соседи Кулагины, которые так часто раздражали меня шумом, неделикатностью, разбросанностью, — то свет не погасят, то чайник забудут на плите и кухня станет как парная, то неаккуратностью в ванной, — мог ли я предполагать, что едва они скроются за порогом квартиры, как их отсутствие покажется мне утратой, отзовется в душе беспокойством, будто заблудился я в гулком лесу?.. Впрочем, может быть, это жило во мне вчерашнее, жило состояние потерянности, потрясения от известия о том, что погибла и как погибла Галочка.
Надо съездить к Марине Петровне, может, помочь чем-нибудь. Но чем и как? Надо поехать, надо. Сочувствие и скорбь другого к твоему горю, я знаю по себе, не утешает, нет, но все же всегда хоть как-то поддерживает.
Но и сразу поехать у меня не было сил, я переждал день-другой и в субботу — Марина Петровна наверняка не на работе, и с утра я, конечно, застану ее дома — решился, встал пораньше.
На кухне нашей опустевшей, тихой квартиры, ожидающей новых соседей, уже дожаривал ежедневную яичницу Михаил Николаевич, который даже к плите выходил в костюме, гладко выбритый, пахнущий то ли зубной пастой, то ли одеколоном.
— Доброе утро, — сказал я, ставя на плиту обычный свой утренний рацион, геркулесовую кашу, — как жизнь молодая?
— Какая жизнь? — ответил он. — Разве это жизнь? Не знаешь, как вертеться. Устал я, Виктор Иванович, ей-богу, нервишки стали сдавать, плохой признак... Солил я яичницу? Вроде солил. Хотя нет, не солил, намеревался — вы пришли. Склероз от этой удивительной жизни.
— Да что так-то, Михаил Николаевич? Не похоже на вас, вы же оптимист.
— Конечно. Но в здоровом оптимизме должен быть и здоровый скептицизм. Не разрешаю себе расслабляться. Пятнадцать лет проталкиваю элементарную идею: как у нас на заводе реорганизовать производство. Миллионы экономии! Пятнадцать лет бился головой о стену, стена была железобетонная, от каждого удара кровь на лбу выступала, искры из глаз летели, а ныне стена эта резиновая, об нее лупишь башкой, а она мягкая, нежная, как пуховая подушка. Вязнешь, вязнешь в доброжелательных улыбках и словах, а толку... Будто бы мне все это нужно, я лично от своих предложений никакой выгоды не буду иметь, если их реализуют. А производству — миллионы. Но воз и ныне там. Раньше один аргумент — «преждевременно, нецелесообразно», теперь другой — «замечательно, всемерно поддерживаем». Однако и тогда, и теперь все пальцем вверх тыкают: какое, дескать, мнение вышестоящего начальства, вышестоящее же, в свою очередь, пальцем ввысь: есть ведь еще более вышестоящее... и так, Виктор Иванович, «все выше и выше», как в песне поется. У вас каша сгорит, молока подлейте! Еще, еще, помешивать надо!
— А у вас, дорогой мой, яишенка уже горит...
— Верно! — Он усмехнулся. — Что делается у другого, всегда виднее...
Он погасил газ, разложил на кухонном столе ложку, вилку, нож.

Справа нож, слева вилку и ложку, между ними тарелку, на которую ловко опрокинул со сковороды яичницу. Ел он ее медленно, нарезая мелкими кусочками и долго прожевывая каждый кусочек, с аппетитом ел, с удовольствием. Он всегда так ел, всегда готовился к трапезе неторопливо, тщательно, и я каждый раз, когда заставал его за этими приготовлениями, за едой, невольно вспоминал, как моя сослуживица, заведующая читальным залом Машенька Невзорова за три дня до того, как отправиться в загс со своим избранником, вдруг увидела, сидя у него в гостях, как он тщательно, размеренно, тонкими ломтиками режет сыр, и сбежала от него, и, увы, так и не вышла потом замуж. Что уж ее испугало, бог знает, нюансы человеческой психики непредсказуемы и малообъяснимы. Во всяком случае, то, как ел Михаил Николаевич, у меня не вызывало никаких отрицательных эмоций, а, может быть, даже наоборот — аппетит разыгрывался.

— Виктор Иванович,— сказал он,— задали вы формальный вопрос, а меня, как видите, понесло... Знать, созрело желание поплакаться кому-нибудь в жилетку.

— Друга у вас нет, вот и все дела,— сказал я, присаживаясь со своей кашей к нему.

— Ошибаетесь. Друзей-товарищей много, у всех у нас их много. Единомышленников мало, но не тех, кто поддакивает, по плечу хлопает, а тех, кто дело с тобой делает... Вам не надоедает каша каждый день?

— А вам яичница?

— Надоедает, потому и спрашиваю. Может, и мне на кашу перейти? Или жениться? Будет жена кормить разносолами и стеснять мою личную свободу. Нет, один уже привык. Не представляю себя в супружеской жизни... Недавно я, Виктор Иванович, еще в одну неприятность влип. Все-таки во все времена нова старая истина: «Язык твой — враг твой», «Слово — серебро, а молчание — золото». Как положено по нынешней моде, была у нас игра в выборы директора. Кандидат — один. Прежний директор. Мужик не без головы, но засиделся, притерся к непорядку да и к лести неравнодушен, за критику горячо благодарит, но при удобном случае припомнит. Одним словом, мне бы, Виктор Иванович, молчать, а я вылез витийствовать. Ну, что о производстве толковал, прошло мимо ушей. Но полез в иные дебри. От проходной к цехам у нас, как и положено, тянется аллея почета — фотографии передовиков. И я, между прочим, одно время там красовался. Над доской — разные лозунги, одни и те же, годами висят: «Поддерживаем решения...», «Выполним указания...», «Ударным трудом отметим...», «Теснее сплотимся вокруг...» и так далее. Я и говорю: «Товарищи, дорогие, перемените пластинку, повесьте новое что-нибудь. С детства, говорю, вызубрили мы эти слова. Десятки лет поддерживаем решения, выполняем указания, ударным трудом встречаем, все теснее и теснее сплачиваемся, небось, уж такая теснота, что задавить можно друг друга и того, вокруг которого сплачиваемся». Нет, Виктор Иванович, это не все. Понесло меня дальше, язык-то без костей. Стоит на территории огромный стенд — Владимир Ильич в кепочке, улыбается, руку приложил к голове, приветствуя, будто честь отдает, а под портретом слова: «Правильной дорогой шагаете, товарищи!» Ну, вы знаете этот плакат, многие годы по всей Москве можно было увидеть. «Не надо, говорю, вождя тревожить. Какой дорогой идем — время покажет, тем более, говорю, что, оказывается, долгие годы не той дорогой шагали. Снимите, не обижайте святое имя». Вот и высказался, Виктор Иванович. Тут же завели персональное дело, партсобрание собрали, строгача влепили. Друзья влепили. До собрания по плечу похлопывали, а на собрании обличали за политическую незрелость. Страх — вот причина. Страх прошлый живет во всех. Слова новые, а страх прежний. Мимикрия, Виктор Иванович, так же свойственна людям, как и животному миру, а некоторым даже в большей степени, чем бабочкам, жучкам, меняющим окраску, чтобы не слопали хищники. А демагога, Виктор Иванович, приспособившегося к новым словам, никакой хищник не слопает: ухватиться не за что. По дурости я и это ляпнул на партсобрании. Да еще сказал, что людям свойственен не только рефлекс цели, рефлекс свободы, окрыляющий человека, но и такой же сильный рефлекс рабства. «Именно этот рефлекс рабства, говорю, и не могут многие никак преодолеть».

— Ну, это вы лишку хватили,— сказал я.

— Нет, Виктор Иванович, не лишку. Представитель из райкома меня оборвал: ерунду я, дескать, несу, думать, дескать, надо. А я в ответ: «Извините, но эту ерунду утверждал Иван Петрович Павлов. Да, рефлекс рабства. Собачка покорно ложится на спину, когда ей угрожает более сильная. И человек делает, фигурально выражаясь, то же самое. Еще до революции доказал это Павлов». «Вот и ответ,— обрадованно воскликнул районный представитель,— до революции. Значит, в основе этого рефлекса лежала классовая основа, мир капитализма заражен этим, а мы тут при чем?» «Бедный Павлов,— сказал я,— какой классовый подход! А мы тут притом, что не только научились ложиться на спину и помахивать лапками при каждом новом веянии, но стали похожи на дрессированных попугаев: из клетки никак не хотим вылетать, уютно нам в клетке, привычно, а на воле-то неизвестно чего ожидать можно... Так и живем, сознательно заглушая в себе рефлекс цели, свободы. Дожили до духовного лакейства, как говорил Достоевский...» Нет, не сносить мне головы с таким языком... Между прочим, Павлова-то вы мне, Виктор Иванович, давали читать, так что...

— Ну, вот, значит, я виноват в ваших ассоциациях...

— Вообще поразительно это, Виктор Иванович. Ведь и в самом деле рефлекс рабства у многих так прочно укоренился, что нужны неимоверные усилия, чтобы выбить его из нашей психологии. Вытравить, чтобы уступить место рефлексу свободы. Но это долгий, ох, какой долгий процесс... Вот так, Виктор Иванович, я сам себя и выпорол. А если бы молчал в тряпочку, то и жил бы себе более или менее спокойно... Впрочем, хватит жаловаться, надо кое-какие делишки делать. Извините, вас утомил и сам взбудоражился. В другой раз не задавайте опасных вопросов: «Как живете?»

Он засмеялся, вымыл тарелку.

— Между прочим, Виктор Иванович, а как бы вы поступили на моем месте?

— Если бы да кабы! Я же не был на вашем месте...

— А все же?

— Не знаю, Михаил Николаевич, думаю, беречь надо себя от лишних стрессов, жизнь и так...

Он засмеялся:

— Вот и ответили, извините, следуя именно этому рефлексу рабства...

— Благодарю,— сказал я.

— Не обижайтесь, не надо, но ведь ваш ответ означает не что иное, как «не высовывайся, не выбалтывай, что думаешь, хотя и разрешили будто бы сметь свое мнение иметь»... И в самом деле, Виктор Иванович, может быть, такая позиция наиболее верная: надо всегда помнить, как поговаривали в Древнем Риме: сатурналии хоть и длятся семь дней, имеют свое завтра... Так что — мели, Емеля, да помни: пройдет неделя... Но, увы, такая позиция теперь не для меня... Хотите, сон подарю, сегодня приснилось?

— Подарите.

— Вызвали меня зачем-то на какую-то врачебную комиссию, кардиограмму делают, рентген, кровь берут из пальца, из вены, просят объяснить идею нового моего изобретения. Я объясняю. И просыпаюсь. И не помню, какая идея, какое изобретение, знаю только, что очень интересное, значительное. Ну, каково сновидение? Что означает?

— Одним ученым сказано: «Джентльмены, учитесь видеть сны, тогда, может быть, найдете истину, но не торопитесь их оглашать, пока не подвергнете испытанию бодрствующего разума». Сказано Фридрихом Августом Кекуле фон Штрадонитцем, открывшим во сне кольцевую формулу молекулы бензола. Возможно, и вам приснилось нечто бессмертное.

— Не сомневаюсь, но что? — Он засмеялся и величественно проследовал по коридору, торжественно неся в вытянутой руке тарелку.

Я вымыл кастрюлю, надел плащ и отправился к Марине Петровне, надеясь, что с утра Петя будет в институте и я своим приходом не вызову у него того же раздражения, как в прошлый раз.

Его действительно не было дома. Идя к ним, я думал, что увижу изможденного горем, издерганного, постаревшего от отчаяния человека, а встретила меня, открыв дверь, похудевшая, да, осунувшаяся, да, но в то же время спокойная, аккуратно причесанная и одетая женщина.

— Здравствуйте, милая, — сказал я и едва сдержался, чтобы голос мой не задрожал от волнения, а слезы не подступили к глазам. — Можно к вам?

— Конечно, Виктор Иванович, — ответила она. — Петя сказал, что вы приходили. О вашем горе знаю. — Пропуская меня в комнату, она говорила это спокойно, я бы сказал, даже равнодушно или, точнее, сторонне как-то. — Очень жаль Надежду Васильевну, прекрасный была человек. — Она проговорила все это сухо, усталым голосом.

— Марина Петровна, я потрясен, — воскликнул я, — как могло такое случиться?

— Случилось, — сказала она. — Я два месяца пролежала на Варшавке, в психиатрической больнице. Нагляделась страданий, искалеченных судеб. Несчастные, бедные люди! Я поняла, Виктор Иванович, не больные они, а раненные другими людьми, не нашли, не сумели найти понимания. Слабые, несчастливые, они ушли из этого, отвергнувшего их мира в другой — мир грез, но и еще большего страха, еще больших страданий. Их фантазии, бред, галлюцинации, может быть, более реальны, чем фантазии и миражи этого мира... Не надо о Галочке, Виктор Иванович. Когда, как, где, кто убил ее — все это уже не имеет значения. Ее нет. Она промелькнула в этом выдуманном мире, полном ложных иллюзий, и растаяла, исчезла, как снежинка... Извините!

— За что же? Вы меня извините, — пробормотал я. — Возможно, вам какая-нибудь помощь нужна... чем смогу...

— Какая помощь, Виктор Иванович? Ничего нам с Петей не надо. Мне так, действительно, ничего не надо. Быть бы на высоте, над суетой, не унизиться до мелочного коловерчения. Нужно было потерять дочь, чтобы понять это элементарное. Хожу в свой НИИ, голова чем-то занята, но тоже пустым — кормиться надо, Петю растить, а потом... Извините, я пойду. Провожу вас, идемте...

И снова меня поразило ее спокойствие. Она была даже не столько спокойна, сколько отстранена, отрешена от всего, что происходило вокруг нее, двигалась, говорила как бы машинально, заторможенно, будто сосредоточилась на какой-то мысли, которая и была главной, единственной, имеющей истинное значение и ценность. А я помнил ее иной — суетливой, беспокойной, назойливой даже в этой своей суете: «Галочка промочила ноги, Галочка не какала сегодня». «Куда ты смотришь, — выговаривала она мужу, — займись детьми. Петенька куда-то пропал, уже десять вечера, а ты спокоен, надо же что-то делать!» «Ах, бог мой, посуда не вымыта, газеты не прочитаны, отчет не составлен, как жить, как жить, не хватает ни времени, ни сил». Такой я ее помнил, взвинчивающей себя по всякому поводу.

А сейчас она даже говорила по-иному, не прежней скороговоркой, а медленно, будто обдумывала каждое слово, протяжно, с трудом, глухо, как бывает трудно говорить, если сухо во рту и сухость как бы сковывает и язык, и губы.

Мы спускались в дребезжащем, лязгающем лифте.

— Господи, — сказала она, — стонет, как человек. Если у людей есть душа, то почему ей не быть и у машин? Впрочем, нет души ни у людей, ни у машин. — Она натянуто улыбнулась. — Как сказал по телевизору знаменитый врач, человек — это кусок полимера. И только. А какая может быть душа у того, что является основой при изготовлении лака, клея, резины?..

— Ну, почему же? — сказал я. — Полимеры — это высокомолекулярные соединения, а человек...

— Да, да, конечно, клетки живых организмов построены из биополимеров, все верно, и все же, все же... человек — это... А что такое человек, а? Никто не знает... Мне не хочется думать, что Галочка была всего-навсего куском полимера...

Лифт остановился, мы вышли во двор, но не сделали и десяти

шагов, как она словно бы отпрянула назад, прошептав то ли с испугом, то ли с отчаянием: «О, господи!»

Неподалеку от подъезда, прижавшись к старому, сбрасывающему среди лета листья тополю, стояла хрупкая женщина с болезненным, униженным, испуганным, несчастным лицом. Она смотрела на нас, и слезы текли по ее щекам, сделала шаг нам навстречу, но остановилась: казалось, вот-вот упадет.

— Нет, я не могу, не могу, — прошептала Марина Петровна, — это уже выше моих сил. Пойдемте отсюда. — Она проговорила это, но не пошла прочь, а направилась к женщине, которая при ее приближении как бы испуганно вжималась в дерево. — Вы все же опять приехали, — сказала Марина Петровна, — я же просила. Зачем?

— Простите, — рыдая, воскликнула женщина, — я в отчаянии, не знаю, что делать. Простите... У мужа инсульт, я при последнем издыхании. Конечно, вы ненавидите нас, я понимаю...

— Оставьте! — прервала ее Марина Петровна совсем уж глухим, деревянным голосом, едва двигая губами. — Я говорила вам: не хочу ни мстить, ни наказывать, ни прощать, не пойду ни к следователю, ни в суд. Что будет с вами, с вашим сыном — мне все равно. Уходите с богом, прошу вас, и не смейте приходить больше никогда...

— Послушайте, выслушайте, умоляю, выслушайте... Адвокат сказал, что, может быть, вы подпишете эту бумагу... — Она торопливо стала шарить в хозяйственной сумке, но никак не могла найти то, что искала. — Господи, да где же? Где? Я потеряла... потеряла.

Она опустилась на корточки, почти села на землю и не заплакала, а заскулила, закрыв руками лицо.

— Успокойтесь. — Марина Петровна нагнулась и вынула из сумки листок бумаги, где что-то было напечатано на машинке. — Вот это?

— Да, да, это, я совсем потеряла голову... Помогите, заклинаю вас, помогите... Ведь мальчику грозит тюрьма на долгие годы, вся жизнь будет сломлена, он и так уже наказан, и вся наша семья.

— Что вы такое говорите?! — вскричал я, догадываясь, о чем идет речь. — Как вы можете?

— Не надо, Виктор Иванович, — сказала все тем же глухим голосом Марина Петровна. — Лучше дайте мне ручку.

— Нет у меня никакой ручки, опомнитесь! — воскликнул я, с испугом смотря в ее спокойное, может быть, только чуть побледневшее лицо. — Это безумие какое-то. Идите отсюда! Уходите! — крикнул я женщине, которая протягивала Марине Петровне бумагу.

— Прошу вас, Виктор Иванович, — сказала Марина Петровна, беря бумагу. — А у вас есть ручка?

— Есть, есть, вот... прочтите, пожалуйста, прочтите...

— Ничего я не буду читать... — Она подписала, сказала: — Все, и не появляйтесь больше никогда...

— Да, да, не приду, вы... вы благородный человек...

— Уходите!

Едва держась на ногах, шатаясь, женщина потерянно брела прочь со двора.

— Я не могу, я устала, — сказала Марина Петровна, — давайте сядем.

Мы сели на скамеечку возле пустой детской песочницы. И долго сидели молча.

— В этой песочнице Галочка любила с маленькими возиться, играла, куличики делала... Как я еще живу, не знаю, — проговорила Марина Петровна, закрыв руками лицо.

— Я догадываюсь, что произошло... Ее сын замешан в... — Я не мог произнести «в убийстве, в смерти», так страшны были эти слова.

— Вы правильно догадываетесь, — сказала Марина Петровна, — «замешан» — не то слово...

— И она пришла к вам — к вам! — с какой-то бумагой...

— Не надо, — она перебила меня, — что бы вы ни сказали — все верно... все справедливо. И неверно...

— Какую бумагу вы подписали, Марина Петровна? Даже не прочли, а может быть, это...

— Может быть... Но поймите, меня здесь нет. Нет меня здесь, я уже тут не живу... Где? Не знаю. Ни здесь, ни там, нигде... Не смотрите на меня так, я не больна, к сожалению.

— Но эта женщина...

— Она мать...

— Но ведь...

— Прошу вас, Виктор Иванович, не надо. Пожалуйста, будьте милосердны. У меня нет сил. Я бы заплакала. Не могу. Я ни слезинки не проронила, я ведь Галочку не оплакала... Теперь мы с вами живем в разных мирах, иных пространствах, я вас не понимаю... Всех, всех не понимаю, и вы меня не поймете... Да и зачем понимать?

— Но разве можно прощать убийцу собственной дочери? — сказал я.

Мне бы надо замолчать и уйти, а я упрямо ломился в ее душу, не осознавая, зачем это делаю, ведь горе ее и без того было непомерно...

— Никого я не прощаю и никого не сужу. Кто убил Галю, не знаю. Может, те, кто убил душу сына этой женщины. Галя мертва, но и он мертв. Безнравственность других убила их обоих. Судить надо всех или никого...

— Но за что же судить всех, Марина Петровна?

Она промолчала, прикрыла ладонями лицо.

— Вы безжалостны, Виктор Иванович... Идите, — проговорила она, не отнимая рук от лица. — Идите. Я посижу, я устала.

Я нагнулся, поцеловал ее в голову и ушел.

Я шел, старый, усталый, потрясенный увиденным и услышанным, и думал... А думал я о Наденьке, о Надежде Васильевне. Дорогая моя, судьба моя, сколько же мы пережили с тобой, милая, тягот, и сколько же было между нами недоразумений, ерунды ерундовой, а высший смысл жизни — вне этой мелочной, преходящей ерунды, уколов самолюбий, кажущихся порою чуть ли не космическими катастрофами. Господи, как легко рассуждать, произносить слова, но как трудно совершить самый малый поступок вопреки собственному горделивому, упрямому, эгоистичному «я». Мое «я» никогда не сольется с другим «я». Можно бить себя в грудь, терзаться, упрекать, страдать в искреннем раскаянии, однако все равно собственное «я» необоримо... Но Марина Петровна — где она, где ныне ее «я»? Наденька, Надежда Васильевна, судьба моя, моя боль, прости за суету, за то, что было, за то, что должно было быть, но, увы, не стало.

Я места себе не находил, вернувшись домой, толкался по комнате без цели из угла в угол. Книги, книги на многочисленных полках, прочитанные и нечитанные, забытые и живущие в памяти, занимали половину комнаты, и в них жил ненастоящий, призрачный мир, в который я всегда уходил, когда мне было неспокойно, неуютно, душевно пусто. Но сейчас... книги, книги, древние, современные, как они очистили человеческую душу? Сказки, притчи, сочиненные себе в утешение... Зачем я их собрал столько? Зачем прожил с ними так много лет, ища забвения в них... забвения, утешения... зачем?

Что происходило со мной? Отчего вдруг печаль по Наденьке с новой силой одолевала меня? Я открыл ее стол, стал перебирать фотографии, множество наших фотографий с молодых лет до последних дней. А потом стал перебирать бумаги, никому уже не нужные бумажки, справки, квитанции, характеристики, благодарности, грамоты, рецепты, тетради с сочинениями ее учеников, давними и не очень давними, по каким-то причинам сбереженные ею. Иногда я помогал ей проверять тетради, прикладывая на отдельных листочках свои замечания. Она и некоторые из этих листочков сохранила... Вся жизнь ее тут, в ящиках стола, в этих бумагах, никому уже не нужных, дорогих только мне, а уйду я — и сожгут весь этот мусор, этот хлам. Что же остается от человека? Что осталось от Галочки, какой след оставила она после себя, этот слабый, незащищенный ребенок? Какой след останется от меня, прожившего не пятнадцать лет, а во много раз больше? Что останется? Бумажный хлам, который выбросят на помойку посторонние люди. Что осталось от моих родителей, могилу которых я давно уже не посещал? Как я жил, оправдал ли надежды, которые возлагали они на меня, единственного своего сына? А какие надежды они возлагали на меня? Как быстро летит время, как быстро забывается прошлое...

Мне тяжко было перебирать Наденькины бумаги, я отложил их, присел к окну, смотря во двор, на наш многострадальный пустырь, с которого ветер сдувал пыль. У металлических контейнеров для мусора копался человек в длиннополом ветхом демисезонном пальто. Он приходит сюда почти каждый день. Но почему я прежде словно и не замечал его? Он стар, он тоже, как и я, прожил свою жизнь. Но как прожил, если в конце своего пути остановился возле мусорной кучи, возле помойки? Он кладет на землю рваный рюкзак, копается в контейнерах — что-то засовывает в рюкзак, что-то — в рот и медленно жует. Он не один такой. Здесь, возле помоек, своя жизнь, которую я видел и не видел прежде, да и никто, наверное, не видел. У всех свои заботы, кому какое дело до тех жалких стариков, которые роются в помойках, собирая не только всякий хлам, но и объедки, остатки пищи! Старуха с тяжелым мешком выискивает порожние бутылки, опухшая женщина медлительно ворошит мусор отечными руками, завязывая в стопки бумажный хлам. Тут нет ни собак, ни голодных кошек — их кормят дома заботливые хозяева, здесь только старики копаются в отбросах... Бог мой, какой след оставят после себя эти люди? Каким же надо быть несчастным и одиноким, чтобы искать пропитание в дворовых мусорных ящиках! И делать это отрешенно, не стыдясь своей нищеты, как делает это человек в длиннополом пальто. Он удивительно похож на другого старика, который стоит в подземном переходе возле станции метро. Опираясь на палку, склонив низко голову, он безмолвно протягивает руку. Толпы людей текут мимо, и только редкие прохожие кладут иногда ему в ладонь монетку. У него чисто выбритое интеллигентное лицо и потухший взгляд. Всякий раз, когда я прохожу мимо, я торопливо кладу в его ладонь свой пятак с неловким ощущением стыда... Какого стыда? За что?

Неожиданно в гулкой тишине опустевшей квартиры звонко раздался телефонный звонок.

— Да, — сказал я, взяв трубку.

— Витя, ты? Ты это? Это я — Клава.

Клава Дерябина — одна из тех девочек-одноклассниц, ныне многосемейных старушек, с которыми я окончил школу. Много лет мы, выпускники сорокового года, не виделись и не знали ничего друг о друге. Но лет десять назад, видимо, заговорила тоска по юности, и наши девочки разыскали бывших соучеников, оставшихся в живых. Я совсем забыл, что месяц назад Клава Дерябина обзвонила всех: сегодня мы должны собраться у нее... Забыл...

— Ты это, Витя? Ты болен?

— Нет, почему?

— Я не узнаю тебя, у тебя такой странный голос... Или что случилось?

— Ничего.

— Не надо, Витя, я же чувствую. Ты же знаешь: меня обмануть невозможно. Нужна помощь?

— Извини, Клава, я просто устал, спасибо.

— Ты придешь сегодня? Не забыл?

Я не хотел идти, потому что вообще стал тяжел на подъем. А сегодня в самом деле очень устал, хочется покоя, а какой покой будет от этой встречи с теми, кто, как и я, доволочился до старости? Не знаю, как у них, но у меня не то чтобы пропал интерес к жизни, но многое будто отодвинулось на второй план, помельчало как-то, что ли. И, наоборот, какие-то никчемные мелочи, которые в прежние годы даже не замечал, вырастали порою чуть ли не до глобальных размеров. Ну, например, кто-то из соседей свет в прихожей не погасил, а я уж весь в раздражении. Шума не поднимаю, упаси бог, молча погашу лампочку, вернусь к себе в комнату и сижу будто в лихорадке, понимаю, что нельзя злиться, а злюсь. Люди на улице так часто раздражают... Бывает — в вагоне метро стою, смотрю — все места заняты, и садиться иногда не хочется, а все равно мелькает в голове обида не обида, раздражение не раздражение, а неконтролируемое какое-то ощущение, что вот ты стоишь, а люди помоложе сидят, упорно делают вид, что спят... Откуда это у меня? Со ста-

ростью должно приходить великодушие, снисходительность, а разве это снисходительность и великодушие? Старость не привилегия, а ведь, если вдуматься, в таких вот ощущениях живет как бы ожидание некоей привилегии. А привилегия-то одна только — раньше других уйти из этого мира, который тебя так порою раздражает.

Не хотелось мне ехать на эту встречу еще и потому, что я, признаться, никогда не любил таких сборищ. Иногда по телевизору показывают подобные встречи, где старые люди, не видевшие друг друг множество лет, обнимаются, плачут, умиляются, целуясь. Они, наверное, в самом деле искренне растроганы и рады, но смотреть неловко, и хотя нет у них, конечно, никакой фальши, все же со стороны кажется, что есть что-то нарочитое, наигранное. Мне грустно бывает на таких сборищах. Сентиментальные воспоминания? Нет. Не знаю, как у кого, но у меня все ушло, ничто уже никого не связывает, у каждого своя жизнь, свои заботы. И даже, увы, при некоторой моей чувствительности я ничего, в общем, не ощущаю, смотря на Светлану, Светлану Ильиничну ныне, в которую был влюблен с третьего по восьмой класс. Сильно был влюблен, страдал, сочинял ей возвышенные стихи. Все это было когда-то словно и не со мной, а вычитано из книг — банальная история о банальных страданиях вступающего в половую зрелость школьника. Бывшая девочка Светлана выглядела ныне значительно моложе своих лет и своих сверстниц, была даже изящна, красива, ухожена. Недаром все наши мужчины при каждой встрече, выпив рюмку, оказывали именно ей особое внимание.

— Ну, чего ты молчишь, Витя? — спросила Клава.

Энергичная, беспокойная Клава, постаревшая больше всех и, может быть, перенесшая больше всех жизненных невзгод, мать-одиночка. Вырастила сына, потеряла его, когда ему было тридцать лет, попал пьяный под поезд, взяла из детдома девочку-сироту, сирота подросла, стала бить ее, родила приемной мамочке малое дите, оставила младенца и ударилась в бега. Мальчику уже пять лет. Вот так Клавдия Георгиевна со своей энергией, с педагогическим образованием и не утерянной со школьных времен наивной доверчивостью осталась снова с ребенком на руках: «Сенечка мой — это прелесть, это чудо».

— Господи, скажи что-нибудь, Витя!

— Думаю, Клава, думаю...

— Извини, пожалуйста, «думает» он... Я уже всех обзвонила, все придут, так что в пять часов у меня...

Она повесила трубку.

Я вернулся в комнату, взглянул на Наденькин стол с набросанными фотографиями, тетрадями, посмотрел на часы — до похода к Клаве оставалось не так уж и много времени — около трех часов — и лег отдохнуть.

И едва лег, как почувствовал, что безмерно устал за этот день. И с таким ощущением, очевидно, заснул. Хотя казалось мне, что заснуть-то никак не могу, хочу, но не могу, и все время нахожусь в полузабытьи, между сном и бодрствованием, и сплю и не сплю, блуждаю на грани полусна, полуяви.

В такие мгновения борьбы сна с бессоньем мне многие годы мерещилась одна и та же картина — хожу в растерянности, в страхе между библиотечными полками и ищу исчезнувшую книгу. Полок множество, книг тысячи, а ее, единственной, нет на месте, но она самая важная, самая — как бы это сказать? — государственная, и я должен ее найти, потому что, если не найду, мне грозят большие неприятности, непредсказуемые неприятности. Впрочем, весьма предсказуемые... Книги нет, и нет более тяжкого преступления, чем ее потеря. Я шарю по полкам, в ящиках, в закутках библиотеки, но найти не могу, и мне страшно, страх невыносим, парализует меня. Этот сон- не сон навязчив и, увы, почему-то постоянен. Я никогда не терял никакой книги, но ощущение, что потерял и тем самым совершил преступление, за которым последует неотвратимое наказание, не оставляет меня порою много дней. Странное, опасливое ощущение: а может быть, я все же совершил некое деяние, в котором некто увидит злой умысел, некто тайный, но всесильный, часто сопровождало меня после таких полуреальных снов многие годы и вот, оказывается, еще живет во мне и теперь, на старости лет. Но в то же время, возможно, это живет во мне непреодолимое чувство печали за судьбу моих собственных книг, собранных за многие годы на последние гроши. Что-то будет с ними, когда я уйду вслед за Наденькой? Это ведь мои дети, других детей у меня нет. Нельзя привязываться к вещам, вещи без хозяина тоже остаются в одиночестве...

Так и не найдя книгу, я переместился из библиотеки в просторное помещение — школьный зал, превратившийся мгновенно в контору ДЭЗ. За столом сидела дама средних лет.

— Извините, — сказал я, — мне надо идти на встречу с одноклассниками. Нужна справка, что я — это я. Дайте.

— Как же я ее дам, если у вас нет официального запроса? Или хотя бы справки от ваших родителей, что вы есть вы. Принесите от них подтверждение...

— Но они давно умерли!

— А вы попросите хорошенько.

— Я ветеран войны, мне положено, — сказал я.

— Что вам положено?

— Что? Что? — воскликнул я. — Чтобы мастер подстриг меня без очереди.

— Но вы же видите: в кресле клиент...

Действительно, в кресле сидел мужчина с намыленным лицом. Как я очутился в парикмахерской, не знаю, но этим клиентом в кресле оказался я сам, а некто неопределенный начальственно говорил:

— Я ждать не могу.

— Человек сидит, не видите? — сказала парикмахер.

— Где? Какой человек? Не вижу никакого человека.

— А я? — спросил я, робея.

— Вы? Человек? Интересно! Ну-ка встань!

Я встал.

— Ну-ка сядь!

Я сел.

— Встань. Сядь. Встань. Сядь. Ты — Пиноккио. Кукла. А не человек...

Тут я пробудился от этой фантасмагории...

...Пора было отправляться к Клаве.

Жила Клава на Садовой возле кинотеатра «Форум» в однокомнатной квартире, которая казалась просторной из-за того, что в ней было очень мало мебели — бельевой шкаф, диван, кресло-кровать для мальчика и обеденный стол. Окна наглухо закрыты и зимой и летом, открывались только форточки, потому что шум улицы заглушал даже голоса в квартире.

Кинотеатр «Форум» был приметой нашего детства и юности, из последних могикан старого, довоенного времени, такой же, как «Художественный» на Арбатской площади, «Центральный» на Пушкинской, «Москва» на площади Маяковского, называвшийся когда-то «Горы». Многие другие давным-давно позакрывались или были снесены, а эти еще долго напоминали старым москвичам незабвенную пору, когда в фойе перед сеансом можно было спокойно посидеть, послушать известный оркестр под управлением Цфасмана, например, или Утесова, популярных певцов — Вадима Козина, Клавдию Шульженко, а то и саму Лидию Русланову. Или уединиться в тихом уголке, почитать газету или выпить коктейль из соков с непревзойденным пирожным «Наполеон». Все это кануло в вечность, как и наша юность, как духовые оркестры, книжные базары на московских бульварах.

Я пришел, когда все уже сидели за столом. Боря, Борис Андреевич Круглов, сотрудник какого-то таинственного ведомства, занимающегося, по-моему, космическими проблемами, веселый человек, здоровяк, кладезь анекдотов и тостов — что называется « душа общества» — и в то же время из всех нас самый закрытый человек: ничего о себе, о работе, вроде бы генерал, вроде бы лауреат, обладатель высоких степеней и званий. Викентий Викентьевич Белоусов — полковник в отставке, вечно простуженный, с завязанным вокруг шеи шерстяным шарфом. Светлана, бывшая моя любовь, постаревшая после нашего последнего сборища и потерявшая свою респектабельность, на лице ее лежала печать тяжелой болезни. Антон Павлович Мценский — бывший оперный артист, лет пятнадцать назад

утративший голос после операции щитовидной железы. Мценский — не псевдоним, он детдомовец, там и дали ему эту фамилию, когда подобрали младенцем на станции Мценск под Орлом. Еще Дима был, Дмитрий Петрович Евгенов, профессор, доктор философских наук, писавший в юности стихи «под Маяковского». Были еще две подружки — Валя, Валентина Яковлевна Снегирева, бухгалтер, и Катя, Екатерина Гургеновна Якушина, бывшая медсестра из «Скорой помощи». И, наконец, Коля и Даша, супруги, поженившиеся сразу же после окончания десятого класса — Николай Пантелеймонович и Дарья Михайловна Васильевы. Он начальник строительства где-то на Севере, она воспитательница в детском саду. У нас в классе было два Коли, Васильев и Ильюхин, прозванные Васильком и Ильей Муромцем. Илья Муромец погиб на фронте, как и многие наши одноклассники, а Васильку повезло: прошел войну без ранения.

Сначала все было, как всегда, говорили о детях, о болезнях, вспоминали ушедших из этого мира, смеялись анекдотам Бори Круглова и, может быть, так и разошлись бы, поиграв друг перед другом в бодрящихся престарелых школьников, если бы наивно восторженная Клава, отправившая своего Сенечку к соседям, не заявила бы торжественно:

— Какие мы все же счастливые: дожили до нынешних перемен. Слава богу, мой Сенечка не увидит того, что пришлось увидеть нам. Давайте выпьем за новые, добрые времена!

Она воскликнула это, сияя своей детской улыбкой. Бог мой, как все же малоестественна эта детскость на старческом лице, но Клавочка всегда была такой, всегда простодушно улыбающейся, мягкой, доверчивой и легко уязвимой.

— Поддерживаю! Выпьем! — сказала Валя Снегирева.

— Итак, за новые времена! — Боря Круглов разлил вино по рюмкам.

— А у моего сына в НИИ весь отдел пишет курсовую работу дочери директора, студентке, живущей в Минске, — бесстрастно сказала Светлана. — Давайте выпьем за ее здоровье и за здоровье директора НИИ!

— Как тебя понимать? — спросила Клава.

— А никак. Чем меньше понимаешь, тем лучше, но умей приспосабливаться.

— Ты серьезно? — спросила Клава. — К чему это ты?

— Ну что, пьем или нет? — спросил Боря Круглов. — Коля Василек, ты что насупился? Давай чокнемся! За новые времена!

— Не надо, пожалуйста, — вдруг с отчаянием в голосе воскликнула Даша и быстро взглянула на мужа, который сидел напрягшись, опустив голову, желваки ходили на скулах. — Ты только не заводись, Коля, умоляю...

— Не бойся, не заведусь, — сказал Василек, — могу и выпить. Но за что вы хотите пить? А? Разве что-нибудь произошло? Ничего, в сущности, не изменилось. Слов много, дел мало. Я устал от этих слововерчений. Задыхаюсь от обилия бумаг. Циркуляры, отчеты, директивы, еще больше их стало. У меня должность такая — за все в ответе, увы. Не только за план, а за все, народ ко мне валит с претензиями. От нас до Москвы далеко, там провинция. Нет колбасы — я виноват, сахара нет — я виноват, холод в домах, самолеты не летают, муж с женой поругался — все ко мне. Водки нет — я виноват, есть водка — жены криком кричат, и опять я в ответе. А бездельников не убавилось, прибавилось бездельников, все трясутся за свое место, а дело не делают. Сокращаются и тут же укрупняются. Ломать надо решительно, жестко чиновничью мимикрию.

— Не сразу ведь Москва строилась, — сказал Дима Евгенов. — Да, конечно, рутина заедает, но разве не расчищаются авгиевы конюшни, которые мы сами же и создали? Многое меняется и изменится. Миллионы верят...

— Откуда у тебя такая самоуверенность, — прервал его Василек, — будто ты выражаешь мнение миллионов, а не собственное заблуждение?

— Да потому, что езжу по стране. Конечно, не все гладко, но ведь все полно надежд, сбрасывается плесень...

— Я тоже был полон надежд, но бестолковая суета задушила, болтовня... Я устал, смертельно устал. Обещаем, обещаем людям, а...

— Коля, успокойся! — взмолилась Даша.

— Оставь! — сказал он резко. — В самые тяжкие времена я не терял веру. И слепым не был, нет. Чего только не видел в жизни! И колючую проволоку, и смертельную малярию, когда строил Амгорский комбинат и мерз за Полярным кругом, дочь потерял там, горел на нефтепромыслах, людских страданий нагляделся и самоотверженности... Все видел... Не прерывай, Белоусов, не надо. Как я поверил в обновление!.. Но сейчас... такого чувства, как сейчас, не испытывал никогда, будто рушится последняя надежда... Я честно жил, честно служил, не угодничал, не приспосабливался, хотя, конечно, как и многие, виноват...

— Ну, в чем ты виноват? Не говори напраслину, Василек. Мы-то знаем тебя, — сказал я.

— Виноват я в том же, в чем и ты виноват, Виктор...

— Я? А я ни в чем не виноват, мне не в чем себя упрекнуть...

— Очень жаль. Чистая совесть бывает только у младенцев...

— Друзья, дорогие мои, ну хватит, к чему все это! — взмолилась Клава. — Собрались в кои-то веки. Все вы правы, все замечательные люди, но ведь все равно и без наших разговоров будет так, как должно быть, это же ясно, человек рождается в муках, а уж...

— Не рождается он в муках! — воскликнул Коля Васильев. — Это бедная мать страдает, вопит от боли, а ребенок... какие у него муки... Впрочем, да, Клава, если в муках, то и мучиться надо, если хотим родиться заново. Перестрадать надо, но я не вижу этих страданий. Каждый тычет пальцем в другого, вместо того чтобы в себя вглядеться...

— Не пойму, за что ты ратуешь, — сказал Дима Евгенов. — То ли тоскуешь о прошлом, то ли не веришь в обновление... Надо быть слепым, чтобы не видеть перемен, не чувствовать дыхания свежего воздуха, процесс очищения затронул все слои общества, высветил порочные, негативные явления...

— Какой же ты молодец, — поморщившись, прервал его Васильев, — уже усвоил газетные штампы, красиво говоришь, как на лекции... Между прочим, скажи, пожалуйста, какая тема была твоей кандидатской диссертации. Когда защищался? В пятьдесят первом? Да?

— Причем здесь моя диссертация?

— А тема докторской? Ты защитил ее в середине шестидесятых? Так?

— Оставь, — сказал Евгенов, — некрасиво.

— Почему некрасиво? Вспоминать, так уж все вспоминать. В пятидесятом ты писал, по-моему, о том, какую значительную роль в разгроме фашизма сыграл разгром классовых врагов внутри страны перед Отечественной войной. Так? Или ошибаюсь? А в докторской ты проследил исторический вклад в марксистско-ленинскую науку героя Малой Земли. Разве не это фундамент твоего научного имени? Ныне ты снова на коне, толкуешь о живительных переменах...

— Нехорошо, Николай, — с горечью сказал Евгенов, — стыдно. Ну, что ты хочешь от меня?

— Ничего. Может быть, покаяния.

— Мне не в чем каяться. Да, да. Я солдат партии и служил ей верой и правдой... Не надо меня обличать, я всегда был искренен и никогда не лгал. Ошибался? Да. Но это не только моя трагедия.

— Замолчи! — вдруг почти крикнул молчавший до этого Викентий Белоусов. — В чем ему стыдиться, Васильев? А ты не бей себя в грудь. Нет никакой трагедии — ты был прав, и не меняй убеждений. Да, были классовые враги и сейчас есть, и земля Малая полита кровью... А вот сейчас... сейчас перечеркивается вся ваша жизнь, предается анафеме все самое святое, что было... Нет, не ваши отцы и матери нищую Россию превратили в индустриальную страну, не вы победили в Отечественной? Города строили, заводы, космос покоряли? Не вы, нет, а какие-то слепые, обманутые, бездуховные, трусливые исполнители злой воли мифического тирана. Винтики? Да, винтики — в великой машине, которая преобразовывала мир. От вашей говорильни рушатся все ценности, добытые вашим же потом и кровью... Свобода говорить все ведет прямо к свободе делать все. Это скорее истина...

— Между прочим, — прервал его Коля Василек, — другая старая

истина гласит, что человек предпочитает самую бурную свободу безмятежному порабощению.

— А ну вас всех! — сказал Белоусов. — Черт с вами!

Он налил полный стакан водки, выпил, не поморщившись, не закусив, и отошел, сел у окна в кресло, с брезгливой гримасой смотря на всех нас, сидящих за столом. Так, между прочим, и просидел все время, не произнеся уже ни одного слова.

— Милые, дорогие, — вдруг сказал печальным растроганным голосом со слезами на глазах Антон Мценский. — Родные вы мои, не надо ссор... Жизнь прекрасна, человек прекрасен. Надо верить в красоту человека, нельзя быть мизантропом. Не обличайте друг друга, не судите ближнего. Так легко видеть грехи других, а свои трудно. Не надо, не ссорьтесь, дорогие.

— Антоша, милый, — воскликнула Клава, — ты всегда был не от мира сего, такой миротворец, за это я ведь тебя и любила...

— Ты меня любила, Клавочка? — печально вздохнул Мценский. — Вот и награда, ведь меня никто не любил, так и прожил я пустой, не получив ни от кого ответных чувств... Спасибо, Клавочка... Послушайте, дорогие... Впрочем, я запутался... Что я хотел сказать?.. Нет, не помню... Все мы люди, человеки... Выход у нас один: шагать вместе, сомневаться, верить и шагать вперед... А иначе как же жить?

— Что правда, то правда: как жить? Я уже так жить не могу. — Васильев взмахнул рукой, задел рюмку, и она упала со звоном на пол. — Извини, Клава. — Он нагнулся, стал собирать осколки.

— Ну что ты, Коля, уберу, — Клава бросилась к нему, хватая его за руки. — Ерунда, не надо, посуда к счастью бьется.

Даша с застылым лицом сидела, не двигаясь, глаза ее были полны слез.

— Правда, Коля, не надо, — сказала она наконец. — Клава уберет. Пойдем домой, мы и так засиделись.

— Пойдем, умница моя. — Он положил на тарелку осколки от рюмки, из ладони сочилась кровь. — Простите великодушно, ребята...

— Да что уж там... Только вот меня за что обидел? — сказал я, сам не зная, зачем сказал.

— Обидел? Ну, прости... — Он посмотрел на меня пристально, хотел что-то сказать, но не сказал, пошел в прихожую.

Уже стоя в дверях, обернулся, проговорил тихо:

— Не поминайте лихом, извините, не мне поучать, простите, и ты, Дима, прости...

Даша молча, вымученно улыбнулась всем нам, губы ее мелко задрожали, вот-вот заплачет, но не заплакала, ушла вслед за ним.

Мы еще посидели, но уже ничего не склеивалось, духота, что ли, повисла в комнате, и разговор не клеился, и еда не шла, и анекдоты Бори Круглова были совсем не смешны.

— У китов в складках кожи, — вдруг сказала Светлана, — на брюхе живут всякие паразиты, морские желуди, а на них другие, морские уточки, вши, кит плывет, плывет и тащит на себе сотни килограммов таких спутников...

— Что? — Клава с недоумением смотрела на нее. — Какой кит? Ты о чем?

— Так просто, — сказала Светлана, — просто так. А может, и не просто так... Может, многие люди — такие же уточки... Ну, я, например...

— Ну-с, господа, — сказал Боря Круглов, — пошли иносказания, а посему пора разбегаться...

Так и разошлись мы в какой-то неловкости, будто в тягость были друг другу. Натянуто улыбаясь, скованно пожимали руки, прощаясь.

— Господи, — удрученно говорила Клава, — столько еды осталось, торт еще не ели... Ну с собой хоть возьмите по кусочку, я так старалась.

Разошлись, не попробовав фирменного Клавиного торта.

Уже был первый час ночи, когда я вернулся домой.

В квартире пахло кофе. Михаил Николаевич Лебедев сидел на кухне в пижаме. Удивительное дело — такой аккуратист и в пижаме на кухне!

И чертил что-то в тонкой ученической тетради. Он глянул на меня отрешенно:

— Вы разве не дома? Гуляете? А я, извиняюсь, мыслю. Потрясающая идея и проста, как мир. Разгадал сон, Виктор Иванович. Памятник мне должны поставить на заводе за эту идею.

Я пожелал ему удачи, прошел к себе и сразу заснул. Спал легко, но проснулся от грохота за окном. Было раннее утро, а на улице, на знаменитом нашем многострадальном пустыре с грузовика четверо добрых молодцев сбрасывали кирпичи.

Будто знакомый сон мне снился. Все было как когда-то, не так уж и давно — тот же желто-белый кирпич, те же молодые матершинники весело кидали его на землю, осколки со стоном летели в разные стороны. Парни закончили свою работу, грузовик развернулся и укатил, увезя старательных молодцев, оставивших на пустыре беспорядочную гору из кирпичей.

Невыспавшийся, усталый Михаил Николаевич уже в костюме, при галстуке торопливо жарил яичницу.

— Опаздываю, почти до утра просидел... А мы с вами, значит, снова являемся свидетелями великого созидания под нашими окнами? Поздравляю. Но и меня поздравьте. Моя превосходная идея оказалась бесплодной. Не будет мне памятника на заводском дворе. Не вышло из меня Фридриха фон Штрадоница...

У меня дрожали руки, и весь я, как говорила Наденька, «вибрировал», так подействовала на меня эта кирпичная эпопея, я не стал варить кашу, выпил стакан чаю, спустился в подъезд к почтовому ящику за «Правдой», вернулся к себе, но читать не смог: рябь какая-то стояла от волнения перед глазами.

Полежал, потом прогулялся по улице туда-сюда и вроде бы успокоился. Но, возвращаясь назад, не поверил своим глазам: на пустыре снова стоял грузовик и снова возле него кипела бурная деятельность. С тех пор, как привезли кирпич, не прошло и четырех часов, но теперь его увозили, забрасывая с земли в кузов. Тот же грузовик, те же добрые молодцы...

Господи, что же это такое в самом деле?!

Я почти побежал домой, нашел райкомовский телефон и, когда мужской голос ответил: «Слушаю», стал, едва сдерживаясь, чтобы не кричать, торопливо рассказывать, что творится на нашем пустыре.

— Погоди, мужик, — раздалось в трубке, — ты куда звонишь? Это квартира. А вообще не бекай, не мекай. Тебе что, больше всех надо? Береги здоровье. Привет!

Он повесил трубку. А я... я, выпустив на него весь свой пар, внял этому совету, решив беречь здоровье. Кирпич, который утром привезли, снова увезли, и снова наш пустырь принял свой прежний вид, к давнему мусору прибавились разбросанные то тут, то там кирпичные крошки...

...Подождите, я передохну, чтобы дописать все, что случилось в этот день. Подождите. Мне надо набраться духу. Смелости надо набраться, если уж решился рассказывать все...

...Итак, дальше. Кирпич увезли, а я взял сумку и поплелся в магазин за молоком.

Как всегда в эти часы у прилавков толкучка, жители подмосковных городов и деревень, торопясь на электрички и с электричек, спешили отовариться колбасой и мясом, чтобы бежать в другие магазины за другой едой. Я купил свой пакет молока, когда вдруг из толпы у мясного прилавка раздался истошный женский вопль:

— Люди добрые, отдайте, у меня трое детей...

Еще молодая, еще не старая женщина с обветренным, усталым, но красивым, хотя и перекошенным от отчаяния лицом кричала, роясь в двух набитых продуктами сумках:

— Вот здесь они были, здесь! Люди, деньги возьмите, но отдайте, христа ради, талоны на сахар... Милые, добрые, как же я в деревню вернусь, как дома покажусь — завтра у нас сахар будут давать, отдайте талоны, отдайте, деньги возьмите, талоны отдайте. У меня дети, трое малых ребят...

Она протягивала к толпе руки, люди виновато, стыдливо отворачивались. Она и ко мне протянула дрожащие руки:

— Пожалуйста, отдайте...

Я не мог смотреть на нее, слышать ее вопль и выбежал из магазина почти стремительно, словно именно я и обворовал ее... Сколько раз в своей жизни я слышал этот отчаянный женский вопль в магазинной толпе — и во время войны, и после войны: «Украли карточки, карточки украли, ой, детушки мои, ой, погибель моя!» Так в сорок пятом кричала и Наденька, после чего мы долго жили впроголодь. Вот и стоит этот крик в моих ушах, не утихая до нынешних времен...

Я вернулся домой, выпил стакан молока и, чтобы хоть немного отвлечься, успокоиться, присел к столу, стал перебирать Наденькины бумаги, фотографии, школьные тетради, конспекты уроков. Вот несколько контрольных работ, написанных еще неустоявшимися юношескими почерками, на вольные темы. В некоторых вложены мои записочки, те, которые я писал, когда помогал Наденьке проверять тетради. Одну работу полистал, другую, но вот...

«В давние времена еще летописец Нестор писал, что страна наша богата и обильна, но порядка в ней нет. Между прочим, поэт Алексей Толстой взял эпиграфом эти слова к своему стихотворению об истории России. Я восхищаюсь поступком Петра Второго, который стал царем в 12 лет и обещал быть справедливым, помогать несчастным, бедным. Он разогнал тайную канцелярию, которая следила за всеми и нагоняла страх на людей. Ему было 14 лет, когда придворные интриганы решили его женить и во время охоты нарочно оставили наедине с княжной Долгорукой. Петру совсем не нравилась она, но Долгорукая, оставшись с ним наедине, была как бы скомпрометирована в глазах общественного мнения. Мальчик-царь поступил как настоящий благородный человек, решил жениться. Но простудился и умер в день, назначенный для свадьбы. Что-то я не вижу такого благородства среди нынешних юношей. Вообще у нас в стране как было, так и есть, ничего не меняется, в газетах и по телевизору одно, а в жизни другое. Как при царе Василии, сыне Ивана Третьего: никто на самом деле не говорит то, что думает, а говорит то, что в данное время положено говорить. Тогда врали народу, боялись сказать царю правду в глаза, все выдавали черное за белое, восхваляли царя за то, чего у него не было, за мудрость, доброту, справедливость. Царь Василий был плохой полководец, проигрывал сражения с большими потерями, но, когда возвращался из похода, все вокруг восхваляли его, пели дифирамбы, прославляли подвиги, которых не было, но которые он якобы совершал, кричали, что свои величайшие победы он достигал почти без крови, хотя гибли сотни людей. Давно все это было, но почему у нас повторяется теперь? И сейчас говорят одно, делают другое, льстят начальству, восхваляют бездарностей, сидящих на руководящих креслах. Кому это надо? Почему у нас даже сейчас, как сотни лет назад?..»

Здесь было отчеркнуто моей рукой, поставлен жирный вопросительный знак, а на полях написано: «Надя, пусть это лежит у тебя. Тебе нужны неприятности? Стоит ли разрешать такие доморощенные философствования и ассоциации? Стержня нет в голове».

Я тупо смотрел в тетрадь. Я не помнил ни этой работы, ни своей записи. Это было как удар: сама работа, мое обращение на полях к Наде беспощадно были похожи на Галино сочинение, на резолюцию неведомой учительницы на той Галиной тетради.

Нет, нет, зачем такие сопоставления, это кощунственно, не писал я так, не мой почерк, не мои мысли. Увы, мой почерк, моя запись. Это я, я написал так на полях контрольной работы какого-то Захарова пятнадцать лет назад...

До позднего вечера я промаялся в таком состоянии. Все вместе — и вчерашняя встреча у Клавы, и сегодняшний вопль несчастной женщины в магазине, и бессмысленная суета с кирпичами, и моя запись в школьной тетради — все это будто опустошило меня. Нет, не отчаяние испытывал я, а какую-то болезненную тоску, физически ощутимое чувство одиночества. Чтобы забыться, уйти от этих ощущений, я проглотил таблетку снотворного и заснул.

И — господи, невероятно — приснилось мне, будто перебираю я Наденькины тетради, раскладываю их в аккуратные стопочки, и вдруг слышу телефонный звонок, и бегу в коридор. Это Клава звонит.

— Витя, это ты? — рыдая, почти кричит она. — Витя! Ужасно! Застрелился Коля Василек...

— Кто? — в ужасе тоже кричу я...

И просыпаюсь. В комнате темно, за окном ночь, в дверь стучит Лебедев.

— Виктор Иванович, к телефону...

Мне страшно, я не могу рта раскрыть и подняться не могу.

— Виктор Иванович, — уже сильнее стучит в дверь Лебедев, — к телефону.

— Кто? — Я едва шевелю пересохшими губами.

— Дама... рыдает...

Сил нет, но я поднялся с дивана, запутался в тапочках, наткнулся на угол стола, больно ударился, зажег свет, выбрался в коридор и взял телефонную трубку.

— Да.

Но никто мне уже не ответил, из бесконечного пространства неслось жуткое «ту-ту-ту».

Хватит, больше писать нет сил.

Да и что еще я могу сказать? Только повторить слова Аполлония Тианского: «Слезы мешают мне писать далее, да я и не предполагал написать ничего важнее уже написанного...»

Господи, как я устал от своих сновидений, так похожих на действительность, и от действительности, похожей на мои сны...

1987 г.

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ

Новые стихи

ИЗ КНИГИ «ВПЛОТЬ»

* * *

Без конца и без края,
без лица и названья
опустевшего неба
опустившийся гнет,
и на бронзе вопросов —
патина пониманья,
и на прозе ответов
как на горле — налет.

* * *

Осень. Вечер не медлит.
С наступлением тьмы
даже звуки померкли,
потускнев, как огни,
когда вкруг излученья
стало вправду темно.
...Что ничтожней отчаянья,
коль ничтожно оно?

* * *

Не распахивая, как
летом — сжав людей в кулак, —
средь пространств и полумер
безответный дует ветр —
из таких он дует сил,
так решительно и резко,
будто что-то натворил
и желает отпереться.

* * *

Не свищет постовой.
Шипенье шин все глуше.
Что слышат в час ночной
имеющие уши?

Вот садик, вот цветник,
вот улочка, вот дом их,
вот яма для слепых,
друг дружкою ведомых.

* * *

Стена стволов,
кустов ли прутья.
Обрывки слов.
Обрывы круч.

И коль не путь —
хоть перепутье
дай, Боже, — пустошью
не мучь.

* * *

Были вы — воздух:
я слушал извне,
как этот отзвук
стихает во мне,
но словесами
вы стали, как есть...

чьими глазами
теперь вас прочесть? —
знаете сами,
я стал вам чужой —
чьими глазами?
чьею душой?

* * *

Так пышут златом купола,
холодным пышным златом,
так снежна даль сгорит дотла,
сожженная закатом,
так на устах не крови вкус —
потерянного рая...
Что испытал терновый куст,
горевший не сгорая?

* * *

Скажи, Бога ради,
вдруг былого лед
не растаял сзади,
а уплыл вперед,

и в грядущем только
дней прошедших наст
предательски тонко
поджидает нас?

* * *

А может быть, премудрый Боже,
душа и смерть — одно и то же —
один-единственный, но миг
в подушках влажных, чуть живых.

* * *

Как в детстве я любил бродить по кладбищу, что рядом
с Всехсвятской церковью (давно снесли его под дом),
и безымянные читать не имена, а буквы
и числа — сей кратчайший сказ о жизненном пути.
...К могилам гнулись дерева и бабушки в платочках,
и с фотографий на крестах, как прежде с лиц живых,
сошел румянец-анилин — казалось, загрубели
безликие черты: мороз, ненастье... И тогда
не понимал я, чем влеком я был к тому погосту,
что век не разомкнет уста, объятия крестов
век не сомкнет... и почему я вроде бы стыдился
прогулок этих средь могил горбатых, но теперь
я понимаю: дело в том, что я с т ы д и л с я с м е р т и —
казалось мне, я подсмотрел зазорное, и стыд
мой был младенчески глубок. Да: я стыдился смерти,
я и теперь ее стыжусь, коль с нею тет-а-тет.

Сергей ДОВЛАТОВ

Рассказы из книги «Чемодан»

Сергей Довлатов — известный русский писатель, живущий в изгнании. Насколько мне известно от автора, это первая значительная публикация его прозы на родине. Ему 47 лет, он родился в Уфе, жил в Ленинграде, в Таллинне, живет в Нью-Йорке, выпустил двенадцать русских книг, пять из которых переведены на английский и другие европейские языки.

«Я многого жду от вас и от ваших произведений. Вы обладаете большим талантом, который готовы отдать этой безумной стране. Мы счастливы, что вы здесь.

Ваш коллега Курт Воннегут».

В один прекрасный солнечный день встретила я Довлатова в Таллинне, где он работал в газете «Советская Эстония» и ждал, что вот-вот издательство «Ээсти раамат» выпустит в свет его первую книгу прозы. Это был молодой, могучего роста и блестящего остроумия лирик, выдававший себя за сугубо заземленного, видавшего виды «бытового» сатирика. Позднее он напишет в смешной и горькой повести «Иностранка»: «Тут я умолкаю. Потому что о хорошем говорить не в состоянии. Потому что нам бы только обнаруживать везде смешное, унизительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться». В этой цитате вместо слова «везде» следует читать «в себе», поскольку: «Все, что случилось, мною пережито. Я — мстительный, приниженный, бездарный, злой, какой угодно — автор. Те, кого я знал, живут во мне. Они — моя неврастения, злость, апломб, беспечность. И т. д.».

Такие вот сокрушительные саморазносы, такое выставление автора напоказ в самом что ни на есть неприглядном свете встречаются в прозе Довлатова сплошь да рядом, являя примеры и образцы не только творческой его самобытности, но и самой настоящей контрабанды — с точки зрения авторитарной критики и авторитарного подхода к личности, поскольку в авторитарном обществе лишь соответствующие власти и соответствующие лица обладают преимущественным правом разоблачать писателя и выносить ему приговор. Довлатов был «о хорошем говорить не в состоянии», а времена ухудшались неукротимо, и в 1975 году соответствующие лица дали команду рассыпать набор его первой книги, чтобы впредь не очернял ни себя самого, ни нашу светлую...

«Последующие три года были отмечены крушением всех творческих надежд, и в результате мои рассказы оказались на Западе». В этом результате нет ничего удивительного,— у нас ведь можно быть нечитаемым, издавая три книги в год, а можно быть вполне знаменитым, не издав ни одной. Довлатов не издавался, но прозу его знали многие. Мы переписывались, и время от времени он присылал мне рассказы и повести, которые я — каюсь, без его ведома! — предлагала во всевозможные «толстые» и «тонкие» журналы, а там читали их с большим интересом и откладывали до лучших времен. Довлатов упорно сочинял «в стол», но столь же упорно сочинялись и множились инструкции, согласно которым любой редактор утрачивал «бдительность» и работу, напечатав такую прозу.

Меж тем Довлатов никогда не был ни диссидентом, ни писателем политическим, ни даже авангардистом.

Его область — чисто художественная, он обладает чаплинской зоркостью, чаплинским чувством смешного и жалкого, а в лучших своих вещах достигает чаплинского лиризма и поэтичности. Для меня очевидно, что язык кинематографа сильнейшим образом повлиял на Довлатова в его творческой юности, когда он искал свой образ мира и в нем свой собственный образ.

Сегодня Сергей Довлатов — один из самых талантливых прозаиков, одно из самых ярких имен русского зарубежья. Он плодотворен и соответственно издается, о нем пишут без принуждения, его читают и переводят.

Его любил такой взыскательный и такой широкий читатель, как Виктор Некрасов. «Наиболее сносной из всех моих книг я считаю повесть «Чемодан». Один не очень требовательный критик писал, что она смешная и печальная»,— говорит в своей обычной «очернительской» манере Довлатов на страницах третьего номера нашей «Иностранной литературы», впервые представляясь столь широкому и столь долгожданному читателю.

Обретая рассказы из «Чемодана», одной из лучших довлатовских книг, написанной в худшие времена, мы смехом сквозь слезы возвращаем себе сладостную свободу Великого Удивления: «Неужели и это было нельзя?..»

Странным образом вдруг вспоминаю: Довлатов Сергей Донатович... Синявский Андрей Донатович... «Донатор» на латинском — даритель, а «донатус» — принесенный в дар. Оба значения в полной мере соответствуют столь разным судьбам столь разных русских писателей,— ведь за всех нас решили, что мы нисколько не обеднеем, освобождаясь от этих даров и чохом швырнув их в дар кому ни попадя, лишь бы избавиться.

«Строго говоря, каждый из нас живет не в Москве или в Нью-Йорке, а в языке и в истории» — прав Сергей Донатович. Но, говоря еще строже, ни один современный писатель не может жить там, где его не печатают. И даже если он там живет, все равно — жить он там не может.

«Веришь ли, я иногда почти кричу:

— О, Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!» — все в той же повести «Иностранка» пишет своей героине в прощальном письме этот автор, некогда брошенный в дар прожорливой Неизвестности, этот русский писатель, осчастлививший даром своим знаменитого у нас Воннегута и по вине безымянных дарителей пока не издавший на родине ни одной своей книги.

...И честно ли спрашивать: «А как там у вас с ностальгией?..»

Юнна МОРИЦ

...Но и такой, моя Россия,
ты всех краев дороже мне...

Александр БЛОК

Предисловие

В ОВИРе эта стерва мне и говорит:

— Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства.

Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил:

— Всего три чемодана?! Как же быть с вещами?

— Например?

— Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?

— Продайте,— не вникая, откликнулась чиновница.

Затем добавила, слегка нахмурив брови:

— Если вы чем-то недовольны, пишите заявление.

— Я доволен,— говорю.

После тюрьмы я был всем доволен.

— Ну, так и ведите себя поскромнее...

Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана.

Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате — один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?

Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом.

Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями.

Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил.

Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой.

Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: «Младшая группа. Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась.

Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджиду ногтями. В результате только поцарапал.

А Бродского не тронул. Всего лишь спросил — кто это? Я ответил, что дальний родственник.

Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать.

Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл.

Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты. В Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио». Затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку.

Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула:

— Иди сейчас же в шкаф!

Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю:

— Тебе было страшно? Ты плакал?

А он говорит:

— Нет. Я сидел на чемодане.

Тогда я достал чемодан. И раскрыл его.

Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше — поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними — вельветовая куртка на искусственном меху. Слева — зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И наконец — кожаный офицерский ремень.

На дне чемодана лежала страница «Правды» за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению — жить!» В центре — портрет Карла Маркса.

Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно — Маркса. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже...

Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл Маркс. На крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная, единственная жизнь.

Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал: неужели это все? И ответил — да, это все.

И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим — «Что я нажил?» Или, скажем, просто — «Чемодан»...

Но, как всегда, предисловие затянулось.

Приличный двубортный костюм

Я и сейчас одет неважно. А раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне:

— Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест...

В редакциях, где я служил, мной тоже были часто недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался:

— Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака.

— Я был в куртке.

— На вас была какая-то старая ряса.

— Это не ряса. Это заграничная куртка. И, кстати, подарок Леже.

(Куртка и вправду досталась мне от Фернана Леже. Но эта история — впереди.)

— Что такое «леже»? — поморщился редактор.

— Леже — выдающийся французский художник. Член коммунистической партии.

— Не думаю! — сказал редактор, потом вдруг рассердился: — Хватит! Вечные отговорки! Все не как у людей! Извольте одеваться как подобает работнику солидной газеты!

Тогда я сказал:

— Пусть мне редакция купит пиджак. Еще лучше — костюм. А галстук, так и быть, я сам куплю...

Редактор хитрил. Ему было совершенно все равно как я одеваюсь. Дело было не в этом. Все объяснялось просто.

Я был самым здоровым в редакции. Самым крупным. То есть, как уверяло меня начальство,— самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца,—«наиболее репрезентативным».

Если умирала какая-то знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны. А потому, что ненавидел газетную работу...

— Нахальство,— сказал редактор.

— Ничего подобного,— говорю,— законное требование. Железнодорожникам, например, выдается спецодежда. Сторожам — тулупы. Водолазам — скафандры. Пускай редакция мне купит спецодежду. Костюм для похоронных церемоний.

Редактор наш был добродушным человеком. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Да и времена были тогда сравнительно либеральные.

Он сказал:

— Давайте примем компромиссное решение. Вы подготовите до нового года три социально значимых материала. Три статьи широкого общественно-политического звучания. И тогда редакция премирует вас скромным костюмом.

— Что значит — скромным? Дешевым?

— Не дешевым, а черным. Для торжественных случаев.

— О'кей,— говорю,— запомним этот разговор...

Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу:

— Белорус не годится. Белорусов навалом. Узбека мне давай или, на худой конец, эстонца... Хотя нет, погоди, эстонец вроде бы есть... Зато молдаванин под сомнением... Что?.. Рабочий отпадает, пролетариев достаточно... Давай интеллигента либо сферу обслуживания. А самое лучшее — военного. Какого-нибудь старшину... В общем, действуй!

Безуглов поднял другую трубку:

— Але... Срочно нужен узбек. Причем любого качества, хоть тунеядец... Постарайся, голубчик, век не забуду...

Я поздоровался и спрашиваю:

— Что это за интернационал?

Безуглов говорит:

— Скоро День Конституции. Вот мы и решили дать пятнадцать очерков. По числу союзных республик. Охватить представителей разных народов.

Безуглов вынул сигареты и продолжал:

— С русскими, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузина нашли в медицинской академии. Азербайджанца — на мясокомбинате. Даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами — завал. Где я возьму узбека?!

— В Узбекистане,— подсказал я.

— Какой ты умный! Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же — сроки. Не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходованы... Короче, хочешь заработать пятьдесят рублей?

— Хочу.

— Я так и думал... Найди мне узбека, выпишу полтинник. Набавлю как за вредность...

— У меня есть знакомый татарин.

Безуглов рассердился:

— Зачем мне татарин?! У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика... Короче, найди мне узбека. Киргиза и туркмена я уже распределил между внештатниками. Таджик вро-

де бы есть у Сашки Шевелева. Казаха ищет Самойлов. И так делее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело?

— Ладно,— говорю,— но я тебя предупреждаю. Очерк будет социально значимым. С широким общественно-политическим звучанием.

— Ты выпил? — спросил Безуглов.

— Нет. А у тебя есть предложения?

— Что ты,— замахал руками Безуглов,— исключено. Я пью только вечером... Не раньше часу дня...

Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска.

Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть могли быть осложнения с гостиницей.

Обращаюсь к Безуглову:

— Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей?

— Естественно,— закричал Безуглов,— конечно! Сколько угодно! Все будут только рады. Квартира у них — громадная. Батя — член-корреспондент, мамаша — заслуженный деятель искусств... Угостят тебя домашними пельменями... Единственное условие: не проговорись, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет — позор семьи!..

— Ладно,— говорю,— поищу тебе узбека.

Я начал действовать. Перелистал записную книжку. Позвонил трем десяткам знакомых. Наконец один приятель, трубач, сообщил мне:

— У нас есть тромбонист Балиев. По национальности — узбек.

— Прекрасно,— говорю,— дай мне номер его телефона.

— Записывай.

Я записал.

— Он тебе понравится,— сказал мой друг.— Мужик культурный, начитанный, с юмором. Недавно освободился.

— Что значит — освободился?

— Кончился срок, вот его и освободили.

— Ворюга, что ли? — спрашиваю.

— Почему это ворюга? — обиделся друг.— Мужик за изнасилование сидел...

Я положил трубку.

В ту же минуту звонок Безуглова:

— Тебе повезло,— кричит,— нашли узбека. Мищук его нашел... Где? Да на Кузнечном рынке. Торговал этой... как ее... хохломой.

— Наверное, пахлавой?

— Ну, пахлавой, какая разница... А мелкий частник — это даже хорошо. Это сейчас негласно поощряется. Приусадебные наделы, личные огороды и все такое...

Я спросил:

— Ты уверен, что пахлава растет в огороде?

— Я не знаю, где растет пахлава. И знать не хочу. Но хорошо знаю последние инструкции горкома... Короче, с узбеком порядок.

— Жаль,— говорю,— у меня только что появилась отличная кандидатура. Культурный, образованный узбек. Солист оркестра. Недавно с гастролей вернулся.

— Поздно. Прибереги его на будущее. Мищук уже статью принес. А для тебя есть новое задание. Приближается День рационализатора. Ты должен найти современного русского умельца, потомка знаменитого Левши. Того самого, который подковал английскую блоху. И сделать на эту тему материал.

— Социально значимый?

— Не без этого.

— Ладно,— говорю,— попытаюсь...

Я слышал о таком умельце. Мне говорил о нем старший брат, работавший на кинохронике.

Жил старик на Елизаровской, под Ленинградом, в частном доме. Найти его оказалось проще, чем я думал. Первый же встречный указал мне дорогу.

Звали старика Евгений Эдуардович. Он реставрировал старинные автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавливал первоначальный облик машины. Затем проделывал огромную работу. Вытачивал, клеил, никелировал.

Он возродил десятки старинных моделей. Среди его творений были «Олдсмобили» и «Шевроле», «Пежо» и «Форды». Разноцветные, сверкающие кожей, медью, хромом, неуклюже изысканные, они производили яркое впечатление.

Причем все эти модели были действующими. Они вибрировали, двигались, гудели. Слегка раскачиваясь, обгоняли пешеходов. Это было сильное, почти цирковое зрелище.

За рулем восседал хозяин, Евгений Эдуардович. Его старинная кожаная тужурка лоснилась. Глаза были прикрыты целлулоидными очками. Широчайшее кепи дополняло его своеобразный облик.

Кстати, он был чуть ли не первым российским автомобилистом. Сел за руль в двенадцатом году. Некоторое время был личным шофером Родзянко. затем возил Троцкого, Кагановича, Андреева. Возглавил первую российскую автошколу. Войну закончил командиром бронетанкового подразделения. Удостоился многих правительственных наград. Естественно, сидел. В преклонные годы занялся реставрацией старинных автомобилей.

Продукция Евгения Эдуардовича демонстрировалась на международных выставках. Его модели использовали на съемках отечественные и зарубежные кинематографисты. Он переписывался на четырех языках с редакциями бесчисленных автомобильных журналов.

Если машины участвовали в киносъемках, хозяин сопровождал их. Кинорежиссеры обратили внимание на импозантную фигуру Евгения Эдуардовича. Поначалу использовали его в массовых сценах. Затем стали поручать ему небольшие эпизодические роли. Он изображал меньшевиков, дворян, ученых старого закала. В общем, стал еще и киноактером...

Я провел на Елизаровской двое суток. Мои записи были полны интересных деталей. Мне не терпелось приступить к работе.

Приезжаю в редакцию. Узнаю, что Безуглов в командировке. А ведь он говорил мне, что командировочные фонды израсходованы.

Ладно... Захожу к ответственному секретарю газеты Боре Минцу. Рассказываю о своих планах. Сообщаю наиболее эффектные подробности.

Минц говорит:

— Как фамилия?

Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича.

— Холидей,— отвечаю,— Евгений Эдуардович Холидей.

Минц округлил глаза.

— Холидей? Русский умелец — Холидей? Потомок Левши — Холидей?! Ты шутишь!.. Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия?

— Минц, по-твоему, лучше?.. Не говоря о происхождении...

— Хуже,— согласился Минц,— бесспорно, хуже. Но Минц при этом — частное лицо. Про Минца не сочиняют очерков к Дню рационализатора. Минц не герой. О Минце не пишут...

(Я тогда подумал — не зарекайся!)

Он добавил: «Лично я не против англичан».

— Еще бы,— говорю...

Мне вдруг стало тошно. Что происходит? Все не для печати. Все кругом не для печати. Не знаю, откуда советские журналисты черпают темы!.. Все мои заказы — неосуществимые. Все мои разговоры — не телефонные. Все знакомства — подозрительные...

Ответственный секретарь говорит:

— Напиши про мать-героиню. Найди обыкновенную, скромную мать-героиню. Причем с нормальной фамилией. И напиши строк двести пятьдесят. Такой материал всегда проскочит. Мать-героиня — это вроде беспроигрышной лотереи...

Что мне оставалось делать? Все-таки я штатный журналист.

Опять звоню друзьям. Приятель говорит:

— У нашей дворничихи — целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное.

— Это неважно.

— Ну, тогда приезжай.

Еду по адресу.

Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер Холидей! Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах. Кругом возились оборванные, неопрятные ребятишки. Самый маленький орал в фанерной люльке. Девочка лет четырнадцати мрачно рисовала пальцем на оконном стекле.

Я объяснил цель моего прихода. Лидия Васильевна оживилась:

— Пиши, малый, записывай... Уж я постараюсь. Все расскажу народу про мою собачью жизнь.

Я спросил:

— Разве государство вам не помогает?

— Помогает. Еще как помогает. Сорок рублей нам положено в месяц. Ну и ордена с медалями. Вон на окне стоит полная банка. На мандарины бы их сменять, один к четырем.

— А муж? — спрашиваю.

— Который? У меня их целая рота. Последний за «Солнцедаром» ушел да так и не вернулся. С год тому назад...

Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине?

Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти в следующий раз.

Звонить было некому. Все опротивело. Я подумал: не уволиться ли мне в очередной раз? Не пойти ли грузчиком работать?

Тут жена говорит мне:

— В подъезде напротив живет интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми. Их у нее человек десять... Ты узнай... Я забыла ее фамилию — на ша...

— Шварц?

— Да нет, Шаповалова... Или Шапочникова... Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении.

Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался:

— Подчиненных у меня — двенадцать гавриков, а за вином отправить некого...

Когда я заговорил об этой самой даме, Михеев почему-то насторожился:

— Не знаю... Поговорите с ней лично. Зовут ее Шапорина Галина Викторовна. Квартира — двадцать три. Да вон она гуляет с малышами. Только я здесь ни при чем. Меня это не касается...

Я направился в сквер. Галина Викторовна оказалась благообразной, представительной женщиной. В советском кино такими изображают народных заседателей.

Я поздоровался и объяснил, в чем дело. Дама сразу насторожилась. Заговорила в точности как наш управдом:

— В чем дело? Что такое? Почему вы обратились именно ко мне?

Мне стало все это надоедать. Я спрятал авторучку и говорю:

— Что происходит? Чего вы так испугались? Не хотите разговаривать — уйду. Я же не хулиган.

— Хулиганы мне как раз не страшны,— ответила дама.

Затем продолжала:

— Мне кажется, вы интеллигентный человек. Я знаю вашу матушку и знала вашего отца. Я полагаю, вам можно довериться. Я расскажу, в чем дело. Хулиганов я, действительно, не боюсь. Я боюсь милиции.

— Но меня-то,— говорю,— чего бояться? Я же не милиционер.

— Но вы журналист. А в моем положении рекламировать себя более чем глупо. Разумеется, я не мать-героиня. И ребятишки эти не мои. Я организовала что-то вроде пансиона. Учу детей музыке, французскому языку, читаю им стихи. В государственных яслях дети болеют, а у меня — никогда. И плату я беру самую умеренную. Но вы догадываетесь, что будет, если об этом узнает милиция? Пансион-то, в сущности, частный...

— Догадываюсь,— сказал я.

— Поэтому забудьте о моем существовании.

— Ладно,— говорю.

Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические. Рублей шестнадцать. Тут не до костюма. Лишь бы не уволили...

Тем не менее костюм от редакции я получил. Строгий двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Дело было так.

Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Манюня Хлопина твердила:

— Да пригласи же ты меня в ресторан! Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь!

Мне приходилось вяло оправдываться:

— Я ведь и не живу с тобой.

— А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача — «Щедрый гектар»! А твоя?

— А моя — «Есть ли жизнь на других планетах?»

— Не думаю,— вздыхала Хлопина,— и здесь-то жизнь собачья...

В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека.

Он был в элегантном костюме, при галстуке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка.

Скажу, забегая вперед, что незнакомец был шпионом. Просто мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему-то считали латышами.

Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом.

Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине. Уговорил парторга сыграть в шахматы. В кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия.

Тут мне хотелось бы отвлечься. Я убежден, что почти все шпионы действуют неправильно. Они зачем-то маскируются, хитрят, изображают простых советских граждан. Сама таинственность их действий подозрительна. Им надо вести себя гораздо проще. Во-первых, одеваться как можно шикарнее. Это внушает уважение. Кроме того, не скрывать заграничного акцента. Это вызывает симпатию. А главное — действовать с максимальной бесцеремонностью.

Допустим, шпиона интересует новая баллистическая ракета. Он знакомится в театре с известным конструктором. Приглашает его в ресторан.

Глупо предлагать этому конструктору деньги. Денег у него хватает. Нелепо подвергать конструктора идеологической обработке. Он все это знает и без вас.

Нужно действовать совсем иначе. Нужно выпить. Обнять конструктора за плечи. Хлопнуть его по колену и сказать:

— Как поживаешь, старик? Говорят, изобрел что-то новенькое? Черкника мне на салфетке две-три формулы. Просто ради интереса...

И все. Шпион может считать, что ракета у него в кармане...

Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли. Хоть и переглядывались с некоторым удивлением.

Звали его — Артур.

В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит:

— Простите, я думал, это есть уборная.

Я сказал:

— Идем. Нам по дороге.

В сортире шпион испуганно оглядел наше редакционное полотенце. Достал носовой платок.

Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене и заехали в «Кавказский».

Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттена и живопись тридцатых годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал:

— Живопись Пикассо — это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта—катастрофическая феерия...

Я поинтересовался:

— Ты бывал на Западе?

— Конечно.

— И долго там прожил?

— Долго. Сорок три года. Если быть точным, до прошлого вторника.

— Я думал, ты из Латвии.

— Я швед. Это рядом. Хочу написать книгу о России...

Расстались мы поздно ночью возле гостиницы «Европейская». Договорились встретиться завтра.

Наутро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком над ушами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы.

Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана.

— Знакомьтесь,— сказал редактор,— представитель Комитета государственной безопасности майор Чиляев.

Я вежливо приподнялся. Майор — без улыбки — кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира.

В поведении редактора я наблюдал — одновременно — сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил: «Ну что? Доигрался?! Теперь уж выкручивайся самостоятельно. А ведь я предупреждал тебя, дурака...»

Майор заговорил. Резкий голос не соответствовал его утомленному виду.

— Знаете ли вы Артура Торнстрема?

— Да,— отвечаю,— вчера познакомились.

— Задавал ли он какие-нибудь провокационные вопросы?

— Вроде бы нет. Он вообще не задавал мне вопросов. Я что-то не припомню.

— Ни одного?

— По-моему, ни единого.

— С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились?

— Я сидел у машинисток. Он вошел и спрашивает...

— Ах, спрашивает? Значит, все-таки спрашивает?! О чем же, если не секрет?

— Он спросил — где здесь уборная?

Майор записал эту фразу и добавил:

— Советую вам быть повнимательнее...

Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Чиляева интересовало все. Что мы ели? Что пили? О каких художниках беседовали? Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную...

Майор настаивал, чтоб я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем? Поглядывает ли на женщин? Похож ли на скрытого гомосексуалиста?

Я отвечал подробно и добросовестно. Мне было нечего скрывать.

Майор сделал паузу. Чуть приподнялся над столом. Затем слегка возвысил голос:

— Мы рассчитываем на вашу сознательность. Хотя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем о вас, более чем противоречивы. Конкретно — бытовая неразборчивость, пьянка, сомнительные анекдоты...

Мне захотелось спросить — что же тут противоречивого? Но я сдержался. Тем более что майор вытащил довольно объемистую папку. На обложке была крупно выведена моя фамилия.

Я не отрываясь глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома.

Майор продолжал:

— Мы ждем от вас полнейшей искренности. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание?.. А главное, помните — нам все известно. Нам все известно заранее. Абсолютно все...

Тут мне захотелось спросить: а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах?!

Майор тем временем спросил:

— Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня?

— Вроде бы,— говорю,— должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел.

— Ни в коем случае,— привстал майор,— идите. Непременно идите. И все до мелочей запоминайте. Мы вам завтра утром позвоним.

Этого, подумал я, мне только не хватало!

— Не могу,— говорю,— есть объективные причины.

— То есть?

— У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы.

— Почему же у вас нет костюма? — спросил майор.— Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты.

— Зарабатываю мало,— ответил я.

Тут вмешался редактор:

— Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать.

— У меня,— говорю,— нестандартный размер.

— Ничего,— сказал редактор,— я позвоню директору универмага...

Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом. И раза четыре, когда меня делегировали на похороны...

А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом. Выразителем интересов правого крыла.

Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали.

Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно.

Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул, что стены имеют уши...

Швед не понял. Короче, я тут ни при чем.

Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ.

Куртка Фернана Леже

Эта глава — рассказ о принце и нищем.

В марте сорок первого года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я.

Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой.

Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец — рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста.

Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Феллини и де Сика. Талант моего отца вызывал сомнение даже у его родителей.

Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного.

У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма.

Их жены дружили. Даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт.

Мать была рядовой актрисой, затем корректором и, наконец, пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра.

Разумеется, у Черкасовых были друзья из высшего социального круга: Шостакович, Мравинский, Эйзенштейн... Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых.

Всю жизнь они чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платья и туфли.

Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно.

Черкасов ощутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь.

Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска. У меня — отечественного производства.

Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война.

Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронверкской улице. Мы — в коммуналке на улице Рубинштейна.

Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники. Праздновали все дни рождения.

Я ездил с матерью на Кронверкскую трамваем. Андрюшу привозил шофер на трофейной машине «Бугатти».

Мы с Андрюшей были одного роста. Примерно одного возраста. Оба росли здоровыми и энергичными.

Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее.

Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки.

К Андрюше была приставлена очередная домработница. Домработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять.

У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови:

— Любаша пошаливает!

Назавтра Любашу сменяла Зинуля...

У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас. То есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили.

Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги калом. Вроде бы есть такое народное средство.

На беду окружающих, это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно.

После этого мать сняла комнату. Причем на той же улице, в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето. Вплоть до ее ареста.

Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину, играли в настольный теннис, ловили жуков. В теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина.

Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать — почти каждое воскресенье. Отец — раза четыре за лето, выспаться.

Сами Черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домработницы — хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой. Причем без дополнительной оплаты.

Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне — нет. Вернее Андрюшины шалости казались естественными, а мои — не совсем. Мне говорили: «Ты умнее. Ты должен быть примером для Андрюши...» Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера.

Я ощущал неравенство. Хотя на Андрюшу чаще повышали голос. Его более сурово наказывали. А меня неизменно ставили ему в пример.

И все-таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяина. А я был, что называется, из простых. И хотя домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала.

Теоретически все должно быть иначе. Домработнице следовало бы любить меня. Любить как социально близкого. Симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж, конечно, больше, чем себя.

Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унизить шестилетнего сына ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим.

Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме:

— Какая ты счастливая, Нора! Твоему Сереже ириску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит только шоколад...

Конечно, я тоже любил шоколад. Но делал вид, что предпочитаю ириски.

Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность — незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. И так далее.

Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател...

В семь лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К девяти годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В одиннадцать — полюбил читать. В шестнадцать — научился зарабатывать деньги.

С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до шестнадцати. Он заканчивал английскую школу. Я — обыкновенную. Он любил математику. Я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями.

Виделись мы довольно часто. Английская школа была в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрюша заходил к нам после занятий. И я, случалось, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям.

В школьные годы у каждого из нас появились друзья. Причем у каждого — свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа. Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей.

Значит, что-то есть в марксистско-ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты. Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям — беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно.

Приличные знакомые мне говорили:

— Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство. Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами...

Я не обижался. Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Неудивительно, что семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря.

Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника Миша Хамраев ограбил железнодорожный вагон-ресторан. Бывший авиамоделист Летяго изнасиловал глухонемую. Алик Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление — избил офицера. Юра Голынчик по кличке Хряпа ранил милицейскую лошадь. И даже староста класса Виля Ривкович умудрился получить год за торговлю медикаментами.

Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что-то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения — конфронтацию.

Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс единоборству.

Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке. Андрей — на Даше, внучке химика Ипатьева, приумножившей семейное благосостояние.

Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. По-моему, есть в этой теории нечто сомнительное. Или как минимум спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без проблем.

Да и мы с Леной были похожи. Оба — хронические неудачники. Оба — в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам...

Как-то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверкскую. В подъезде сидит милиционер. Снимает телефонную трубку:

— Андрей Николаевич, к вам!

И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое:

— Пройдите...

Поднимаемся в лифте. Заходим.

В прихожей Даша шепнула:

— Извините, у нас медсестра.

Я сначала не понял. Я думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить.

Нам пояснили:

— Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива... Ради бога, не сердитесь...

— Ничего,— говорю,— мы привыкшие...

Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что-то могло нас шокировать.

А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала.

Ее спутник Лаврентьев выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица — сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна...

Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко. С каждым годом все реже.

Мы не поссорились. Не испытали взаимного разочарования. Мы просто разошлись.

К этому времени я уже что-то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию.

Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня — сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои — систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали в компании Гумилева и Бродского. Мои читали исключительно собственные произведения.

Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение.

Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого.

Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа. Заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею.

Вдова, конечно, не бедствовала. У нее были дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали.

Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына. Говорила, что он невнимательный и эгоистичный.

Мать вздыхала:

— Твой хоть не пьет...

Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух. А мы — в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, я же — диссидентствующим лириком.

Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж.

Она бывала за границей и раньше. И вот теперь ей захотелось навестить старых друзей.

Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые, талантливые люди — Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья.

В общем, советские знаменитости куда-то пропали. Оставались заграничные — Сартр, Ив Монтан, вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции.

За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя тундры. Девять глав из четырнадцати в этих мемуарах начинались одинаково: «Если говорить без ложной скромности...» Кроме того, я был обязан сверить ленинские цитаты.

И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой.

Она постарела. Одета была, как всегда, с незаметной, продуманной роскошью.

Мы поздоровались. Она спросила:

— Говорят, ты стал писателем?

Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила: «Ты гений?» Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями. А вот назвать себя писателем оказалось труднее.

Я сказал:

— Пишу кое-что для забавы...

В читальном зале были двое посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что узнавали вдову Черкасова. Скорее потому, что ощущали запах французских духов.

Она сказала:

— Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле. Что-то наподобие воспоминаний.

— Напишите.

— Боюсь, что у меня нет таланта. Хотя всем знакомым нравились мои письма.

— Вот и напишите длинное письмо.

— Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства? Или гораздо раньше?

— А вы так и начните.

— Как?

— «Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось...»

— Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом. Он был моим учителем... Как ты думаешь, это грех — любить мужа больше, чем сына?

— Не знаю. Я думаю, что у любви вообще нет размеров. Есть только — да или нет.

— Ты явно поумнел,— сказала она.

Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров — Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер... Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву.

Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса. А Цветаева при всей ее гениальности была клинической идиоткой...

Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами. И не ошибся.

Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное вечному. Что лишь у Моне родовые тенденции преобладали над видовыми...

Черкасова грустно вздохнула:

— Мне казалось, что ты поумнел...

Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве. О жалкой и ранимой человеческой душе...

Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры. Потом органически растворялись в лагерной массе.

Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы — близнецы...

Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обнажается его израненная, сиротливая душа...

Прошло недели три. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет.

Мы купили халвы и печенья.

Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших. Приняли ее хорошо.

Мама спросила:

— Как одеты в Париже?

Нина Черкасова ответила:

— Так, как считают нужным.

Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки. Про репетиции в театре «Соле». Про семейные неурядицы Ива Монтана.

Она вручила нам подарки. Маме — изящную театральную сумочку. Лене — косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка.

Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели. Пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски.

Я даже подумал — лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес:

— Спасибо. Зря беспокоились.

Не мог же я крикнуть: «Где вам удалось приобрести такое старье?!»

А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные.

Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит:

— Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции.

Я с удивлением переспросил:

— Леже? Тот самый?

— Когда-то мы были с ним очень дружны. Потом я дружила с его вдовой. Рассказала ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф. Достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда...

Я надел куртку. Она была мне впору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто.

Нина Черкасова просидела у нас до одиннадцати. Затем она вызвала такси.

Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два — на рукаве и у ворота.

Я стал вспоминать: что мне известно про Фернана Леже?

Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В пятнадцатом году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом.

В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил.

Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана.

Ему казалось, что линия важнее цвета. Что искусство, от Шекспира до Эдит Пиаф, живет контрастами.

Его любимые слова:

«Ренуар изображал то, что видел. Я изображаю то, что понял...»

Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему, беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп.

Я носил куртку лет восемь. Надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали.

О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал. Мне было приятно хранить эту жалкую тайну.

Шло время. Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме полторы тысячи рублей. В Союзе это большие деньги.

Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий.

Мы решили поступить иначе. Оформили доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц.

В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражений благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят.

Брат иногда звонит мне по утрам. То есть по ленинградскому времени — глубокой почью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания:

— Спроси насчет косметики!..

Или:

— Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку...

Вместо этого братец мой спрашивает:

— Ну как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно?

— Сомневаюсь. Но бары, естественно, открыты.

— А пиво?

— Пива в ночных магазинах сколько угодно.

Следует уважительная пауза. И затем:

— Молодцы капиталисты, дело знают!..

Я спрашиваю:

— Как ты?

— На букву ха,— отвечает,— в смысле — хорошо...

Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических... Какая разница?

Шоферские перчатки

С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету «Турбостроитель». Шлиппенбах — ленфильмовскую многотиражку под названием «Кадр».

Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал:

— У нас есть образцовые газеты, например, «Знамя прогресса». Есть посредственные, типа «Адмиралтейца». Есть плохие, вроде «Турбостроителя». И, наконец, есть уникальная газета «Кадр». Это нечто фантастическое по бездарности и скуке.

Я слегка пригнулся. Шлиппенбах, наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул:

— Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной!

— Твоя газета, Юра, ниже всякой критики,— ответил секретарь.

В перерыве Шлиппенбах остановил меня и спрашивает:

— Извините, какой у вас рост?..

Я не удивился. Я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор:

«— Какой у тебя рост? — Сто девяносто четыре.— Жаль, что ты в баскетбол не играешь.— Почему не играю? Играю.— Я так и подумал...»

— Какой у вас рост? — спросил Шлиппенбах.

— Метр девяносто четыре. А что?

— Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль.

— У меня нет актерских способностей.

— Это неважно. Зато фактура подходящая.

— Что значит — фактура?

— Внешний облик.

Мы договорились встретиться на следующее утро.

Шлиппенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто мы не были лично знакомы. Это был нервный худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. «Полтава» была заложена конфетной оберткой.

— Читайте,— нервно говорил Шлиппенбах.

И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал:

— Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, катятся во прах.
Уходит Розен сквозь теснины,
Сдается пылкий Шлиппенбах...

В газетном секторе его побаивались. Шлиппенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлиппенбах не любил.

Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул:

— Я и за живого Матюшина рубля не дал бы. А за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей...

При этом Шлиппенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлиппенбах угрожающе восклицал:

— Будешь надоедать — вычеркну тебя из списка!..

Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды.

— Тоска,— жаловался Шлиппенбах,— и выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве, с женой...

Кончая разговор, он мне напомнил:

— Завтра все обсудим.

Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку, Шлиппенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал:

— Куда девались ножницы?! Кто взял мою линейку?! Как пишется «Южно-Африканская Республика» — вместе или через дефис?!

Затем мы пошли обедать.

В шестидесятые годы буфет Дома прессы относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически буфет обслуживал сотрудников Дома прессы. В том числе журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы. Например, нештатные авторы. То есть постепенно распределитель становился все менее закрытым. А значит, дефицитных продуктов там оставалось все меньше. Наконец, из былого великолепия уцелело лишь жигулевское пиво.

Буфет занимал всю северную часть шестого этажа. Окно выходило на Фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек.

Шлиппенбах затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видимо, предстоял сугубо конфиденциальный.

Мы заказали пиво и бутерброды. Шлиппенбах, слегка понизив голос, начал:

— Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако ближе к делу. Я решил снять любительский фильм. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленинграде появляется таинственный незнакомец. В нем легко узнать царя Петра. Того самого, который двести шестьдесят лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувихи принимают его за богатого иностранца. Сотрудники КГБ — за шпиона. И так далее. Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит: что я наделал?! Зачем основал этот б... город?!

Шлиппенбах захохотал так, что разлетелись бумажные салфетки. Потом добавил:

— Фильм будет, мягко говоря, аполитичный. Демонстрировать его придется на частных квартирах. Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными. Так что подумайте и взвесьте. Вы согласны?

— Вы же сказали — подумать.

— Сколько можно думать? Соглашайтесь.

— А где вы достанете оборудование?

— Об этом можете не беспокоиться. Я же работаю на «Ленфильме». У меня там все — друзья, начиная с Герберта Раппопорта и кончая последним осветителем. Техника в моем распоряжении. Камерой я владею с детских лет. Короче, думайте и решайте. Вы мне подходите. Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику. Завтра мы поедем на студию. Подберем соответствующий реквизит. Посоветуемся с гримером. И начнем.

Я сказал:

— Надо подумать.

— Я вам позвоню.

Мы расплатились и пошли в газетный сектор.

Актерских способностей у меня действительно не было. Хотя мои родители принадлежали к театральной среде. Отец был режиссером, мать — актрисой. Правда, глубокого следа в истории театра мои родители не оставили. Может быть, это даже хорошо...

Что касается меня, то я выступал на сцене дважды. Первый раз — еще в школе. Помню, мы инсценировали рассказ «Чук и Гек». Мне как самому высокому досталась роль отца-полярника. Я должен был выехать из тундры на лыжах, а затем произнести финальный монолог.

Тундру изображал за кулисами двоечник Прокопович. Он бешено каркал, выл и ревел по-медвежьи.

Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка. Дань театральной условности.

К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая вой Прокоповича и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я — хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно.

Девочки стали возмущаться, мальчишки захлопали. Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате финальный монолог произнесла учительница литературы.

Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и пятнадцать рублей.

Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками. А затем выпустили на сцену.

Тулуп был узок. От шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжег, пытаясь закурить.

Я дождался тишины и сказал:

— Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете?

— Ленин! Ленин! — крикнули из первых рядов.

Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода...

И вот теперь Шлиппенбах предложил мне главную роль.

Конечно, я мог бы отказаться. Но почему-то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения. Недаром моя жена говорит:

— Тебя интересует все, кроме супружеских обязанностей.

Моя жена уверена, что супружеские обязанности — это прежде всего трезвость.

Короче, мы поехали на «Ленфильм». Шлиппенбах позвонил в бутафорский цех какому-то Чипе. Нам выписали пропуск.

Помещение, в котором мы оказались, было заставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка.

Из-за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался:

— Ты в охране служил?

— А что?

— Помнишь штрафной изолятор на Ропче?

— Ну.

— А помнишь, как зэк на ремне удавился?

— Что-то припоминаю.

— Так это я был. Два часа откачивали, суки...

Чипа угостил нас разведенным спиртом. И вообще проявил услужливость. Он сказал:

— Держи, гражданин начальник!

И выложил на стол целую кучу барахла. Там были высокие черные са-

поги, камзол, накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда-то перчатки с раструбами. Такие, как у первых российских автолюбителей.

— А брюки? — напомнил Шлиппенбах.

Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом.

Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось.

— Сойдет,— заверил Чипа,— перетяните шпагатом.

Когда мы прощались, он вдруг говорит:

— Пока сидел, на волю рвался. А сейчас — поддам, и в лагерь тянет. Какие были люди — Сивый, Мотыль, Паровоз!..

Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру. Вернее, к гримерше по имени Людмила Борисовна.

Между прочим, я был на «Ленфильме» впервые. Я думал, что увижу массу интересного — творческую суматоху, знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, а рядом стоит охваченная завистью Тенякова.

В действительности «Ленфильм» напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром.

Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной.

— Ну как? — поинтересовался Шлиппенбах.

— В смысле головы — не очень. Тройка с плюсом. А вот фактура — потрясающая.

При этом Людмила Борисовна трогала мою губу, оттягивала нос, касалась уха.

Затем она надела мне черный парик. Подклеила усы. Легким движением карандаша округлила щеки.

— Невероятно! — восхищался Шлиппенбах.— Типичный царь! Арап Петра Великого!..

Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя императора. Встречные оглядывались, но редко.

Шлиппенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот выдал нам два черных ящика с аппаратурой. На этот раз — за деньги.

— Сколько? — поинтересовался Шлиппенбах.

— Четыре двенадцать,— был ответ.

— А мне говорили, что ты перешел на сухое вино.

— Ты и поверил?..

В такси Шлиппенбах объяснил мне:

— Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин. Кричит: «Где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?!» И так далее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Простите, мы на «вы»?

— На «ты», естественно.

— Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с машиной.

— Кто это — Букина?

— Экспедитор с «Ленфильма». У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля... Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от Стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял?.. Бойся автомобилей. Рассматривай вывески. В страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут — выхватывай шпагу. Подходи ко всему этому делу творчески...

Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен. Обнажать его я мог сантиметра на три.

Шлиппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался:

— Мужик, ты из какого зоопарка убежал?

— Потрясающе! — закричал Шлиппенбах.— Готовый кадр!..

Мы вылезли с ящиками из такси. У противоположного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал.

— Галина, ты прелесть,— сказал Шлиппенбах.— Через десять минут начинаем.

— Горе ты мое,— откликнулась барышня.

Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством.

С Невы дул холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками. Наконец Шлиппенбах сказал: готово. Галина налила себе из термоса кофе. Крышка термоса при этом отвратительно скрипела.

— Иди вон туда,— сказал Шлиппенбах,— за угол. Когда я махну рукой, двигайся вдоль стены.

Я перешел через дорогу и стал за углом. К этому времени мои сапоги окончательно промокли. Шлиппенбах все медлил. Я заметил, что Галина протягивает ему стакан. А я, значит, прогуливаюсь в мокрых сапогах.

Наконец Шлиппенбах махнул рукой. Камеру он держал наподобие алебарды. Затем поднес ее к лицу.

Я потушил сигарету, вышел из-за угла, направился к мосту.

Оказалось, что, когда тебя снимают, идти неловко. Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетал ветер, я придерживал шляпу.

Вдруг Шлиппенбах начал что-то кричать. Я не расслышал из-за ветра, остановился, перешел через дорогу.

— Ты чего? — спросил Шлиппенбах.

— Я не расслышал.

— Чего ты не расслышал?

— Вы что-то кричали.

— Не «вы», а «ты».

— Что ты мне кричал?

— Я кричал: гениально! Больше ничего. Давай, иди снова.

— Хотите кофе? — наконец-то спросила Галина.

— Не сейчас,— остановил ее Шлиппенбах,— после третьего дубля.

Я снова вышел из-за угла. Снова направился к мосту. И снова Шлиппенбах мне что-то крикнул. Я не обратил внимания.

Так и шел до самого парапета. Наконец оглянулся, Шлиппенбах и его подруга сидели в машине. Я поспешил назад.

— Единственное замечание,— сказал Шлиппенбах,— побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться. С недоумением разглядывать плакаты и вывески.

— Там нет плакатов.

— Неважно. Я это все потом смонтирую. Главное, удивляйся. Метра три пройдешь — всплесни руками...

В итоге Шлиппенбах гонял меня раз семь. Я страшно утомился. Штаны под камзолом спадали. Курить в перчатках было неудобно.

Но вот мучения кончились. Галина протянула мне термос. Затем мы поехали на Таврическую.

— Там есть пивной ларек,— сказал Шлиппенбах,— даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков...

Я знал это место. Два пивных ларька, а между ними рюмочная. Неподалеку от театрального института. Действительно пьяных сколько угодно.

Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления.

После этого Шлиппенбах горячо зашептал:

— Мизансцена простая. Ты приближаешься к ларьку. С негодованием разглядываешь всю эту публику. Затем произносишь речь.

— Что я должен сказать?

— Говори что попало. Слова не имеют значения. Главное, мимика, жесты...

— Меня примут за идиота.

— Вот и хорошо. Произноси что угодно. Узнай насчет цены.

— Тем более меня примут за идиота. Кто же цен не знает? Да еще на пиво.

— Тогда спроси их: кто последний? Лишь бы губы шевелились, а уж

я потом смонтирую. Текст будет позже записан на магнитофонную ленту. Короче, действуй.

— Выпейте для храбрости,— сказала Галина.

Она достала бутылку водки. Налила мне в стакан из-под кофе.

Храбрости у меня не прибавилось. Однако я вылез из машины. Надо было идти.

Пивной ларек, выкрашенный зеленой краской, стоял на углу Ракова и Моховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищеторга.

Возле прилавка люди теснились один к другому. Далее толпа постепенно редела. В конце она распадалась на десяток хмурых, замкнутых фигур.

Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках. Они держались строго и равнодушно, как у посторонней могилы. Некоторые захватили бидоны и чайники.

Женщин в толпе было немного, пять или шесть. Они вели себя более шумно и нетерпеливо. Одна из них выкрикивала что-то загадочное:

— Пропустите из уважения к старухе матери!..

Достигнув цели, люди отходили в сторону, предвкушая блаженство. На газон летела серая пена.

Каждый нес в себе маленький личный пожар. Потушив его, люди оживали, закуривали, искали случая начать беседу.

Те, что еще стояли в очереди, интересовались:

— Пиво нормальное?

В ответ звучало:

— Вроде бы нормальное...

Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново?

Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям — измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?!

Я присоединился к концу очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили.

Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее — оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он зажал между коленями.

Положение становилось все более нелепым. Все молчат, не удивляются. Вопросов мне не задают. Какие могут быть вопросы? У всех единственная проблема — опохмелиться.

Ну что я им скажу? Спрошу их: кто последний? Да я и есть последний.

Кстати, денег у меня не было. Деньги остались в нормальных, человеческих штанах.

Смотрю: Шлиппенбах из подворотни машет кулаками, отдает распоряжения. Видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу. То есть надеется, что меня ударят кружкой по голове.

Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку.

Слышу: железнодорожник кому-то объясняет:

— Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем...

Интеллигент ко мне обращается:

— Простите, вы знаете Шердакова?

— Шердакова?

— Вы Долматов?

— Приблизительно.

— Очень рад. Я же вам рубль остался должен. Помните, мы от Шердакова расходились в День космонавта? И я у вас рубль попросил на такси. Держите.

Карманов у меня не было. Я сунул мятый рубль в перчатку.

Шердакова я действительно знал. Специалист по марксистско-ленинской эстетике, доцент театрального института. Частый посетитель здешней рюмочной...

— Кланяйтесь,— говорю,— ему при встрече.

Тут приближается к нам Шлиппенбах. За ним, вздыхая, движется Галина.

К этому времени я был почти у цели. Людская масса уплотнилась. Я был стиснут между оборванцем и железнодорожником. Конец моей шпаги упирался в бедро интеллигента.

Шлиппенбах кричит:

— Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты должен вызывать антагонизм народных масс!

Очередь насторожилась. Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство.

— Извиняюсь,— обратился к Шлиппенбаху железнодорожник,— вас здесь не стояло!

— Нахожусь при исполнении служебных обязанностей,— четко реагировал Шлиппенбах.

— Все при исполнении,— донеслось из толпы.

Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными:

— Ходят тут всякие сатирики, твою мать, юмористы...

— Сфотографируют тебя, а потом — на доску... В смысле — «Они мешают нам жить».

— Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тюльку гонит...

— Такому бармалею место у параши...

Энергия толпы рвалась наружу. Но и Шлиппенбах вдруг рассердился:

— Пропили Россию, гады! Совесть потеряли окончательно! Водярой залили глаза с утра пораньше!..

— Юрка, кончай! Юрка, не будь идиотом, пошли! — уговаривала Шлиппенбаха Галина.

Но тот упирался. И как раз подошла моя очередь. Я достал мятый рубль из перчатки. Спрашиваю:

— Сколько брать?

Шлиппенбах вдруг сразу успокоился и говорит:

— Мне большую с подогревом. Галке — маленькую.

Галина добавила:

— Я пива не употребляю. Но выпью с удовольствием...

Логики в ее словах было маловато.

Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным:

— Царь стоял, я видел. А этот, с фонарем,— его дружок. Так что все законно!

Алкаши с минуту поворчали и затихли.

Шлиппенбах переложил камеру в левую руку. Поднял кружку:

— Выпьем за успех нашей будущей картины! Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу.

— Чучело ты мое,— сказала Галя...

Когда мы задом выезжали из подворотни, Шлиппенбах говорил:

— Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что-то вроде...

— Полтавской битвы,— закончил я.

Переодеваться в автобусе было неудобно. Меня отвезли домой в костюме государя императора.

На следующий день я повстречал Шлиппенбаха возле гонорарной кассы. Он сообщил мне, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Таким образом, съемки любительского фильма прекратились.

Театральный костюм потом валялся у меня два года. Шпагу присвоил соседский мальчишка. Шляпой мы натирали полы. Камзол носила вместо демисезонного пальто экстравагантная женщина Регина Бриттерман. Из бархатных штанов моя жена соорудила юбку.

Шоферские перчатки я захватил в эмиграцию. Я был уверен, что первым делом куплю машину. Да так и не купил. Не захотел.

Должен же я чем-то выделяться на общем фоне! Пускай весь Форест Хиллс знает «того самого Довлатова, у которого нет автомобиля!»

Дневник писателя

М. ПРИШВИН

1930 год

Мы предлагаем вниманию читателей дневник М. М. Пришвина 1930 года, посвященный коллективизации в деревне. Он по-новому открывает жизнь и творчество писателя, горячо, с гражданской страстностью переживавшего события в стране. Пришвин называл себя «комсомольцем XIX века»: студентом он участвовал в первых марксистских кружках, был арестован, сидел в тюрьме. Став писателем, еще до революции он отходит от политической борьбы.

Когда произошла революция, Пришвин встретил ее уже сложившимся писателем, вошедшим со своей философией в литературу начала века. Он не принимал того неизбежного разрушения, которое несла с собой революция. Но понимание исторической необходимости происшедшего дает писателю веру в правильность своего выбора — участвовать в созидании новой жизни.

Он пытается увидеть изнутри жизнь народа, проникнуться «народным сознаньем», понять глубинные истоки трагической судьбы Родины. Дневник мыслителя и художника слова стал летописью жизни России и размышлением о ней. Мысленно обращаясь к Блоку в 1918 году, он записывает: «Я обошел всю Русь, видел все страдания людей на Руси и разделил это страдание...» Это воистину житие интеллигента, пытавшегося связать свои гуманистические убеждения с реалиями новой жизни.

В советский период писатель продолжает разрабатывать те же темы, с которыми вошел в литературу еще до революции. Он записывает в дневнике: «Вы говорите — я поправел, там говорят — я полевел, а я, как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных и безумных, которым кажется, будто сама дорога, сама земля под ними бежит».

Пришвин не закрывал глаза на невозможную обстановку тех лет и на неразрешимые для честной мысли гражданские противоречия. Но для понимания его позиции как писателя чрезвычайно важна одна запись. Остро откликаясь на текущий политический момент, Пришвин вдруг останавливает себя: «Осторожно, Михаил, в тебе говорит борец, но не писатель». Своим призванием писатель считал помощь человеку в эти страшные годы испытаний и сохранение своей души. Среди классовой борьбы и ненависти он говорил о любви.

Вот почему главным героем в его творчестве был ребенок, рождающийся на свет, не ведающий зла, и тот «ребенок», который сохраняется, по слову Пришвина, в «неоскорбляемой части души человека». К нему обращено его горячее сердце и жалость.

Когда будет опубликован весь «социальный» дневник писателя, станет понятно его «безобидное» творчество, которое несло свет и радость людям: понимание же совершающейся трагедии, всю боль человека и художника он оставлял «для себя».

Пришвин писал: «В искусстве текущем есть все, но побеждает и остается направление к делу мира. Враг затаился, и, чтобы не было страшно, надо стать выше его, и так, чтобы ему вверх не видно, а вы сверху видите его со всех сторон. Можно бы, конечно, оттуда сверху полить на него кипятком или осыпать горящими угольями, но почему-то на высоте и в голову не приходит такое поведение в отношении врага.

С самого первого слова я это понял и только этим путем продвигался вперед в искусстве слова».

Наша задача в новом времени: с родственным вниманием подойти к творчеству писателя, снять ярлыки и штампы, рожденные недалеким, «элементарным», а подчас и враждебным взглядом критики. Увидеть значимость и единственность художника, призванного творить будущий мир в его разнообразии и неповторимости.

Дневник 1930 года относится к загорскому периоду жизни Пришвина. События, отраженные в нем, происходят в окрестных деревнях Загорска и Переславля-Залесского.

Текст дневника сверен по рукописному автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.

Л. РЯЗАНОВА

5 января. Несколько дней тому назад лопнул поршень в электростанции, свет погас и надолго, на месяц, говорят, а там кто их знает. Пришлось бросить фотографию. Купил себе керосиновую лампу и светом ее очень доволен. Сегодня утром говорю Павловне [1]:

— Смотри, в окне чуть белеет. В это время гасили электричество и я должен был обрывать работу. Теперь же я сам зажег себе лампу и сам ее потушу, когда захочется.

Так было в прошлом, радость детская об этом чувстве жизни: «я — сам», в будущем это «я сам» в массах на поверхности должно совершенно исчезнуть и проявляться вулканически, извержениями, а вулканами будут гениальные индивидуумы. Значит, будет, как во всем цивилизованном мире.

6 января. Сочельник. Со вчерашнего дня оттепель после метели. Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их зависит от кооперативов, перестанут хлеб выдавать — и крышка! После речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и кое-какие старинные: Тарасиха [2] и другие,— молчали. И так вышло, что верующие люди оставили себя сами без Рождества и церковь закрыли. Сердца больные, животы голодные и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в коллектив.

16 января. Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей.

18 января. Погода, как на масленице и день в день,— тоже тусклое небо, рыженькая дорога — как будто природа остановилась в движении и дожидается, когда кончится страшная беда в нашей русской человеческой жизни, чтобы по этой рыженькой дороге всех отправить на небо.

Неужели опять доведут до людоедства? Только теперь еще хуже, теперь уже нет «без аннексий и контрибуций» и т. п. Полное неверие теперь.

Мы и они. Они хотят человека заставить быть машиной, мы хотим машину одушевить..

19 января. Обобщение с механизацией, кроме некой и человеческой личности, является началом, вероятно, всякого зла: жили-были Иван и Дмитрий, из них двух сделали одного большого, разделили его надвое, рассмотрели этого среднего, сделали заключение и применили его, как правило, к живому Ивану, равно как и к Дмитрию. Так начинается власть и борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. В наше время это доведено до последнего цинизма. Пока еще говорят «фабрика зерна», скоро будут говорить «фабрика человека» (Фабчел).

24 января. Иной совестливый человек ныне содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно: что самое невероятное преступле-

ние, ложь, обманы самые наглые, систематическое насилие над личностью человека,— все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего.

Если принять, что в мире людям в среднем живется во все времена ни лучше ни хуже, то спрашивается: что же хорошее, какая связь ставится у людей на место родственной?

У нас это была «идея» (идейные люди всегда были против родства, оттого и забыла интеллигенция слова, означающие родство). «Идея» — 1) «хочу все знать» (то есть вместо религии — наука), 2) социализм.

Вот теперь только «идея» наконец-то стала острием к острию, к тому скрытому для большинства чисто родовому строю крестьян (Род и Коллектив).

24 января. А что если в нынешнем разрушении памятников религиозной культуры вовсе нет, как я думаю, противостоящей «идеи», что если это при попустительстве невежественного, тупого владыки временно получили ход действительно какие-нибудь людишки из неверующих семинаристов?

К этому рассказ Попова[3]: прошлый год вся великолепная академическая библиотека (500 тыс. томов) чуть-чуть не попала на свалку в колокольню из-за того, что помещение понадобилось для какой-то затеи[4]. Так! Почему бы в таком случае инициативу уничтожения монастырей не объяснить просто попыткой отдельных лиц выслужиться: инициативу питает выслуга, мотивировка: потребность в кирпиче и цветном металле. И все! (то, конечно, так, если смотреть в упор, но, с другой стороны, возможность действия негодяев является результатом, во-первых, окончательного разложения церкви (семинаристы же действуют), во-вторых, при перегонке мужиков в коллективы необходимостью потрясающего их миросозерцание эффекта (мы все можем, нет чудес против нас).

25 января. Явились в Сергиев цыгане с медведями, я позвал их к себе и завтра буду фотографировать в лесу[5].

К вечеру у Карасевых (соседей)[6] произошел страшный разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйте в какую-то другую губернию. Это его как бывшего торговца. Сына его «Жоржа» я описал в рассказе «Клубника». По-видимому, это начало разгрома купцов и лишенцев. Это будет страшней, чем когда-то помещиков. Во-первых, тогда думали все, что без помещиков жить можно, во-вторых, была мечта о будущем. Ныне все уверены, что без купцов никак не проживешь и что в будущем непременно голод.

27 января. Когда бьют без разбора правых и виноватых, и вообще всякие меры и даже закон, совершенно пренебрегающий человеческой личностью, носят характер погрома. Ужас погрома — это гибель «ни за что ни про что» (за грехи предков). «Грабь награбленное» — это погром. И так, наверное, всегда погром является непременным слугой революции и возможно представить себе, что погром иногда становится на место революции.

Нынешний погром торгового класса ничем не отличается от еврейского погрома и может кончиться еврейским погромом в собственном смысле слова, потому что евреи были торговцами с древнейших времен. Говорят, будто из Москвы начали высылать множество евреев...

Удались снимки медведя. Идея моя ввести в действительный зимний лес игрушку оказалась блестящей. Если не попаду в погромную полосу и не пропаду, оставлю после себя замечательную детскую книжку, мое слово любви, может быть, в оправдание всей жизни...

На Красюковке в Сергиеве, который на днях получил новое имя «Загорск» в честь местного партийца Загорского, до сих пор живет бывший голова города Москвы, бывший князь Владимир Михайлович Голицын. Он большой знаток французского языка и теперь переводит написанные на труднейшем старинном французском юмористические рассказы Бальзака. Его можно видеть часто сидящим на лавочке возле бедного домика в беседе с детьми, которых он знает по улице всех по именам.

Старец, сохранивший во всей свежести свою память, охотно погружается и

(1 нрзб.)[7] во времена стародавние. Он рассказывает о своей встрече с царем Николаем Первым в детстве, с екатерининскими вельможами. Он живо передает свои впечатления от тронной речи Наполеона III, и неудачливый император, фронтовой кавалерист и уродливый пехотинец с большим туловищем на коротеньких ногах, встает как живой перед глазами. Встреча с бароном Геккереном, убийцей Пушкина. А учителем по русскому языку у Владимира Михайловича был сам Шевырев[8]!

Случалось не раз, когда Владимир Михайлович рассказывал о своих встречах с екатерининскими вельможами, колонны пионеров барабанным боем прерывали наш разговор, и я уносился своим воображением во времена еще более давние, потому что, связав в себе живые свидетельства остатком екатерининского быта с (2 нрзб.) нынешнего, я становился как бы хозяином очень отдаленных времен...

29 января. Нужно воспитание, чтобы молодежь уважала и любила священников, в естественном состоянии она не любит ни Бога, ни попов. Отсюда успех антирелигиозной пропаганды.

Тимофей рассказывал, как у них в Бабашине приезжали уговорщики, 6 человек. «Добровольно?» — спрашивали их. «Мы,— говорят,— никого не насилуем». А когда за коллектив поднялось только 5 рук, сказали: «Ну, мы еще приедем и посильнее нажмем. У вас и «постричь» надо».

«Постричь» — значит, разорить более состоятельных, признав их за кулаков.

Мужики вообще привычные к войне, к стихийным бедствиям и готовы бы и в коллектив идти, но удерживает что: удерживает страх перед тем, что корову, лошадь отдать, сарай отдать на общий сарай, а потом, глядишь, все не состоит и вернется назад ни к чему, по миру ходить и мира не будет...

Правда, страшно до жути. Хотя и мелочи тоже ужасны, например, молоко от коровы: доили корову, ребятишек кормили, а тут корова пошла в коллектив, и молоко твое увезут на продажу, а если тебе надо, свое же молоко купи.

Везде на улицах только и разговору, что о коллективе. В Доме крестьянина за чаем вдруг женщина ни с того ни с сего разревелась. «Что ты?» — спрашивают. Баба отвечает: «Перегоняют в коллектив, завтра ведем корову и лошадь...»

Некрещеная Русь.

Сколько размножилось безжалостных людей, выполняющих тяжкие государственные обязанности по Чека, Фиску[9], коллективизации мужиков и т. п. Разве думать только, что все это молодежь, поживет, посмотрит и помягчеет...

30 января. Мишка.

1. Индустриализация медведей.

Давайте в Мишку играть, будто все началось в Москве на Тверском бульваре № 8, в квартире изобретателя Ивана Ивановича Острого. Долго думал Острый, как бы суметь ему пустить в ход небольшого медведя из тряпок. Только через три года Острый надумал — расшил своему Мишке брюхо, вставил туда электрическую батарею... Миша побежал, но бессмысленно: тыкается в стенку — и больше ничего. Еще три года думал Острый и, наконец, хорошо зарядив батарею электричеством, вставил в голову Мишки пружину из неизвестного металла. Острый, храня тайну металла пружины, так рассуждал:

— Если дело выйдет, медведь пойдет сознательно и все будут знать, каждому захочется своему детскому медвежонку вставить пружину. Тогда явится множество медведей, и кто знает, с чего они начнут. Что если они поведут себя по-медвежьему и начнут бросаться на стада. Правда, они маленькие, ненастоящие, но, будучи электрическими, сознательными, они организуются и тогда наделают беды куда больше, чем просто дикие медведи.— Погожу открывать тайну пружины,— сказал Острый, выпуская из рук сотворенного им медведя.

Пока Острый это говорил, Мишка с пружинкой сознания в голове, не думал...

Не успел изобретатель глазом моргнуть, Мишка с пола прыгнул на лавку, где лежали дорогие стеклянные приборы для электричества.

— Не ходи по лавке! — сказал Острый.

Мишка, валяя лампочки и колбы, прыгнул к форточке.

Он испугался, что Мишка бросится в форточку и разобьется, и закричал ему:

— Не ходи по лавке, не гляди в окно!

А Мишка прыг в форточку — и на подоконник, и по карнизу до водосточной трубы, и по трубе, и на забор.

Сердце у Ивана Ивановича было очень больное, доктора давно и строго запретили ему волноваться. Увидев созданного им сознательного медведя, Острый забыл доктора, конечно, страшно взволновался, сердце не выдержало, и он скоро и тихо скончался среди своих близких, из предосторожности не раскрыв даже своим милым родным тайну пружинки медвежьего сознания.

2 февраля. Коровы очень дешевы, от 150 р.— 350 р., потому что двух держать боятся и продают обыкновенно совхозам, колониям, которым резать коров можно. Вообще это мясо, которое теперь едят,— это мясо, так сказать, деградационное, это поедание основного капитала страны.

6 февраля. Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то большевик представляется мне не больше, чем мой «Мишка» с пружинкой сознания в голове.

Долго не понимал значения ожесточенной травли «кулаков» и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор, через 12 лет, мы живем в значительной степени. Все эти люди, достигая своего, не знали счета рабочим часам своего дня. И так работают все организаторы производства в стране. Ныне работают все по часам, а без часов, не помня живота своего, не за страх, а за совесть, только очень немногие.

В деревне настоящая всеобщая отрава, последнее разложение...

10 февраля. Сборы в Питер... Приготовить рукопись «Каляевки»[10]. Рукопись и фото Мишки.

18 февраля. В среду из Москвы в Питер, в понедельник в Москву.

Воронскому[11] снова хорошо, потому что он ограничивает себя литературой. «А как вам было,— спросил я,— когда вы служили?» «Там очень отвлеченно,— ответил он,— не по мне...» А может быть, это у него природный семинарский оптимизм, культивированный литературно-политической богемой? Интересно его замечание, что ГПУ собрало в себя все талантливое, причина этому, во-первых, что оно бесконтрольное.

Алеша Толстой,[12] предвидя события, устраивается: собирается ехать в колхозы, берет квартиру в коллективе и т. п. Вслед за ним и Шишков. Замятин дергается... Петров-Водкин болеет... Чтение «Погорельщины»[13]. Некий Лев... Куклин. Шаг в «Октябрь». Устройство «Мишки».

21 февраля. Все поплыло в весенних лучах. Вот уж денек! Писатели собираются и валом валят смотреть на посевную кампанию, как в былое время валом валили на войну. И ни одной подлинной книги никто не написал о войне до сих пор! Вероятно, главная причина этому даже и не гнет цензуры, а просто, что фронт событий так велик, что писателю невозможно осмотреть его весь и описывать в частном явлении общее дело.

22 февраля. Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами).

Каждый день нарастает народный стон.

Об ударниках всюду теперь пошли легенды в том роде, например, что вот-де говорили, говорили — уговорили мужиков, но один ударник вышел до ветру и там одному мужику сказал: «Стойте на своем до последнего, нас не слушайте, мы тоже за вас, да нам нельзя, мы не сами говорим».

Рассказывал на базаре садовник, будто два мужика легли под машину и оставили после себя записку: «В смерти своей никого не виним, уходим от хорошей жизни».

24 февраля. Заключил договор с Федерацией о книге рассказов.

В «Октябре»: рукопись[14] увез Фадеев, ответ через 4 дня.

Окрмолокосоюз. Шел я вечером по Петровке, думаю о своем, ничего не вижу и вдруг очнулся: я стоял у витрины магазина окружного молочного союза. Десятки сильных электроламп заливали светом пустые прилавки, огромные раскрытые цинковые баки, предназначенные для хранения масла и тоже пустые. Совсем ничего не было в пустом магазине, только кое-где желтелись и красовались головки деревянных бутафорских сырков. А посередине магазина был столик какой-то, совсем чужой этому молочному магазину, у этого столика, согнувшись, какой-то человек резал алмазом стекло, резал и отламывал, а другой, вероятно, заведующий магазином, в хорошем пальто с каракулевой шалью, заложив руки в карманы, смотрел, как другой режет стекло, и видно было, что он очень скучал и проводил время: только бы шло!

На Неглинном у черного входа в Мосторг всегда стоят ломовики: одни привозят, другие увозят товары. В одной фуре малый, чем-то расстроенный, взлезал по каким-то невидимым мне товарам, вероятно, очень неустойчивым: то взлезет, то провалится, грозится кому-то кулаком и ругается матерным словом. Я заглянул в сучок боковой доски огромной фуры, чтобы увидеть, какие же это были неустойчивые товары, и увидел множество бронзовых голов Ленина, по которым рабочий взбирался наверх и проваливался. Это были те самые головы, которые стоят в каждом волисполкоме, их отливают в Москве и тысячами рассылают по стране.

Выйдя на Кузнецкий, сжатый плотно толпой, я думал про себя: «В каком отношении живая голова Ленина находится к этим медно-болванным, что бы он подумал, если бы при жизни его пророческим видением предстала подвода с сотней медно-болванных его голов, по которым ходит рабочий и ругается на кого-то матерным словом?»

Самых хороших людей недосчитываешься: честнейший человек в уезде, всеми уважаемый, описанный мной в «Журавлиной родине» А. Н. Ремизов[15] сидит в тюрьме. Академик Платонов[16], которого я слушал когда-то... И какая мразь идет на смену. Так создается новое время, и новые хорошие люди не будут, как мы, вверять себя: они будут знать, что вокруг них мразь, а свое упование будут охранять в недоступных тайниках личности... Так сформируются сложные (европейские) люди, а наша Россия была очень проста.

3 марта. Шалуны государственные постановили обработать общество перед раскулачиванием: эффекты сбрасывания колоколов, разгрома церквей, музеев[17]. В ответ на эти шалости некоторые люди молились Богу!

Поражает наглая ложь. (Умные лгут, глупые верят.) Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами. Это совершенно то же самое, что в 18 г. «грабь награбленное»: кто-то разрешил грабить, а потом грабеж сам пошел и стал народным. Такого рода «успехи» кружат голову. Кончается тем, что центральная власть отнимает «самость» у движения и винит во всем разгулявшихся товарищей (легкую кавалерию).

5 марта. В деревне сталинская статья «Головокружение», как бомба разорвалась. Оказалось, что принуждения нет — вот что! Дом, корова, птица, огород не подлежат коллективизации! Гнули в три дуги. Председатель Кузнецов прямо говорил: «Вас надо стричь» (в Соловки высылать). Грозили прямо: «Не пойдете в коллектив, заморим: корки не дадим!» И вдруг нате: «У нас не полагается принуждения, изба, корова, огород не подлежат...»

Длиннобородый рассказал с упоением, что уж он это знает сам: пять колхозов с воскресенья распались, это только вокруг него, а там по округу мало ли

чего творится. Собрались где-то обсуждать устройство колхоза. Выходит человек с газетой в руках и говорит: я думал и понимал, в колхоз идти обязательно, а тут все написано, что это по доброй воле. Ежели по доброй воле, то до свиданья, товарищи! И вышел, а за ним еще кто-то и еще, да так мало-помалу без всяких слов все показали затылки и стол остался пустой.

Еще рассказывал длиннобородый, что бедноту теперь за шею взяли и нет человека, кто получил весть в то время, как был с бедняком, чтобы этому бедняку в шею не дал. Бедноту за шею взяли, а в некоторых приходах, как говорят, церкви открыли.

Конечно, человек тот перегибал, но все-таки... Пахнуло первыми днями Февральской революции.

Итак, это совершенное очень похоже во исполнение моей программы «через колхоз в совхоз», вторая часть «трилогии»: первая — в колхоз с раскулачиванием, вторая — окулачивание: беднота в совхоз, кулакам — земля. Третья часть...

Неужели Сталина совершенно переварили, не пролив капли крови? Или это все впереди?

7 марта. Манифест Сталина вызвал бурю радости у мужиков, но интеллигенция расценила его как искусный прием, сдерживающий прорыв гнилого нарыва. Черносотенцы недовольны, либералы равнодушны.

Теперь вслед за большевиками все понимают, думаю, что кончиться должно непременно войной: в течение 12 лет большевики заставили этому поверить. Весь вопрос, когда мы хлебнем эту, верно уж, и последнюю для нас чашу горя...

12 марта. После манифеста мало-помалу определяется положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, это значит, мужик стал продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации. И заметно многие перестали думать о войне, что, по всей вероятности, и более верно: не будет войны. Сколько же порезано скота, во что обошелся стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации. Говорят, в два года не восстановить. А в области культуры разрушение всей 12-летней работы интеллигенции по сохранению памятников искусства?

15. марта. Второй манифест. Все злодейство этой зимы с государственной точки зрения названо «исправлением партлинии».

16 марта. А. Н. Тихонов [18] (я говорю о нем, потому что он, Базаров [19] — имя им легион) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой».— ответил Каменев.

Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы относят не к руководителям политики, а к «головотяпам». А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей... Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины... Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».

Они презирают правительство, но сидят около него и другого ничего не желают. Вот Есенин повесился и тем спас многих поэтов: стали бояться их трогать. Предложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. «За что же гореть? — спросят они.— Все принципы у нас очень хороши, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох или не нужна стране индустриализация? Защита материнства, детства, бедности — разве все это плохо? За что гореть?»

Вероятно, так было и в эпоху Никона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же время под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. Принципа, за который стоять, как и в наше время, не было — схватились за двуперстие и за это горели. Значит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенция уже погорела.

17 марта. Сильный роскошный свет в снегах. Весь день фотографировал Мишку.

Первый раз в жизни открыл Америку. Шурик Филимонов [20] рассказал мне, что похождения кота постоянно снимаются в кино методом мультипликации. Таким образом, вышло, что фотоаппарат привел меня к теме «Мишка» и выполнение задания фотографического привело в кино. В ближайшие дни надо там побывать.

19 марта. Третий сияющий день весны света провожу в лесу и фотографирую Мишку.

Высшая математика. Теория относительности. Он постиг (о. Павел Флоренский) самую высшую математику, и ему было все одинаково: скажет кто, что Земля ходит вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Если человек едет в вагоне и ему представляется, будто он на месте сидит, а бежит лес, то это так и есть, с точки зрения теории относительности — все равно. Или вот идет человек в лесу, задел шапкой за сук, и она свалилась, то это будет опять все равно с точки зрения математической сказать, как было, то есть что человек шел и задел шапкой и т. д. или же, напротив, человек стоял, а дерево шло и задело.

Из этого, на мой разум, выходит не «подарок средним векам» (Флоренский о системе Птолемея) [21], а только что математика говорит об отношениях вещей, но не о самих вещах, искомое значение которых человек устанавливает только относительно себя самого.

Вероятно, так и надо Мишку писать, как «Журавлиную родину». Между прочим, дети отлично знают, играя, что они играют.

20 марта. Происхождение «головотяпства». Левый курс, или «ускорение темпов», неизбежно должен давать большую власть местным начальникам, и это приводит к головотяпству точно так же, как правый курс неизбежно ведет к торжеству кулака. Вот так и качается наш государственный маятник... Хорошо отцам-мужикам, потому что дети их в Красной Армии и эти дети в огромной своей массе еще держатся естественного завета «чти отца»! Благодаря этому, конечно, мужики пересидели.

А кто заступится за тех, кто 12 лет работал в искусстве и науке, полагая, что факт разрушения неизбежный был раз, и будет больше нескоро, и что настало время созидать. А бессмысленное, жестокое, злодейское разрушение пришло снова... «Чти отца» остановило в деревне безумную политику, но здесь, в области культуры, молодежь подчеркнуто выступает против отца, по невежеству не понимая его дела, по мещански-индивидуальному устремлению забывая о всем, кроме себя.

«Директор» музея Дунин,[22] вероятно, сойдет с ума, потому что, будучи совершенно невежественным (только грамотным), признал, говорят, все глупым, читает толстые книги, стремясь стать на высоту достоинств директора истор. художественного музея.

20 марта. Предполагаемая поездка на Алтай к Пете. [23]
Отъезд 15—20 апреля.
На месте 1-го мая.
Обратный путь 1-го июля.

22 марта. Весна — в состоянии Сорочьего царства. Обычная тоска и разброд в себе. Сумею уехать к Пете или нет?

Какой разрыв в душе моей, какая боль бессмысленная. Утомленный безделием, думаю иногда: «Как бы ужаснулся какой-нибудь восторженный мой читатель, если бы он заглянул в мою пустоту». Но это невозможно, потому что с появлением другого человека я делаюсь блестящим собеседником. С этим догадываюсь о многих красноречивых собеседниках своих: «Так, стало быть, собственная пустота является причиной их красноречия».

24 марта. В Москве. Предложение Совкино написать пуш-пьесу (пьесу о зверосовхозе. — **Л. Р.**) алтайскую. Подумать.

Беседа по пути в Москву с Алексеем Михайловичем Егоровым [24].

Как у них распался совхоз: в эти дни, когда вышла газета с первым манифестом свободы, пришел один в сельсовет и подал заявление, без всяких объяснений, молча, что он из колхоза выходит. Вслед за ним другой и тоже молча, и третий, и повалили все, и никто не сговаривался, все молча каждый за себя отказались.

— И как иначе,— сказал А. М.,— если в газетах было запрещено насилие: какой человек охотой пойдет в принудиловку? Осуществили у меня корову (обобществили), осуществили лошадь, свинью зарезать велели и (1 нрзб.) представить. А в газетах говорят, что корова, лошадь, изба моя, огород, все это мое и вещи все мои. На каждую вещь я имел охоту, за каждой вещью я как за лисицей охотился. И когда остался я без охоты в коллективе, стал всякую мою вещь, нажитую охотой, спускать за бесценок, чтобы не себе и не им. Без вещей и без охоты шел я в коллектив, как на войну околевать, и вдруг читаю в газетах, чтобы никакого принуждения не было и все шли в колхозы только по доброй своей воле. Как прочитал, пошел в сельсовет и подал заявление молча...

26 марта. Мирон рассказывал с отличным своим смехом, что Шараповский колхоз распадался с великим боем: три дня мужики бились. «Из-за чего же бились?» — спросил я. «По разным причинам,— ответил Мирон. — Прохор бился из-за овса: когда лошадь сдал в коллектив, то с ней сдал 17 пудов овса, а когда лошадь получил обратно, овес ему не вернули. Как же ему, правда, с лошадью весной в распутицу оставаться без корма?» По разным причинам так бились мужики Шараповского колхоза три дня, а вот где-то в Спас ли Закубежье или у Дмитрия Солунского и посейчас бьются: согнать дались в коллектив, сойтись — сошлись, а разойтись не могут.

Мирон еще рассказывал со смехом:

— Смотрю, стоит у окна, стучится ко мне один из бригады: уговаривал идти в колхоз, ругался, грозил лишить мануфактуры, пайка, обещался собственными руками зарыть, когда с голоду издохну. Теперь стоит, улыбается. «Ты что,— говорю,— опять уговаривать?» «Нет,— отвечает,— чинить приехали, если плуг, или борона там, или что...» Вытащил я плуг, десять бы рублей надо, а он так починил. «Да что же,— спрашиваю,— с вами сделалось? То кидался, как ястреб на курицу, а то... поди вот». Он отвечает: «Мы перегнули, теперь исправление поправляем и насчет веры не стесняем: собрались 6 человек — и верьте! И пасха придет, у кого куличи будут, тоже стеснять не будем, только узнаем, у кого куличи, придем и будем рассказывать и пояснять, что все это тьма и предрассудок».

Мирон же на это будто бы ответил:

— Так-то ничего, мы будем есть, а ты стой и рассказывай.

«Аппарат» действительно вполне аппарат, стоит нажать пуговку, и начинается мгновенно соревнование. Слишком зависимые люди, холопы, а самостоятельным быть нельзя. И, видимо, это необходимо в наше время, из-под палки с голодным ничего не выходит. Чувствуешь, как неизмеримо умнее их мужики, даже бабы. Егоров, например, так охарактеризовал эту эпоху: «Все было не к делу». «К какому делу?» «Да к ихнему социализму: не нужно это социализму...»

27 марта. В Бабашине Еремин — бедняк держал всю деревню в страхе. Первое, конечно, что бедняк и у него особенные права. В последние дни («до газеты») страх в народе дошел до невозможного. Довольно было, чтобы на улице показался какой-нибудь неизвестный человек с папкой в руке, чтобы бабы бросались прятать добро, а если нечего прятать, то с болезненным чувством ожидать какой-нибудь кары. Тимофеева Мария рассказывала, что бабы по вечерам бегали друг к дружке, сговаривались в случае беды мужиков услать куда-нибудь в лес, а на сходку выходить одним бабам, потому что мужиков со сходки берут, а баб оставляют с детьми, а если бабу взять, то и детей надо. И обещались бабы стоять до последнего и в коллектив нипочем не соглашаться. Так и ожидали этой сходки, как смерти: помрем вместе с ребятишками, подохнем с голоду, а в коллектив не пойдем.

Один только Еремин — бедняк ничего не боялся и всю деревню в страхе держал, первое, потому что он бедняк и у него права, второе, что на сходке горланил и яро требовал коллектива, третье, был здоров и хлестко дрался: говорить против него было опасно, встретишься в лесу один на один — и отлупит. Их было, Ереминых, два брата, этот Антошка и Тимофей. После отца братья разделились, отцовский старый дом достался Антону, а Тимофей пошел жить на квартиру и через пять лет построил себе новый дом и отличное завел хозяйство: три коровы, две свиньи, пять овец. У Антона же не только ничего не прибавилось, а даже и что было, ушло, и дом отцовый стал вовсе разваливаться: лестница прогнулась, треснула, потолок чуть не подавил семью. Мастер кое-как справил дом, сделал железную скрепу, схватил ею лестницу, винт пропустил и вверху навинтил гайку. Ну вот когда стали сверху настаивать на колхозе, Антон сразу горячо взялся за колхоз, потому что у него мысль была: когда, мол, утвердят колхоз, отвинчу я наверху гайку, матица разломится, потолок завалится, и я тогда буду у колхоза требовать себе новый дом. Из-за того и спорил, и бился на сходках за колхоз, и доносил, и держал всех в большом страхе. А когда газета вышла и была объявлена свобода: хочешь — иди в коллектив, хочешь — живи, как жил, то приехали все это разъяснять с Мытищинского завода шефы. Собрали сходку, и шеф стал извиняться, что перегнули и линию партии искривили разные недобрые люди: бюрократы.

Конечно, тут все вздохнули свободно и стали высказывать и жаловаться. Рассказали и об Антоне все с самого начала, как он разделился с братом и ему досталась изба, а через некоторое время у брата Тимофея явилось хозяйство, и чуть его за это не раскулачили, а у Антона отцовская избушка чуть не рухнула и что он лестницу схватил болтом и рассчитал, когда начнется колхоз, гайку отвинтить, обрушить потолок и требовать себе новый дом.

— Всех нас в страхе держал,— сказали шефу на сходке.

И спрашивали мужики и бабы шефа, что как понимать теперь, после газеты, таких бедняков.

Шеф вспыхнул, переменился в лице и повторил:

— Дайте вы ему в морду.

Потом одумался и поправился:

— Нет, я ошибся, извините, нельзя бить по закону в морду никакого человека. Так вот, вы не бейте его в морду, а просто плюньте — и все, плюньте ему в глаза и не ответите.

Учительница в Бабашине партийная и гуляла с шефом, а муж ее служил в Красной Армии. Вот было в школе представление для детей, и для этого привезли из Позохина икону. После спектакля икону эту бросили на пол, и так она долго лежала на полу, и через нее сор мели, не обращая внимания. Вот однажды приезжает в побывку муж из армии, по пути, конечно, узнал, что жена гуляла с шефом. Пришел домой — ее нет, а на полу в школе валяется в пыли икона. Поднял он икону, протер платком и поставил на подоконник, а сам пошел тихонечко загумной дорожкой. Его кто-то встретил там и спросил — чего это он идет загумной дорожкой. Совестно,— ответил он,— мне по улице идти. Прощайте, больше вы меня никогда не увидите. И пропал.

Уважаемый тов. Щеголев.

Предложенную Вами тему для кинопьесы: «Охота за пушниной в СССР» с изображением алтайской природы и народностей с социальным углублением я готов разработать, однако при непременном условии maximum двухмесячного изучения местных материалов, главным образом, путем фотографирования. К 1-му октября или ноября я мог бы взяться представить Вам такое либретто, такое подробное, что, может быть, ничем не будет отличаться от сценария. Я постараюсь в этом либретто-сценарии разговаривать, главным образом, фотоснимками, что

чрезвычайно должно облегчить киносъемку, а в некоторых частях при помощи мультипликации, быть может, и совсем обойтись без таковой.

28 марта. Ночным большим снегом завалило было всю весну, но... вот штука! Написал «но», и представилась передовая «Известий» после манифеста: пишут их, начиная о здравии или за упокой, и кончают, если началось за упокой — о здравии, а если началось со здравия, то конец за упокой; и ровно посередине (надо будет сосчитать строки) непременно бывает это «но»; например, если началось со здравия, похвальбой удивительным невиданным ростом колхозов и прогрессивно возрастающим крестьянским самосознанием, то строк так через полтораста перечисленных всевозможных доблестей партийного строительства следует роковое «но», после прогрессивного возрастания в напряженности следуют примеры и левого загиба, и перегиба.

Наоборот, если барин встал с левой ноги, то после последуют примеры правого уклонизма с призывом собрать все силы для борьбы с кулаками, которые в гонении как будто даже окрепли духом и стали особенно опасны: разоренные, обезличенные, они срываются с мест и там, где их не знают, проникают в колхозы, вконец разлагая их...

Итак, я работаю над следующими вещами:

1) Литература документов: Гибель [25], Каляевка, очерк путешествия на Алтай.

2) Мишка.

3) Кинофильмы.

30 марта. Враги большевиков при «левом загибе» страшно радовались. Теперь большевики отступили и у них уныние. Так крыло левое и крыло правое касаются друг друга: (франц.: противоположности сходятся), очень яркий пример. А я? Нет, я не с правыми... И ненавижу левых. На одной стороне мундир и полиция, на другой — хамская наглость.

Все начинают свыкаться с мыслью о неизбежности России — колонии. Не на чем больше и остановиться. И нет производительных единиц в коллективе, на которые могло бы опереться правительство. Нет, по-видимому, возможности оправиться от ужасных последствий «левого загиба». Скоро все представится судорогами умиравшего царизма...

1 апреля. Вполне зима, все белое, ив окнах мороз. Вьюга. Точно так прошлый год обманула весна, значит, вот почему так неохотно прилетали грачи, как будто каждый, прилетев, думал: «По правде говоря, весна уже кончилась в Советской России, и летать бы вовсе не следовало, но все как-то неловко потерять связь с предками».

Из очень верного источника слышал, что в Рязанской губернии во время мужицкого бунта бабы с детьми стали впереди мужиков, и солдатики не стали стрелять. В царское время, ничего такого быть не могло: солдаты бы, конечно, стрельнули, но не вышли бы бабы, потому что только коллективы могли довести бабью душу до героизма. И этот мотив, отмеченный, мне уже рассказала Марья — ого-го! — характеризует, наверное, всю страну в эпоху «левого загиба».

В политике сейчас, как весна: рванулось вперед, и опять все заморозило. У них остались только базары. Радуйся базарам: масло, яйца сколько хочешь! И мужикам вообще стало хорошо. Когда и куда теперь еще рванет?

2 апреля. Снегу навалило больше, чем зимой. Читаю Робинзона и чувствую себя в СССР, как Робинзон. Это свойство всех крупных произведений — передавать мысль на себя. Так что бывает недоумение: что, это автор открыл твои глаза на твою вечную, присущую всем черту, или же так пришлось, что избранные автором черты жизни как раз были твоей особенностью?

Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами, что только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов.

[На полях:] Сталину:

«Среди ограбленной России
Живу, бессильный властелин».

И вот размышляешь в своей пещере, задавая главный вопрос: есть ли наша революция звено мировой культуры или же это наша болезнь?

Если это наша болезнь, то болезнь, как, например, сифилис, полученная изане случайно, или же болезнь как следствие своей похоти. Или это болезнь роста, вроде юношеской неврастении.

Я хочу думать, что это у нас болезнь роста и, значит, например, явление Сталина с его «левым загибом» — неизбежно было: что-то вроде возвратного тифа.

Пойму (хотя не разделяю), если поставят вопрос: «Идея или народ?», но конечно, это болезнь, если ставят, как у нас — «Машины или народ?».

Теперь, когда на базарах опять яйца и масло, пасмурен ходит творец великой формулы «машины вместо народа», он понимает этот поток яиц и масла в сторону потребления граждан, как огромный убыток государству, ведь все это должно бы уйти за границу на уплату долга за машины.

Статья «Головокружение» в деревне теперь как эра, так и говорят всюду, начиная рассказ: «Было это, друг мой, до газеты»... Или скажут: «Было это после газеты».

И немудрено, это эра. В этом краю ремесел (3 нрзб.) нет села и деревни, где бы люди веками не занимались каким-нибудь ремеслом, часто удаляясь из дома и оставляя земледелие бабам. Какое это земледелие! Но ремеслу не посчастливилось с первых дней революции, рухнули в столице (1 нрзб.) кустарь явился домой (4 нрзб.) и стали земледельцами.

Подросла не обученная ремеслу молодежь... Попробуйте только в коллектив! А между тем «левый загиб» автоматически загибал и в этом краю.

4 апреля. Вчера опять Сталин. Оказался прав тот мужик, который, прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход. Обозначился обход: опубликованы льготы колхозникам, и подчеркнуто, что крестьяне вне колхозов этих льгот иметь не будут. Иначе говоря, государственный налог должны будут платить дикие крестьяне. Иначе и быть не может, на мужиков правительству опереться нельзя, значит, надо создать верных мужиков (то были столыпинские «крепкие земле» мужики, теперь колхозники, то есть крепкие правительству).

В общем, острота миновала. Если сев пройдет более или менее благополучно, то по обыкновению общественное сознание на летнее время провалится, а осенью обозначится неизвестно что...

5 апреля. Рубят лес мужики из Березовки. Мне они рассказали вот что. Нужно было кого-нибудь раскулачить, а нет кулака, бедная деревня — один середняк. Вспомнили наконец, что у Семена Ивановича есть стенные часы, ореховые, с боем, без гирь, и заводятся всем на удивление раз в месяц. Вот и решили эти часы отобрать. Свезли в сельсовет и повесили. На другой день выходит газета. Раскулаченный человек — в Совет с газетой, показал. Делать нечего, часы отдали...

— Значит,— сказал я.— раскулачили и опять окулачили. Смешная история!

— Смешная,— согласился мужик,— только куда тут смеяться: страшно, не до смеху.

— Да,—сказал я,— может быть, не смеяться надо, а плакать.

— И плакать нельзя,— сказал он.— смеяться страшно, плакать — некому слез утереть.

9 апреля. Князь [26] сказал:

— Иногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходит.

Фотографировал весну: снег с летними облаками; снег на глазах рождает воду, и летние облака уже спешат отразиться в этой мутной воде. Летят журавли. Муравьи выбрались наверх и почему-то лежат толстым слоем, темным пятном на освещенном солнцем муравейнике (как пчелы, когда им холодно). На муравейнике видны дыры, из которых выбирались наверх хозяева.

Зяблик поет, а певчих дроздов почему-то нет, и березка соку еще не дала.

Весь насквозь протравленный весенними лучами, подхожу к полотну железной дороги. Поезд идет, бегут вагончики, очень славные, и люди в них сидят непременно хорошие: нет никому теперь зла от них, сидят, глядят в окно и разду-

мывают. Наверно, и меня среди белых березок заметили, может быть, кто-нибудь узнал и обрадовался. «Вот,— скажут,— и Пришвин идет с топориком в непромокаемых сапогах по воде, сочиняет сказку детям или охотникам.»

Мальчишка потребовал: — Сними меня! Я промолчал. Он лезет. «Убирайся!» — сказал я. Он отстал и камнем меня в затылок, меня, старика, собиравшего материалы для детских рассказов. Что было делать? Он пустился бежать во весь дух. Сверху видели два молодых человека. Я им пожаловался. Они не отозвались даже... Вот так и съел камень.

Конечно, такие мальчишки всегда были, но боли такой не было в душе, и потому камень нынешнего времени гораздо больнее ударил. Боль небывалая. И некуда с ней прислониться, как раньше бывало («некому слезу утереть»). Бывало, все надеемся: вот переможем, нажмем — и будет лучше. Главное, тогда (хотя бы при Ленине) думалось, что можно смириться, по-человечески кому-то рассказать, и поймут, и заступятся. Теперь некому заступиться. И вовсе пропади — совсем не отзовутся, потому что мало ли пропало всяких людей и пропадает каждый день.

Может быть, Сталин и гениальный человек и ломает страну не плоше Петра, но я понимаю людей лично: бить их массами, не разбирая правых от виноватых,— как это можно!

А, впрочем, тут есть еще вот что: я, как многие, вероятно, пережидаю и думаю: «Я погожу в стороне, а оно само собой перейдет как-нибудь к лучшему». Между тем без меня оно к лучшему не переходит, и вот почему боль, и так хочется кого-то обвинить. С другой стороны, это уже последнее разложение воли, когда человек доходит до самообвинения...

12 апреля. После этой светлой недели (или больше) впервые утро показалось с огромными дождевыми облаками...

Пусть люди добыли хлеб и молятся усердно Богу, словом, все у них будет и в полном порядке. И все-таки если нет у них игрушки, нет досуга играть и забываться в игре иногда совершенно, то вся эта деловая и умная жизнь ни к чему, и в этом уме не будет смысла. Значит, мы артисты, призваны дать людям радость игры против необходимости умереть. Верность мысли моей свидетельствую памятниками искусства всех народов...

Много раз мне приходила в голову эта мысль, и недаром я хожу теперь по лесам и на ручьях и пнях снимаю своего Мишку. Это произведение должно быть моим самым лучшим.

Ходили с Левой[27] в колхоз «Смену». Председатель, показывая коров, сказал, сколько отправляют молока на продажу. Мы спросили его: а сколько оставляют себе? «Сколько же оставляют?» «Сколько выпьют». «А сколько полагается человеку молока?» «Сколько хочет». Недоумение наше скоро кончилось, надо было сказать — не сколько хочет, а сколько может купить, потому что каждый берет лимит к своему заработку...

Приходит иногда человек в одной рубашке, его оденут, запишут вступительные, и так в первый же день за ним будет рублей 80 долгу, потом еще и еще...

— Потогонная система.

— Конечно, не социализм, будет он когда-нибудь нескоро, когда машины будут...

Так оказался молочный конвейер идеалом...

Любопытно, что председатель спор завел с Левой. Он: «Все зависит от культурного уровня». Лева: «Культурный уровень зависит от экономики». «Нет, один человек стремится, потому что у него культура, а другой ничего не хочет, и кто стремится, тот всего может достигнуть...»

Интересно: под давлением каких обстоятельств произошло такое отступление от политграмоты?

13 апреля. Мастер колхозных дел Анисимов уже после газеты организовал колхоз в Малинниках: мужики будто бы сами пришли. Он отрицает(!) принуждение и до газеты. Мы спросили: «Почему же после газеты все развалилось?» «Потому что взяли пример, в одном месте распался колхоз, и глядя на него пошло кругом...»

Жизнь в колхозе фабричная.

Я спросил: «В капиталистическом мире талант находит себе применение и вознаграждается, что движет здесь?» «Идея?» — нерешительно спросил он. «А есть она?» Он замялся. И привел в пример безыдейности тот факт, что Сталин съел Троцкого. Значит, «идея» в его понимании есть согласованность людей, может быть, и любовь.

Среди бедняков 50% природных лентяев.

Власть как сила греха.

15 апреля. Вчера был некий молодой писатель Ф. М. (а там кто его знает — кто он?).

Он был на хлебозаготовках, рассказывал, и становится понятным, что хлебозаготовки в этой войне большевиков с мужиками были как бы артиллерийским огнем, а последующее «раскулачивание» — атакой. И так еще надо понимать, что первая атака была отбита, теперь же начинается новая.

Он рассказывал, что в одной деревне (около Ульяновска!) мужиков до того довели, что они вынесли и бросили ключи от амбаров. Еще было, что в амбарах на муку сажали маленьких детей, рассчитывая, что детей пожалеют, не возьмут.

Троцкий погиб, потому что был недостаточно прост для власти нашего времени: власть как «сила греха» является нам олицетворением палача и жертвы. В мирное время палач маскируется.

16 апреля. Москва, Тверской бульвар, дом Герцена. Исполком Федерации. Осипову, для Тихонова.

Считаю возмутительным отказ мне в комнате с обреченностью на ссылку, сознательное устранение старого писателя от общественной деятельности.

Требую пересмотра и в случае вторичного отказа буду бороться путем широкой огласки.

17 апреля. Страшнейшая чистка «головотяпов» (наган на стол и мужикам: «Колхоз или Нарым?»).

Роль женщин в колхозное время. «Хотя и равноправие, но все-таки бабу считают как бы глупенькой, с нее не взыскивают, если она скажет лишнее, и она все говорит. А мужик прятался за бабу. Он тоже все понимает и не глупей ее, да вот с него спрашивается, он отвечает, а баба как бы глупенькая, ей все можно».

Поняли победу свою как временную. Данило сказал: «Тёлку я оставил теперь на два (1 нрзб.): коли не так, нож в горло, и кончено».

В Ведомше было 500 овец, теперь осталось 40 (посолили).

Странная зима. Время шло, а как шло, мы не знали.

18 апреля. В городах все теперь в большой тревоге: как будто некто сжал в ладонь свою весь русский народ и собирается швырнуть его, чтобы этой бомбой поджечь международный пожар. Все затихло перед катастрофой неминучей. А в деревне мужики этим нисколько не беспокоятся, они рады-радехоньки, что их коровы из колхозов вернулись домой.

«Был колхоз?» «Был и развалился». «Корова вернулась?» «И корову вернули, и лошадь».

Чистка руководителей колхозустройства. Некий Сыроешкин после чистки был арестован, и бабы плевали ему в лицо.

Мужики больше всего волнуются, что в делах хозяйства им указывают ничего не понимающие мальчишки. Молодостью, невежеством при коротенькой политической натаске объясняется возникновение такого множества негодяев среди партийцев, строителей колхозов («в два счета на ять»).

26 апреля. N.[28] был и опять расстроил меня. В конце концов эта по-

Никаких обязательств между полами, а держатся парами, детей в ясли — сколько хочешь, а живут и держатся мужей. «Почему так?» — спросил я спутника. «Потому,— ответил он,— первое, что работа у нас все-таки очень уж трудная, а второе, пища пока тоже неважная».

В каждой передовой «Известия» считаются с теми заграничными публицистами, которые болтают в своих газетах, будто варшавская бомба — дело наших собственных рук. И каждый раз, читая эти статьи, красиеешь за «родину»: до чего же мы пали, что смеют о нас так думать за границей, до чего унижены, что находим нужным в передовых офиц. газеты защищаться.

3 мая. Читаю К. Леонтьева [30]. Самое худшее его предчувствие сбылось, и мрачные пророчества осуществились. Настоящая действительность: «Не хотели чтить царя, чтите... Сталина. Сброшена царская мантия, и трон и сам царь расстреляны, но необходимость царя осталась: в дыру кляп забили, и корабль хотя и плохо идет, но все-таки на воде держится».

К. Леонтьев — смелая, героическая натура, но... можно было предвидеть и сам он предвидел, что из всего его дела выйдет лишь жест.

В наше время правительство обладает теми кадрами, которых не было при царе: фанатически преданной ему молодежи. Вот почему троцкизм, воронизм, перевальцы должны сойти на нет: это прежние либералы.

6 мая. Продолжаются майские холода. Был в Москве. Дело с налогом фукнуло. Виделся с Лидиным [31] — это мой термометр. Жена у него ослепла (вот бедный! первая жена умерла в родах, вторая, сестра ее,— ослепла). В пессимизме он ужасном, но едва ли от семейного горя. Булгаков пришел — в таком же состоянии. Казин [32] — тоже. Предсказывают, что писателям будет предложено своими книгами (написанными) доказать свою полезность Советской власти. Очень уж глупо! Но как характерно для времени: о чем думает писатель!

Купил «Записки писателя» Лундберга [33]. Вот писатель: умный, образованный, честный и не безвкусный, но... по-видимому, претензия на ум все убивает. Книги его, однако, наводят на мысли начать свои мемуары.

Не было еще случая, чтобы мне отказывали в журналах, но больше уже и не просят. Самое же главное, что сам чувствуешь: ненужный это товар, всякая инициатива глохнет. Итак, или мемуары, или экзотика.

Реквием. Памяти Л. Андреева. Из предисловия В. Невского: «Жизнь Л. Андреева [34], этой оригинальной индивидуальности, ставшей в противоречия с нами особенно резко и непримиримо, когда этот старый мир погибал и на его развалинах возникало что-то новое и прекрасное».

Не согласен, что современная жизнь есть прекрасное, потому что прекрасной жизнью понимаю момент творческого воссоздания настоящего из прошлого и будущего. Мы же теперь не творим, а бунтуем еще, потому что мы не спокойны в отношении прошлого, мы его отрицаем еще только, поэтому у нас только будущее без прошлого и настоящего, жить будущим, не имея ничего в настоящем, чрезвычайно мучительно, это очень односторонняя и вовсе уж не прекрасная жизнь.

— Из-за чего гореть? [35]

— За свободу совести, за свободу печати, за неприкосновенность...

— Свободу? У нас самое свободное государство. Вот доказательство. Мы понимаем свободу личности не в пространстве, как анархисты, а в коллективе, конечно. Итак, наш рабочий коллектив предоставляет каждому трудящемуся наибольшую во всем мире свободу.

— Трудящиеся! Мы все трудящиеся.

— Конечно, не всякий расходующий сво трудовую энергию может быть назван трудящимся. Мы называем трудящимися тех, кто работает в советском государственном предприятии, фабриках, колхозах и учреждениях государственного аппарата. Все эти лица пользуются свободой совести, поскольку совесть их является формой личного выражения совета пролетарского коллектива... За что

же гореть, за (1 нрзб.) совесть или за буржуазную? Ведь староверы горели за веру свою, выраженную в перстах, в иконах и книгах, они могли на вопрос «За что горите?» поднять вверх два пальца — и все! Назовите же вы или покажите то, за что вам гореть?

Подумайте, ведь решительно все названные вами лозунги входят внутрь нашей рабочей программы: у нас все ваше — либеральное, прогрессивное и рациональное, только без лицемерия либералов — все в пентаграмме.

— Покажите же за что вы хотите гореть, мы, может быть, вас удовлетворим.

— Крест.

— Пожалуйста, несите крест, у нас Голгофа для всех открыта. Не хотите истинной Голгофы, идите в Живую церковь [36]: там недурно.

[На полях:] Они говорят, болтают и врут потому, что сделали кое-что: Октябрь не шутка. Вам же нечего сказать на эту болтовню, потому что вам надлежит кое-что сделать (может быть, из себя крест поднять!).

«Время переходит: перейдет как-нибудь без нас, а когда перейдет, мы тогда тоже примкнем к хорошему»,— так живет и думает старая интеллигенция в Сов. России.

Надо бы против пентаграмм крест поднять из себя, а это тяжело очень.

Православный крест... монархия... Попы... панихиды... Урядники... земские начальники — невозможно!

10 мая. Был у Попова и много разговаривал с ним о разрухе. Вот теперь трапезную, здание XVI в.[37], переделывают на завод, а возможно, будет педвуз, зависит от того, кто победит. Перемены во всем и везде, а причина их — авантюризм (анархист — индивидуалист). Занятно, что библиотекарь на свой счет содержит уже 5 лет сторожа и страхует библиотеку за свой счет.

Итак (майский парад) все видимость (тов. Игошин), а внутри нет ничего: nihil [38]. Суждено ли этому nihil начать мировой пожар, или видимость раньше того исчезнет?

Встретил Софью Карловну [39], у которой известно: в роду был Карл. Она начала бранить русских: «всех без исключения». Высказала свою, а может, скорей всего и не свою отчаянную мысль, что большевизм всем русским нравится тем или другим, что все без исключения ему преданы и даже граф Олсуфьев отпустил бороду, ходит в рубашке и доволен этим свинством — в рубашке ходить.

— Все без исключения довольны этим свинством!

Мне, как совсем русскому человеку, стало неловко: у нее в роду Карл, у меня лавочники. Чтобы дать ей возможность поправиться я сказал:

— Ну, как без исключения, а вот родственник ваш Влад. Андр. Фаворский [40] — какой славный человек.

— Так у него же мать англичанка! — воскликнула Софья Карловна.

Я приготовился сказать: «А у меня мать испанка». Но побоялся, что она опомнится и ей будет неловко. Она глупенькая. И какая же болтушка.

Если бы могла эта дурочка чувствовать хоть немного, как болит душа у русского, сколько сослано людей и как там страдают!

[На полях:] 11 мая. Попов сообщил факт, о котором я догадывался: главный кадр безбожников вышел из семинаристов. Отсюда: а в прошлом — Добролюбов и проч. Если да, то безбожие это полное, голое, ни в каком случае не натуральное безбожие (в смысле богоотступничества).

Вчера нащупалось: с самых разных противоположных сторон жизни поступают свидетельства в том, что в сердце предприятия советского находится авантюрист и главное зло от него в том, что «цель оправдывает средства», а человека забывают. В этом же и есть, по-видимому, вся суть авантюры: внимание и забота направлены на внешнюю сторону, отрыв от человека— потому несерьезность. Забвение человека ради дела, поставленного авантюристом.

Пишут письма о «Каляевке»[41], а мне «Октябрь» не шлет журнал. Пишу — не шлет. Полное пренебрежение к производителю. Мысль об этом создает бесплодное состояние бессильной злобы. Это мелочь, но «чистка» уже не шутка, она целиком пленяет злобой своей личность. Борьба с этим состоянием на два фронта: 1) углублением в творчество, 2) стремительная (1 нрзб.) на причину беспокойства.

Однако все эти меры, как аспирин в инфлюэнции. Болезнь очень глубока: в наше время человеческая личность — ничто, в расчете на смену можно личностью распоряжаться, как вещью. Наркомздр. Владимирский, сменивший Семашко, при своем вступлении стал опрашивать служащих, кто сколько служил. Один (1 нрзб.) похвалился: «С основания наркомата». «Пора в крематорий»,— ответил начальник. И уволил служащего. Так перед каждым работником: дай дорогу молодому, лучшему.

Анархизм.

Один утвердил себя в творчестве, он мог бы жить в свободном обществе, зачем ему государственная власть? И он называет себя анархистом (Толстой, Ибсен, Реклю).

Другой, как наш русский крестьянин, устроил себя в своем доме, в деревне, знает одну версту течения своей реки, и все, что приходит к нему от всего государства,— все это зло ему. Он анархист. Третий вышел на волю и свою удачу, свои достижения считает мерилом жизни,— тоже анархист?

Из всех этих элементов сложилась наша государственная власть, она знает, что все анархисты, все сволочи, и личностей не признает. Она безлична и отвлеченна, потому что исходит от личников, стертых трением друг о друга на пути к власти. Так возникает «колхоз» (садок анархистов).

12 мая. Смотришь, бывает, на человека и думаешь: что бы за человек он был, если бы марксизма не было?

— Не могу себе представить совершенно жизнь без марксизма на земле...

Т. Дунин, директор музея искусств в Сергиеве, вечером, уходя домой, захватывает с собой самую толстую книгу и всю ночь читает, стараясь догнать мир в отношении культурности. Он читает всю ночь напролет какую-нибудь загадочную книгу, например, о древнерусской старине, и старается понять это явление с точки зрения экономического материализма. Мало-помалу он так наторел в этом, что за ночь мог перевести на марксизм довольно толстую книгу.

15 мая. Дождливый день и прошел бестолково, если не считать разговор с N, в некотором отношении интересным. Первое: выяснилось, что от рабочих масс к правительству исходит некая сила, все обезличивающая на своем пути, вплоть до главы правительства, который всегда может быть заменен другим, совершенно равным ему.

Второе: существуют лица у нас везде и всюду, столь убежденные, что никакая сила не может остановить их. Мой собеседник, думая о них, сказал: «А социализм у нас растет». После он оговорился: «Я не знаю, впрочем, социализм ли из этого выйдет». «Может быть, фашизм?» — спросил я. «Может быть».

К этому еще одно о N. Силясь вдуматься и понять события, он не понял их за все 12 лет только потому, что втайне, как высоко поставивший себя, презирал большевиков.

N. считал их просто случайностью и потому временным затмением невежественного народа. Никогда он не мог про себя ставить народных комиссаров в уровень с императорскими министрами. Короче сказать, события не были для него универсальными, а мелкими, временными, вроде китайских бунтов и замираний. После 12 лет у него наконец открылись глаза: события были универсальными, стоящими как огромный и страшный «русский вопрос» перед всем миром.

19 мая. Поездка на зооферму «Лисья поляна».

Из беседы с извозчиком: «Скоротечный, двухгодовалый анженер». Мальчишка от политики, комсомолец, мешающий работе: «гуттаперчевая пробка». Революция нахлобучила (жил человек, и вот...). Строительство не отрицает, везде видно строительство — вот и зеленый город в Софрино — хорошо — хорошо.

А если подумать, что для этого города надо на сто верст разорить,— не дюже хорошо. Одну фабрику выстроят, а пять разберут.

Так вот создан был мир домашний, но как же создается мир всего мира. Где тут? Хотя бы только смелости набраться, чтобы о мире всего мира помолиться... как ведь оно: только подумаешь о мире мира, так сейчас появляется Европа, Англия, Америка, Китай... до того (1 нрзб.) въелось разъединение. Надо быть очень близким к ужасу разрушения ближайшей войны, чтобы молиться о мире.

Надо войти внутрь современной мировой политики, сделаться очень близким мировой жизни, трепетать всем существом перед ужасом предстоящей войны, чтобы дерзнуть помолиться о мире всего мира.

Смысл современного обезличивания (перемен, переброски и т. п.): это ставка на сильную личность. Писатель, напр.,— в обыкновенных условиях награждается лавровыми венками общественного признания, в прежнее время можно указать множество примеров бездарностей, почему-то признанных и наслаждавшихся всеобщей известностью до конца своих долгих дней. Теперь такие ошибки возможны на короткие сроки — сезон, не больше. Зато и даровитые люди мало поощряются. Теперь ставка на такого писателя, который вовсе бы разучился думать о награде и о своей личности... Так понимаю я. Но можно и так понимать, что ставка теперь не на сильную личность в широком, творческом смысле слова, а на личность, которая выживает...

29 мая. Наш социализм питается разложением государства и является продолжением великой войны: верней всего, это мост между одной и другой будущей войной. Сила его состоит в определенном отношении к факту войны.

30—31 мая провел в зооферме.

1 июня утром вернулся домой, приехал Разумник[42]. И был у меня до 4 июня.

4 июня. Проводил Раз-ка. В 4 еду в Москву на диспут о «Каляевке».

«Сахар на базаре 3 руб. кило, и в киле фунт».

Расстались с Разумником с такой резолюцией: какая-то слабая надежда, что пересидишь, все еще есть, и сдаваться нельзя: будем работать над «соболями». Но не мешает также начинать собираться в последний путь, укладываться, чтобы не кончить жизнь подзаборной собакой. Разумник говорил, что слышал от человека, который слышал речь Семашко выпуску врачей: «Врачи должны держаться классовой морали и не лечить кулаков!»

«А что, если больной страдает заразительной болезнью?» «Изолировать». Значит, если не лечить и изолировать...

5 июня. Написал о диспуте.

Отец отечества, Семашко, снова на склоне лет вмешался в мою жизнь. Люди искусства могут жить, не занимаясь политикой: она им не нужна. Но политика только во время войны обходится без искусства: им необходимо оно для славы (после войны). Художник не судит политиков, он испытывает на себе их действие, кричит от боли, редко радуется. Но политик непременно считает себя понимающим в искусстве и судит. Художник часто в несчастном положении от политики, политика — в глупом от художника.

Семашко закончил:

— А насчет аполитичности художника, то об этом мы поговорим (1 нрзб.) с глазу на глаз. Товарищи! Не может быть художника без политики.

9 июня. Диспут 4 июня превратился в чистку, вероятно, по упущению председателя, который до того привык быть на чистке, что, упустив вначале, потом даже и забыл совсем, что происходит диспут, а не чистка. Эти узкие спецы, вероятно, не могут даже допустить мысль, что поэтические произведения пишутся без всякой помощи Маркса.

Вчера был на «встрече писателей с детьми». Попал к пионерам — такое множество, что президиум кричал в трубы. Я был совершенно один среди мальчиков. Мне тоже предложили трубу.

— Это Робинзон Крузо,— сказал кто-то в толпе.

Потом открылось, что я не туда попал...

12 июня. Ехал со мной юрист (вероятно, из ГПУ), я с ним был очень откровенен и болтал без умолку. Он очень натасканный, но неумный и малообразованный еврей. Характеризовал наш строй как беспримерный образец господства большинства. И вскоре затем раскрылся: «Почему бы не пожертвовать 5 миллионов для благополучия будущих ста?» Я отказался... Он сослался на войны. Я о них: «Бессознательные». Он: «Нет, вполне сознательные». Я: «По крайней мере обывателям представлялись войны как несчастие, а теперь — как сознательное действие. Обывателю трудно».

18 июня. Вчера в 6 в. пошел на почту отправлять телеграмму Разумнику о согласии издавать «Записки охотника».

26 июня. Вся интеллигенция верит, что будет скоро война, и все о ней говорят. Это становится подозрительным. Тем более что и газеты спешат говорить каждый день о войне. Очень похоже на прием, чтобы все проходило болтовней, а не действием, чтобы в последний решительный момент (будет ли такой?) закричать на весь мир: «Ратуйте, бьют!»

27 июня. В Берендееве... Ботик и озеро...[43]

Конечно, все постарело, и как раз настолько, насколько я сам постарел. Эта встреча не как первая, трепещущая, а тут больше воспоминания и размышления над прошлым. Хорошие люди непременно возвращаются к прошлому и так следят за жизнью людей. Сходили на могилу Верного[44].

28 июня. Трава в цвету. Летние птички, иволги. Ласка озера. Фотографирование... путешествие в Усолье на моторной лодке... Трактир... Раскулачивание. Переход в Хмельники... Ночлег в пути.

29 июня. Раскулачивание: в одной деревне бабы пошли с вилами и добились своего: «Думали — дядя Иван, а оказалась тетка Марья».

«И пожалеть нельзя!» (о попах).

Серьги выдернули у попадьи. У детей фуфайки сняли. «А кто это делал?» «Зауздин». «Кто он?» «Не знаем. Бумаг не спрашивали».

Смотришь вокруг — сколько чужих людей проходят мимо равнодушных, а иногда враждебных, больше равнодушных, и совершенно, совершенно чужие, и сколько! У них нет ни малейшего интереса к иной судьбе и уж, думаю, подозрения или вопроса никогда не может быть, что я тоже человек, им подобный. Сколько чужих!

30 июня. Вечное. Люди сменялись, а озеро глядело вечным глазом[45]. И это оно привлекало людей.

Моя аудитория.

Пять лет тому назад я в тоске думал, что — как невозможно соединить людей для общего восторга здесь на озере (как созвать их в тот день, когда бывает хорошо, как устроить, чтобы все благоговели). И вот прошло пять лет, тысячи людей прочли мои «Родники», и читают, и будут читать. Я соединил их. Я вполне могу представить теперь себе, что тысячи их стоят на берегу и внимают с благоговением тому самому, от чего я начинал...

3 июля. Возможно и, вероятно, нельзя отрицать этого, что классы в нашем обществе существуют и что классовая борьба неизбежна. И еще больше допускаю: надо не отказываться и самому от этой борьбы и, если тронет за жилу, хватать что есть под рукой и швыряться. Но жизнь в интимном мире, в творчестве, в семье, среди друзей и просто частных людей, вступающих с тобой в бескорыстные, скажем, праздничные отношения,— в этом мире всего мира надо жить так, будто никаких классов нет в обществе, люди все равны, все достойны беседы с тобой, открывай для всех двери своей хижины — и тоже сам смело иди к мудрецу и простецу за советом и радостно, не обращая ни малейшего внимания на его происхождение и его классовое самосознание.

Скажи я эти слова до революции, они бы казались обращенными к гимназистам 3-го или 4-го класса — до того уж мораль эта была общепринята. Теперь же мои слова нигде не напечатают и ожесточенно будут ругать как отрыжку мещанской морали.

Слезы и кровь в наше время, как две большие реки, бегут и почему-то, видимо, так надо, до конца должны бежать, и если родники слез и крови станут иссякать, то ты стань коленкой на живое — и еще много выжмется.

Почти прямо так и говорят и сестер милосердия наставляют классовых врагов лечить во вторую очередь, и маленьких детей ненавидеть родителей и предавать их как классовых врагов. Воевать хорошо и нажимать коленкой на павших, но выстроить что-нибудь с такой моралью нельзя и, я думаю, продолжать жизнь людей на земле невозможно. (В твою комнату входит этот человек, будто бы новый, как друг, удивляется твоим словам, восхищается, а потом предает тебя, заявляя с поднятой вверх головой, что для партийца нет ничего частного, все частное есть общее).

Все стало по-разумному, и даже простые рабочие стали говорить не «грецкий орех», как раньше, а «греческий».

Заключительное слово Сталина: «И ничего — живем».

4 июля. Заключительная речь Сталина очень верная: и что Рыков и др., как и все мы, «обыватели», ждем весну и осень из года в год в надежде, что вот эта весна, эта осень наконец-то освободят нас от Маркса. И то верно, что правый уклон — это возвращение к капитализму. И верно, что узкий путь «генеральной линии» — единственный, по которому революция может двигаться вперед: это путь личной диктатуры и войны. Можно думать, что личная диктатура должна завершить революцию неизбежно, потому что как из множеств партий у нас после падения царизма в конце концов взяла верх одна и уничтожила все другие — так точно и внутри партии происходит отбор личностей, исключающий одного, другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин, человек действительно стальной. Весь ужас этой зимы, реки крови и слез, он представил на съезде как появление некого таракана, которого испугался человек в футляре. Таракан был раздавлен. «И ничего — живем!» (Оглушительные, несмолкаемые аплодисменты.)

Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе. Мистика погубила царя Николая II, словесность погубила Керенского, литературность — Троцкого. Этот гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. И так нужно, потому что наступает время военного действия. Надо и самому еще упроститься, сбросить с себя последние, без проверки живущие во мне или, вернее, висящие, как одежда, наследственные убеждения. Один из таких idola, конечно, война. Что может быть фальшивее и противоречивее того, что давали нам под этим понятием: священник в гимназии доказывал, что в жизни людей убивать нельзя, а на войне можно; дома в семье над этим все старшие издевались; Толстой войну запрещал; социалисты шли войной против войны...

Вот теперь только чуть мерещится истинное значение войны как испытания групповой мощи...

При чтении фельетона Радека.

У этих очень развязных людей все строится исходящим от абсолютной истины, что последний шаг истории мира находится в СССР, что, например, Америка, Англия — все это очень отсталые государства в сравнении с нами. Так мыслит «парт-человек», в то время как обыкновенный трудящийся, «спец-человек», никак это не может понять: столяр ищет и (2 нрзб.) стали для рубанка, фотограф (1 нрзб.), писатель — бумаги, мать — ситца на рубашку ребенку, ребенок — конфетку, ведь ничего — ничего нет!

7 июля. Когда говорят об оздоровлении города тем, что выстроят зеленые города и что рабочие и служащие будут слетаться на собственных аэропланах в город лишь на время, то это говорят лишь о внешних крайностях (1 нрзб.) в отношении гигиены тела, но не духа: пусть будут жить вдали от города, тем ху-

же, люди с автоматической душой внесут разложение в недра природы, и тогда не останется на земле даже и уголка, не разложенного городом.

8 июля. Вчера меня задела статья в «Новом мире», где автор осуждает «Перевал»[46] и меня упоминает, перемешивая с мальчишками, притом еще так, что мальчишку поставит на первое место, а меня на десятое. Но самое главное, что статья, бьет в «биологизм», в «детство»,— ничего этого, мол, не надо, все это отсталость, реакция, а нужен «антропологизм».

Сама по себе статья, конечно, ничего не сделает, но «ахиллесову пяту» обнажает, следующий ударит в пяту, и связь моя с обществом прекратится. До сих пор я относился к непризнанию себя так, что «наплевать», но это «наплевать», оказывается, было при наличии фактического признания: печатают, зазывают и проч. Открывается перспектива очутиться за бортом и таким образом утратить всякую связь с действительностью, быть действительно непризнанным...

Трудно представить себе что-нибудь более гнусное, чем речь прол. писателя Киршона[47] на съезде, но тем хорошо, что заставляет задуматься о других крайностях: почему, например, издевается автор статьи «социалист. города» над материнским чувством? Почему «детство», «любовь» и т. п., например, почитание стариков, отца и матери — все это запрещено у нас. Не остается больше никакого сомнения, что невежды, негодяи и т. п. не сами по себе это делают, а в соподчиненности духу социальной революции, что все люди, Сталин даже, не знают, что делают и их со-знание является действительно не знанием, а одержимостью.

Так создается пчелиное государство, в котором любовь, материнство и т. п. питомники индивидуальности, мешают коммунистическому труду. Стоит только стать на эту точку зрения, и тогда все «изуверства» партии становятся целесообразными и необходимыми действиями.

9 июля. Обозначилось и теперь скоро выйдет наружу явным для всех: это направление революционного внимания к самому истоку собственности, в область пола и эроса. И это произошло как-то без всякого идейного предупреждения, прямо вышло следствием раскулачивания и обобществления.

10 июля. Совершенно ничего не делаю. Становится явным невозможность дальше писать о своем: только производственный очерк, только наблюдение, а мне все это надоело... И еще не хватает сил, чтобы перестроиться на писание не печатаемого в настоящем.

К. Леонтьев где-то говорит, что пессимизм или неверие в будущее благополучие человечества обыкновенно сопровождается оптимизмом в частных делах, в личных отношениях вообще, в повседневной жизни, наоборот, люди, воодушевленные идеей спасения человечества, жестоки (я бы сказал: по невниманию) к текущей жизни, часто бывают истинными мучителями своего ближнего. Это очень верно и близко мне: в свое время я был именно таким спасителем человечества, оптимистом извне и пессимистом, бессильным и ненужным человеком внутри слов и внешних действий.

Наоборот, не только разуверившись, но даже просто отстранив от себя как невозможность и ненужность спасение человечества, я стал счастливым обладателем жизни самой по себе и для других ценным человеком как писатель. Воистину на своей шкуре все испытал! К сожалению, только это обретение счастья, через находку самого себя, не повлияло на спасителей человечества, не умолило, не остановило их. Напротив, вот теперь от их действий спасения я теряю себя и не могу больше писать. И так должно быть, потому что «я сам» и мой талант жизненны, биологичны и от спасения человечества («антропологизм»), как всякая жизнь, должны погибнуть рано или поздно.

Внешний пессимизм и внутренний, повседневный оптимизм характерны для женщины, тогда как спасение человечества, идейная, общественная жизнь — это мужское «дело». И вот характерно, что теперь при победе мужского начала, «идеи», «дела» с особенной ненавистью революция устремилась в дело разрушения женственного мира, любви, материнства.

Революция наша как-то без посредства теорий нащупала в этом женственном мире истоки различимости людей между собой и вместе с тем, конечно, и собственности, и таланта. Революция создает женщину колхоза, которая отличается от рабочего-мужчины только тем, что имеет свободных четыре месяца: два перед родами и два после родов. И нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем рационализация половых отношений доберется до полного регулирования процесса зачатия и рождения рабочего человека, как это происходит у пчел. Мы себе это не можем представить, потому что мы выросли в «буржуазном обществе» и думаем, что вавилонская башня рухнет непременно.

Говорят, однако, будто европейцы сговорились не трогать нас и дать возможность продолжить свой опыт для примера социалистам всего мира. Допустим же, что мы так и будем долго-долго с ворчанием и злобой идти по генеральной линии; так мало-помалу мы, все ворчуны, перемрем и вырастут настоящие пролетарии, у которых будет новое против нас чувство... Это, конечно, матери воспитывали у нас чувство собственности, которое и было краеугольным камнем всей общественности; с утратой матери новый человек трансформирует это чувство в иное: это будет чувство генеральности линии руководящей партии, из которого будет вытекать следствие — способность к неслыханному для нас рабочему повиновению — и которое, как прямое следствие из первого,— неслыханная, безропотная рабочеспособность. В зачаточном состоянии мы и сейчас можем наблюдать проявление этих чувств, именно это и входит в состав той веры, которая окрашивала слова и поступки пролетарских деятелей.

К. Леонтьев: «Только создание для себя и по-своему может послужить и другим».

Вот образец прежнего мироощущения!

У него же можно найти бесчисленные издевательства над «религией человечества». К сожалению, он не допускает осуществления. Несерьезно. Надо отнестись без раздражения... с уважением...

11 июля. Из Москвы приехал измученным и голодным. Самое ужасное для меня — это очереди. С утра часа за два до открытия магазинов стоят перед закрытыми дверями очереди «охотников». Это кадры, вероятно, состоят из тех служащих, которые пользуются своим выходным днем для покупки чего-нибудь, все равно чего, всякий товар в отношении наших падающих в ценности денег — валюта. Вероятно, среди них много и прежних торговцев. И вот эта причина — валютность каждого товара — и порождает, вероятно, то следствие, что в магазинах все пусто. Кончиться это должно нормировкой всего, значит, концом денежной системы.

Выбрал самую видную столовую как раз против съезда в «Метрополе». Там была очередь к кассе, и у каждого столика, кроме обедающих, стояли в ожидании, когда счастливцы обслуживаемого столика кончат есть. Переполнение столовой объяснили мне тем, что дома ничего нельзя сделать, все от домашнего стола выскочило к общественному. Я простоял в хвосте долго и, услыхав, что все спрашивают «гуляш», спросил это себе. «Еще и потому,— сказали мне,— сегодня много здесь обедающих, что сегодня мясное блюдо — гуляш». «Значит,— спросил я,— мясное не каждый день?» «Нет,— ответили мне,— мясное раза два в неделю, в остальные дни «выдвиженки».

«Выдвиженкой» называли воблу.

Простояв у кассы, я стал к одному столу за спину обедающих и мало-помалу дождался. Потом очень долго ждал официанта и не мог сердиться на него: человек вовсе замученный. Гуляш оказался сделан из легкого (лошади?) с картошкой, в очень остром соусе. Есть не мог, а стоило 75 к. Спросил салат «весна», в котором было 1/4 свеж. огурца, редька и картошка в уксусе и на чайном блюдечке. Это стоило 75 к. и кружка пива 75, итого за 2 р. 25 к., истратив 1 1/2 часа времени, я вышел с одной «весной» в животе. Поехал на вокзал и, проделав там то же самое, достал хвост страшно соленого судака. Обидно, что после всего встретился человек, который сказал, что в Охотном ряду есть ресторан, в котором за «страшные деньги» можно пообедать по-настоящему, даже с вином. Я бы не пожалел никаких «страшных денег», чтобы только избавиться от очередей. Эта еда и всякие хвосты у магазинов — самый фантастический кошмарный сон какого-то наказанного жизнью мечтателя о социалистическом счастье человечества.

В беседе с Тихоновым пришел к заключению создать книгу: «Михаил Пришвин. Очерк». Критико-биографическую статью напишу сам.

18 июля. Вернулась во всей красе пора военного коммунизма. В борьбе с кулаками встает не социалистический, а казенный против частной ограназации произвол.

На улице в полдень ревел громкоговоритель: пел оперный артист романс Бородина. Шли мимо рабочие и кустари, не обращая никакого внимания на пение, будто это был один из уличных звуков, которые, становясь вместе, в сущности, являются как молчание и каждому отдельному человеку дают возможность жить и думать совсем про себя, как в пустыне. Я шел и думал о галерных рабах,— какая им возможность освободиться? Одно — бунт, который, как у Мериме, кончается гибелью (негры захватили корабль, но управлять им не могли), другой путь — выполнение воли своего господина с тем, чтобы оградить внутреннюю свою неприкосновенность.

— Но если господин велит быть палачом? Если это дело несродно тебе и хозяин твой неразумен, постараешься вразумить его, не вразумляется — откажись и, если надо, умри...

Да, видно, путь раба один: внутри его освобождение при полном равнодушии к жизни внешней...

Но вот теперь новое время, не рабы, а рабочие! По существу, то же самое, они делают чужое дело, для пропитания, а душа их у себя в своей семье, в личности. И вот приходит снова новое время: нет капиталистов, нет ничего чужого, все свое. Личное уничтожается всеми средствами, чтобы рабочий находил радость свою только в общественном. Таким образом, новый раб-(очий) уже не может ускользнуть от хозяина, как раньше,—в сокровенную личную жизнь под прикрытием хорошего исполнения хозяйского дела. Теперь он весь на виду, как бы просвечен рентгеновскими лучами.

Молодая женщина несла в руке какой-то фунтик. Старая женщина издали заметила фунтик и думала: «Откуда фунтик, если ничего нигде нельзя купить, разве дают где-нибудь?» Поравнявшись с молодой женщиной, она спросила:

— Дают?

Молодая очень сердито бросила:

— Нигде ничего не дают.

Политпросвет.

В нашем большевистском социализме не то страшно, что голодно и дают делать не свое дело, а что нет человеку сокровенного мира, куда он может уходить, сделав то, что требуется обществом. На этом и попадались те усердные старатели из интеллигенции, истинные «попутчики», которые легкомысленно пользовались давно пережитым (1 нрзб.) тех рабов, которые в прежнее время выслуживались и получали грамоту вольности. Они того не разумели, что против того темного времени рабства социализм далеко ушел вперед и обладает какой-то малопонятной способностью видеть раба насквозь.

Попутчики этого не учли и, после того как отдали свои силы, были просвечены и грамоту вольности не получили.

Политпросвет.

О просвечивании. Этот ничтожнейший человек — политвошь, наполнивший всю страну в своей совокупности и представляет тот аппарат, которым просвечивают всякую личность.

Б., в сущности, стоит на старой психологии раба, конечно, утонченнейшего: он очень искусно закрывается усердной работой, притом без всякой затраты своей личности: это не выслуга. Конечно, он в постоянной тревоге, чтобы его не просветили, и в этой тревоге заключается трата себя, расход: легко дойти до мании преследования, тут весь расчет в отсрочке с надеждой, что когда-нибудь кончится «господство зла».

Я спасаюсь иначе. Мне хочется добраться до таких ценностей, которые стоят вне фашизма и коммунизма, с высоты этих ценностей, из которых складывается творческая жизнь, я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом эле проток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро. Дело в том, что у меня есть общие корни с революцией, я понимаю всю шпану, потому что я сам был шпаной... И я потому смотрю на их движение по меньшей мере снисходительно... Иногда мне даже кажется, что, по существу, бояться мне нечего и если бы пришлось в открытую биться за революцию, то враги бы мои отступили.

23 июля. Провел на зооферме... Гон соболей.

27 июля. На днях приходил Якут[48], говорил, что в эти дни чуть-чуть не лег под поезд. «Мне что,— говорил он,— ведь я в Бога совершенно не верую». «Семинарист,— ответил я,— семинария поставляла кадры безбожников». «А разве вы-то веруете?» — спросил он. «Верую или не верую? — сказал я.— К сожалению, не могу ответить на постоянное: то верую, то не верую; в прежнее время, когда все носились с богоискательством, я сказал бы, пожалуй, не верую, а теперь, во время гонений, отвечу: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

28 июля. Завтра в Москве:

1) Федерация: а) местком, б) бумаги.
2) Сдача рукописи.
3) Поиски бумаги.
4) Патроны...
5) Фото...
6) Бальзак и проч. литература.

Сегодня:

1) Теле Фадееву и о бекасах в союзе. Письмо Разумнику.
2) Подготовка материалов для книги «Очерк».
3) Снаряжение, патроны.

30 июля. Вчера в Москве старореволюционная еврейка рассказывала, какая ненависть в Украине к русским. «Нет,— говорила она,— нам эта власть лучше всех: я видела в Киеве много разных властей, все приходят, чтобы грабить». После того она рассказывала, что в отношении продовольствия Москва на последнем месте. «Чем же это кончится?» «Подвезут,— ответила она,— лет пятнадцать еще так будет, а дети теперь уже туберкулезные».

В вагоне старуха из благородных в старомодной шляпке отодвинула мешки и села к окну. Пришел рабочий, хозяин места, принялся ее ругать, да как! Вступилась одна женщина: «Ну, раз сказал, не ругаться же час!» Так на эту женщину весь вагон накинулся за то, что она до сих пор находится в «их» услужении. Вот! Конечно, каждый из них ругает современную голодную жизнь, а когда основного коснется, социального самолюбия, все за революцию. Этим и держится власть: массы не идут против, чтобы не упустить революцию.

31 июля. Завтра мы уезжаем на Журавлиную родину.

Из последней нашей беседы согласно выходило, что современные исторические деятели, конечно, не сознают, что они делают, им, возможно, менее видно, чем нам.

Можно отметить, что теперь, когда мучительство жизни достигло очень большой степени, почему-то как будто вовсе почти исчезла в широком обществе (интеллигенции) сладость, сопровождавшая чувство ожидания близкого конца. Возможно, это признак большой внутренней победы революции. Во всяком случае, представители старого гуманизма и либерализма в настоящее время совершенно пусты, точно так же простой мещанский воп очень слабо действует на нервы. А так как тирания сменяет гуманизм не только у нас, везде в Европе намечается фашизм, то начинает быть понятным, почему теперь исчезает «сладость конца»: ведь «конец» жил в сознании потому, что сознание питалось основной неправдой коммунизма и против либерализма и социализма. Казалось, что это случайное проявление дикости, что это судороги самодержавия; теперь

же начинают проглядывать в длительность и как бы универсальность и необходимость этого «коммунизма».

1 августа. Дождь. Приехали на Журавлиную родину. Везде бедно. Надо выбирать ту деревню, где могут давать молоко. Остановились в Переславище.

3 августа. Фабрика в Москве, 3000 рабочих, из них 300 партийных, и среди этих трехсот хорошо если найдется 30 убежденно согласных. Все остальные молчат. (Что значит «молчат»? — «Ничего нет в них, как прикажут, так и делают».) Тысячи беспартийных все идут против. Их основание к протесту единственно то, что очень голодно. Идей никаких. Вот у крестьян, когда они ворчат, жалуясь на недостатки, выходит как-то естественно, как будто отсутствие ситца (дегтя даже, колес...) есть идея сама по себе. Но безыдейный протест московских рабочих — темный протест, просто разложение (ведь у них все-таки в день остается фунт хлеба).

Думаю я вот о чем: когда массы рабочие аргументируют недовольство свое недостатком в продуктах и если среди них найдется идейный и скажет: «Я готов голодать, сколько могу, лишь бы сохранить идею социализма»,— то наши товарищи такого идейного, независимого от экономики рабочего очень одобрят. Но если интеллигент скажет, что его убеждения и поступки не зависят от экономики (или «политики»), то на него набросятся.

Откуда в марксистской этике явилось это настойчивое требование приводить экономическую необходимость вплоть до зависимости от нее самых истоков личности? Это явилось, по всей вероятности, исторически еще от фр. буржуазии, бунтующей против феодальной праздности. Социализм это углубляет, всякий труд есть творческий труд, нет ничего «сверх». Вот откуда... И с этим можно согласиться и даже этому обрадоваться. Но вот возьмем практически. Эти массы рабочего мещанства, идущие против большевиков вследствие недостатка в продуктах, нам, интеллигенции, чужды, мы бы сочли для себя унизительным в своем протесте ссылаться на недостатки, и мы так же чужды этим массам, как если бы совершенно другие существа были. Стало быть, надо же провести черту? Нет, тут должно быть какое-то очень важное молчание и только действие. Так Ленин об этом молчал.

6 августа. Прошла моя жестокая молодость, теперь я ружье беру, только чтобы добыть себе пищу. Вот убил вчера двух глухарей, теперь хватит нам дня на три, и я иду без ружья за грибами стариком, будто иду в свой настоящий дом, где такой мир, такая радость, такая слава жизни в росе. Грибы, такие глазастые, смотрят на меня со всех сторон. Кто не обрадуется этому всему?

8 августа. Мой «рабочий» паек при охоте, наверно, смущает крестьян. Потому я сегодня шуткой сказал Сереже[49], показывая убитых птиц: «Вот видишь, и заработок к «рабочему» пайку охотничий». Сережа ответил: «Как же мы бы без книг-то жили? Конечно, вы тоже рабочий, советская власть вся на книге стоит». «Это верно,— сказал Ник. Вас.[50],— а мужицкая на самогоне, оттого у нас нет ничего, кроме книг и вина». Мы продолжили этот разговор о вине в связи с тем, что вино исчезло. Никто об этом не говорил даже, потому что хлеб жнут, через неделю можно будет начинать самогонку. В этом русский народ покорил власть совершенно, тут какой-то предел, через который никакое правительство перейти не может.

Вот так и во всем бы можно, если бы нечто было в народе общее. Значит, нет... Впрочем, может быть, тут обход, конечно, бессознательный, борьба органическая. Обвиняют кулаков. Но вот сейчас привезли в кооператив мясорубки,— на что они крестьянину?! А вмиг расхватали. И так все расхватали, как только уничтожили частную торговлю: каждый стал запасаться, чтобы сохранить свою жизнь. Вот где первые истоки капитализма...

...А социализм (истинный?) имеет совсем другие истоки. До сих пор наш социализм еще ничего не творил, он прозябает, как паразит, на остатках капитализма: «кулак» никогда не может быть раскулачен, потому что капитал не в вещах, а в душе.

9 августа. Вчера и сегодня ветер, ясно, прохладно. «В полном разгаре страда деревенская» (половина ржи сжата). Гриб лезет и лезет.

Деревня повторяет точно годы военного коммунизма: деньги не берут, подавай сахар. Из Москвы едут за маслом с конфетами. Солью, керосином запаслись надолго. Кооперация занимается променом махорки на яйцо. Все уверены, что должна быть перемена.

11 августа. В обед прошел в сторону Заболотья древний старец, в поповском котелке, синей рубахе без пояса и в парусиновом балахоне. Хозяева нам объяснили, что это священник из Селкова идет в Заболотье: зимой его раскулачили, а теперь вот вышло, что неправильно раскулачили и ему возвращают коз, он идет за козами. Матушка же его — говорили — еще утром прошла, такая маленькая, старенькая...

Мы с Ефросиньей Павловной, раздумывая о старости этого древнего попа, оставшегося с тремя возвращенными ему козами, сделали заключение: если о современной жизни раздумывать, принимая все к сердцу, то жить нельзя, позорно жить...

Так устроено в космосе, что вокруг одного светила вращаются другие, и то большое светило, в свою очередь, вращается вокруг какого-нибудь, и малое светило, в свою очередь, часто является центром вращения какого-нибудь «спутника». У нас же, в человеческом мире, если кому-нибудь попадает в руки власть, то он думает, будто все вокруг него вертится, а сам он неподвижен.

12 августа. Шершунович[51] рассказывал, что в кооперации существует адский прием для выманивания у крестьян молока: договариваются, например, с каждого рубля за сданное молоко 10 коп. оставлять за башмаки, которые стоят 9 руб. (недорого, потому что в частной продаже стоят они рублей 50). Сколько же надо сдать молока по 8 коп. за кринку (цена частная за кринку 25 к.), чтобы получить башмаки? Конечно, никто почти не донашивает молоко до стоимости башмаков. Точно так же и с другими продуктами.

19 августа. Спас яблочный, а яблочка ни одного, нигде. Спрашивают: «Куда делись яблоки?» Отвечают: «Подвоза нет». Смеются: «Подвоза нет!» Раскулачили садовников, вот и подвоза нет.

В деревне овинный дух.

Пастух, как новобранец, считает себя обязанным пить водку и оттого сильно поглупел.

Дочь хозяйки в Москве поймала коммуниста и привезла его в деревню гулять. Днем она надевает лучшее свое городское платье и лежит на траве перед домом на улице. Вечером каждый день напиваются.

24 августа. За нашим матросом-большевиком вся деревня ухаживает. Домна Ивановна[52] готова на куски разорвать коммунистов, а для этого «зятя» сегодня зарезала почти последнюю курицу, и зять должен же был видеть это блюдце со множеством яиц, вынутых из курицы. И как не зарезать! Он вчера сказал Поле: «Приезжай ко мне в Москву, в школу устрою». Молодежь льнет к нему в надежде получить местечко. Возможно, что зять этот на неделю всего и что вовсе даже не коммунист. Все объясняется крайне жалкой жизнью, люди хватаются за всякую возможность. И потом это и сила: сделать врага своим, затянуть его в свое болото.

27 августа. Революционная личность определяется, конечно, верностью революции (Ленин, Сталин, Дзержинский), нет таких тайников, где могли бы спрятаться чисто личные интересы (Троцкий); при условии верности революции все средства прощаются. Что же есть революция?

28 августа. Те сравнительно редкие дни, когда тоска моя так мало отличается от головной боли, что подумываешь — не принять ли пирамидон,— я знаю одно средство: выпить. Боюсь одного — привыкнуть, попасть в самое омерзительное рабство и не держу вина.

2 сентября. ...Думал об удивительном идеализме всего русского народа до революции, идеализм высших и готовность простых (что тоже, по существу, идеализм). Просто, как сон! И правда, то был сон...

...Психология человека, который верен революции и побеждает всех ее яв-

ных и тайных врагов: массы — это пасть, в которую нужно бросать векселя на «хорошую жизнь»; надо сбрасывать этот балласт, чтобы дальше лететь в будущее; часто в угоду спасению приходится жертвовать лучшим из настоящего — гибель интеллигенции (рабочим выдать конфеты в буквальном смысле).

3 сентября. Так со вчерашнего утра до вечера с перерывами, а с вечера и до утра без перерыву идет дождь. Домна Ивановна ставит самовар, я говорю ей: «Вот, Домна Ивановна, вчера утром вы будили Серегу молотить и я спросил вас: какая погода? Вы сказали: «Хорошая». А пауки в это время и еще много раньше знали, что будет ненастье и не работали. Выходит, что паук больше человека знает». «А как же?» — сказала Домна Ивановна и впилась в меня своими очень маленькими, похожими на муравьиные головки, глазами.

В этом вопросе заключается целое мировоззрение, противоположное современному, господствующему. Современный человек, если и признает в чем-нибудь превосходство над собой природы, то лишь как временное, а в будущем разум непременно овладеет всеми этими «тайнами».

Характеристика такого человека, как homo faber[53], или как существо, делающее орудия, неверна: паук ведь тоже делает орудие производства. Разница его с homo в том, что он делает орудие свое чувством, а не разумом. Может быть, это чувство тоже является частью общего Разума, но мы привыкли «разумом» у человека называть нечто самое характерное для homo faber: способность делать орудие «на все руки». Паук и рыбак делают только сети, кустари только в своей части, унаследованной от родителей. Для homo faber нет наследственности и родства в производстве, он может перекидываться во все производства, быть всюду и всем «на все руки». Само собой, он при этом должен утратить все привязанности к предкам своим, не чувствовать родства с миром, и ту часть Разума даже совсем отделить от своего человеческого, счетного на все руки разума, и назвать его «инстинктом». Понятно также, что обретение этого нового разума, способного с легкостью перекидываться во все области производства сопровождается чувством «свободы».

Так, например, было на днях, приехал в деревню зять хозяйки, коммунист, матрос с женой, дочерью хозяйки. Она истеричка, изнеженная, так сказать, «абортовая». Зашел разговор о детях, он говорит: «Нет, этого не будет!» Павловна ему: «Вы партиец и должны пример давать нам, а если все, как вы, то и род прекратится». «А и пусть,— ответил он,— меньше будет этой сволочи. Вот если бы мы в 18-м году всю буржуазию перерезали, так нам бы и пятилетки не надо было теперь, все давно бы сделали». В то же время жена его, дочь хозяйки, не видит никакого смысла в деревенской жизни: в Москве театр, чисто, легко — и все! Да и каждый в деревне теперь, отрываясь от обязанностей к делу отцов, от самих отцов, испытывает непременно при переходе на городское «положение» веселость, легкость и, скажем, свободу.

Чудовищно грубо и смешно, а если поглубже вникнуть, то ведь и не так все глупо: не жить же в самом деле, как пауки! [Между прочим, поэты и художники являются непременно хранителями органического Разума.]

Наши коммунисты, истинные властелины всей природы, всего органического труда; пауки для них есть только техники, Европа с наукой — слуги социализма (все ихнее мы покупаем за лес). Такое homo-центрическое мировоззрение, вероятно, является продуктом европейского индустриального безверия, поддержанного и обращенного в веру русской революцией (изнанка этой веры: «Жить хочется»).

Мне представляется все так: мировоззрение homo faber, несомненно, является теперь господствующим на земном шаре, но даже в Европе ему противостоят здоровье и органичность народная, бесчисленные навыки в труде, перенесенные из ремесленного быта в капиталистический, громадная работа ученых, поэтов, художников, приносящих органичность жизни посредством культуры.

4 сентября. Вычитал у Арсеньева[54], что староверы называют переселенческую мелочь с ее слабостью и развратом «шуга». У нас в деревне только один не «шуга» — Качалов. По случаю дождя все сидят, не работают, а у него гумно крыто, и он молотит, а когда начнутся ясные дни, он будет картошку копать, а «шуга» овес дожинать; и так он всегда впереди и ежедневно, он даже на работу выходит первый. (Я сказал сегодня дома: «Представьте себе, что в Германии все такие в деревне, как наш Качалов».) Между тем человек он немудрящий, когда начнешь с ним говорить, то стыдно за него становится: до того он, такой значительный в труде, такой рослый и крепкий, начинает вывертывать неприятно по-городскому свое слово и мысль. В общественной жизни он мало годится руководителем: «уедчив» — говорят о нем. Но все прощается ему за его красивый труд, и (хотя он считается кулаком) чувствуешь, что такой человек все-таки гораздо ближе к социализму, чем «шуга» (социализм — в смысле поэзии — может быть религией творческого труда).

А литературная «шуга»?

5 сентября. Вот еще одни сутки сплошного дождя. Говорят, что в Зимняке вода Дубка идет через шоссе и что вообще настоящее наводнение. Притом еще холодное...

На днях приступят к рубке Власовской дачи (45 гект.) Лес не доспел, еще бы 25 лет,— и ценность его, вероятно, удвоилась бы, а может быть, и утроилась. В прежнее время за такую рубку лесника отдали бы под суд. На это есть возражение — что машина ценится у нас, как создательница валюты, и за это можно отдавать неспелый лес. Следующее возражение гораздо труднее опровергнуть: население нищает, морально разлагается.

«Новый мир» представленную в июле «Зооферму» предлагает напечатать в январе.

Хлебнул чувство своей ненужности и в «Новом мире», и вообще в мире современной литературы: видимо, все идет против меня и моего «биологизма». Надо временно отступить в детскую, вообще в спецлитературу, потому что оно и правда: или все на ликвидацию «прорывов», или художественная литература.

На почве распада и неверия в Европе создалась наивная большевистская вера в России — в индустриализацию.

Меня оттирают из «Нового мира», как оттерли из охотничьей газеты, расчухали окуня. И вот оказывается, что мне это очень неприятно — остаться без почета, вот уж не знал-то! И как же я мал еще... Не городские маски и пустынька деревенская спасут меня от болезненного чувства, похожего на магнит преследования, а увлечение какой-нибудь новой работой.

6 сентября. О литературной «шуге».

Мое самоопределение начинается стыдом за их самоуверенность.

Самостыд начинает мое самоопределение, после чего чрезвычайно робко, с постоянным дрожанием и колебанием всего себя, начинаю действовать, опираясь не то на свое счастье, не то на судьбу, провидение и, может быть, прямо на волю Божию. Их, напротив, жизнь прямо в сыром виде берет в лапы, по молодости им даже в голову не приходит, вероятно, «быть или не быть», конечно, быть, а если быть, то надо решить и действовать немедленно в том образе, в коем застало требование жизни. Им некогда стыдиться себя, колебаться и дрожать; свой естественный самостыд они закрывают самоуверенностью и неслыханной в наше время претензией. И нам кажется, что в литературу надвинулась ветром как бы «шуга»...

Если пятилетка удастся, то ценою окончательного расстройства жизни миллионов. Таким образом, мы все как бы в атаке, и нет возможности никакой думать, что уцелеешь: как случай может быть, что уцелеешь... Так опять получается «слепая Голгофа», о которой писал я во время великой войны.

8 сентября. Ругают Советскую власть за мельницы, что разорили: сколько было! А теперь, чтобы смолоть 10 п. ржи, нужно везти ее за 50 верст! Мать с дочерью спорила о Советской власти, старуха ругала и хвалила свое время, дочь хвалила Советскую власть. Аргументы у них были исключительно крестьянские. «При Миколае была мука и каша»,— говорила мать. А дочь говорила свое... (что Сережа, ее брат, не ходил бы в английской паре и пр.). Между тем мать с утра жала, а дочь сидела и ничего не делала.

Надо перестроиться на новую молчаливую жизнь и освободиться от всяких

скрытых претензий на признание и почет. Очень, очень возможно, что моя чувствительность к себе — остатни прошлого.

10 сентября. Последние дни мне возвращается такая мысль: будто бы жил я на планете Земля и мне казалось, что я жил сам собой, от себя, пусть выходило — для других, но это «для других», мне казалось, я беру только от себя. И вот я на другой планете какой-то, где все чужие мне, и вдруг оказывается, что и от себя, и для себя — все исчезло, оказывается, я не сам собой питался, а нечувствительно для себя получал побуждение и веру в себя от других...

Становлюсь на «их» точку зрения и тогда начинаю понимать, что «биологизм» в литературе действительно вреден, хотя бы по тому одному, что ведь это «я и мир», а надо «я и человек» и даже не это, а прямо мы — масса.

С другой стороны, этот «человек» есть только высший хищник и «мы», значит,— организация хищников. Истинный человек характеризуется личностью, в которой определено отношение и к миру, и к человеку. Такая личность в мире («биологии») является проводником высшего порядка, который предусматривает такую же личность и во всей природе. Это понимание мое противоположно нынешнему и близко к христианскому, уже церковному.

11 сентября. Василий Максимович Качалов.

Красивый, высокий, стройный мужик, прямо пиши Степана Разина. Особенно красива его работа, на которой он весь день и всю ночь, куда ни кинешь взгляд, во всякое время то в поле, то на опушке с дровами, то у изгороди... Везде с утра до ночи этот Степан Разин. За красоту, особенно за неустанную работу, ему сочувствуют. «Вот бы,— говорят,— назначить его заведующим какой-нибудь артели». «Ничего,— говорят,— уедчив». Раз он ехал в телеге. Я попросил взять его мои вещи. Он не взял, сослался, что тяжело. Потом вернулся: «За шесть рублей возьму». Я нанял за шесть рублей мужика, который увезет не только вещи, и меня, и собаку. И все так теперь: когда его описали, он пришел с просьбой его выручить, дать ему денег. Я дал, не глядя в лицо его, потому что он страшный. Это настоящий хищник. Домна Ивановна говорит, что это у него от деревенской серости, нигде не бывает, сызмальства работал в деревне...

Выходит как будто, что деревенская среда является положительной средой для кулака, способный человек непременно приходит в кулаки. Это очень сложный процесс: индивидуальность заостряется на достижении материального благополучия — всякий талантливый обращается в кулака. Вокруг лень, безысходность, пьянство, слабость, зависть. Страшная среда. И вот это идеализировали и поэтизировали! Теперь кулак потерял всякий смысл, зато вся остальная деревня ринулась по легкому пути, сбрасывая с себя все старое — и плохое, и хорошее.

14 сентября. Серый, тихий-претихий задумчивый день. Мы с Павловной ходили к Тимофею Александровичу Ненюкову на его дачу под Новоселками на Сухманке. Старой дрожащей рукой преподносит корм своим животным, в числе которых есть и заяц. Задумываешься, он ли сделал зверей добрыми или они его. Вот бы всех пионеров обязать выходить сколько-то домашних животных, а комсомольцев нянчить детей и, когда станут коммунистами, размещать их в школы учителями. Вот был бы коммунизм, а не крепостное право!

В кооперативе висит присланная для хлебозаготовок, как премия, пара сапог: самые сапоги в кооперативе по цене очень дешевы, что-то десять или двадцать рублей вместо рыночных 150 р. Но процент погашения этой маленькой суммы так подстроен, что мужик должен сдать 50 пудов хлеба по кооперативной цене (кооперативная—2 р., рыночная—12), чтобы получить сапоги. Конечно, охотников отдавать 600 руб. (50 п. × 12) за сапоги не находится. И сапоги висят. Так с одной парой сапог проведут всю хлебозаготовку в волости, и сапоги будут целы.

17 сентября. «Мы прибегаем к истории (философии) не ради истории, а для того, чтобы найти с помощью анализа действительных и возможных миросозерцаний пути, возвращающие к утраченным идеалам живого знания (грекам). Лосский. «Обоснование интуитивизма» [55].

Положим, что в Совнаркоме поставлено сделать обязательным для каждого пионера выхаживание и выращивание домашних животных, для комсомольца — выхаживание и выращивание детей в яслях, для коммуниста определено число лет учительской практики. Положим, завтра появится такой декрет. И непременно вслед за этим появится необходимость в новом приказе на паек многочисленным нянькам людей и животных до тех пор по крайней мере, пока эти животные и люди вырастут и дадут хозяйственную возможность продолжения этого дела. При настоящей же недохватке предметов необходимого потребления молодежь будет стремиться не к делу, а к захвату пайка, декрет породит миллионы новой бюрократии, и так всякая попытка вывести современный бюрократический коммунизм на волю истинного творчества жизни упирается в недостаток продовольствия, потому что всякое новшество требует средств. И потому всякая актуальность ограничивается производством материальных ценностей.

Таким образом, выходит, что ничего хорошего, непосредственно к данному времени пригодного я дать не могу: всякий мой план, самый хороший, как только получает санкцию госплана, явится населению как новый нажим.

18 сентября. Завтра утром выезжаем в Сергиев.

На очереди работа:

1) Очерк для Федерации.
2) Художник света (Охотник с камерой).
3) Охотничий рассказ: «Сон глухаря».

19 сентября. Часто слышишь: «А если от них Бога отнять, то что же останется им?» Очень обидно быть на месте Бога: веруют такие, у кого больше ничего и нет, какие-то пустые мешки. Еще есть подобное в искусстве, когда говорят, что оно «для отдыха». Не особенно тоже приятно художнику знать, что его труд пошел на забаву и развлечение...

20 сентября. Тагор в Москве! Вот приехал из Индии смотреть, а я не хочу из Сергиева ехать в Москву. Тут много личного. Тагор богатый, я нищий. У него народ, в который он верит, у него школа. У меня народ как бы исчезающий. И какая тут школа... И я сам в обществе — какое-то суконное рыло... Что увидит Тагор?.. Не увидит он деревенских бледных детей, растущих на хлебе и картошке без молока.

24 сентября. Творческая жизнь человека проходит для того, чтобы дело личного его интереса сделалось в своих достижениях общим достоянием.

26 сентября. Вспомнилось то пробуждение в 17-м году, когда прекратилась уличная стрельба и стало вдруг так, будто огромная тяжесть, ноша всей жизни спала с плеч: это что нет царя.

И вот сейчас...

27 сентября. Отъезд с Журавлиной родины в Сергиев. От Разумника письмо с согласием на «Очерк». Завтра начинаю фотоработу: найти негативы для книги «Очерк» и отпечатать все.

Два лица жизни: что видит Тагор и что мы: на протяжении 25 верст автомобиль (кооператив) терял соль, и белую полосу на шоссе лизали коровы. Наводнение прорвало все мельницы, потому что служащим до них дела нет (не хозяева) и т. д. И это правда.

1 октября. Ночной дождь. Сырое, грязное утро, падали белые мухи. Необходимость срочной разработки архива. Последние тетради, выборка и перепечатание, остальное только выборка, вся работа вместе с тем, может быть, приведет к знакомству с материалом. Собирать материал для книги «Охота с камерой» и «Очерк».

14 октября. Итак, обыватель вовсе потерял гражданское чувство даже в смысле ожидания перемены. Ничего не ждет и весь в «довлеет дневи», в смысле, например, заготовки сена для коровы (сено 4,50 пуд).

15 октября. Взялся за «Очерк».

18 октября. Вчера в «Новом мире» был объявлен рекламный список напечатанных в прошлом году авторов, и вот что меня забыли упомянуть или нарочно пропустили,— этот величайший пустяк! — меня расстроило. На ночь я

прочитал потрясающий, ужасный рассказ Новикова-Прибоя «Цусима», и всю ночь в кошмарном сне преследовал меня убийца, и я всю ночь держал наготове в кармане револьвер, все время опасаясь, что он сам выстрелит в кармане.

И это расстройство, и сон есть индивидуальное проявление господствующей ныне среди интеллигенции мании преследования. У меня доходит до того, что боюсь развертывать новый журнал, все кажется, что меня чем-то заденут и расстроят. Острой формы при общем заболевании бояться.

Спасение, конечно, одно — надо решительно отдаться работе, для чего надо создать хорошие условия.

19 октября. Я купил детский журнал «Еж», где помещены «Одуванчики», и в ужас пришел от пошлости и политической злобы, которую проповедуют маленьким детям, от юмора Шкловского и прочего. Так вот, выходит мерзость, а ведь задумано отличное дело. И так решительно все прекрасно, если подходить «принципиально», и мерзко, если дать видеть факт.

Автоматизм огромного государства, требующего жестокой единой центральной власти, охотно присоединяет себе на помощь пафос индустриализации (бюрократизации) страны, жестоко расправляясь с проявлением той свободы, из-за которой написан «Капитал».

23 октября. Склеиваю «Очерк». Новости: все учебные мастерские Вифании уводят, на место их птичье хозяйство, тоже и с Каляевкой. Приехал инженер рыбу разводить. Строится Зеленый город. И довольно, можно себе представить, что если на наш небольшой район столько строится, как же грандиозно все «в общем и целом». Между прочим, надо везде побывать, чтобы проверить фактически зыбучесть строительства. Именно тут зыбучесть и там от-чаяние. Опять начали выгонять из школ детей лишенцев (торговцев).

25 октября. Преображенский — типичный партиец, речи очень хорошо говорит, привык властвовать тоже, и все повадки его генеральские, так и прет из него «актуальность» и тоже, как у сановников, склонность к матерному слову, но не робкая, а естественная и беспрерывная. На отдыхе я рассказал о «железном воротнике» — что вот из-за этого не стал вникать в жизнь колхоза.

— И что вникать,— сказал я,— машина и производство сами по себе ничего не говорят, а человек в колхозе такой же, как в деревне, нового с ним ничего не произошло.

— И ничего не могло произойти,— ответил Преображенский,— потому что человек, так его мать, это глина.

— Вот-вот глина! — сказал я насмешливо.

— А вы не знали? Конечно, так его мать, глина и больше ничего. Вот как его, уй ли, ну как это называется, где жгут-то?

— Крематорий.

— Вот-вот, сожгут человека этого, так его мать, в крематории, и что же... Он взял щепотку земли.

— Ну, уй ли в этом?

Коммунизм погибнет не ранее, чем будет совершенно разбит «идеализм» всемирного мещанства (фашизм) и одна сторона (коммунизм) посредством отрицания Бога, придет к утверждению, другая, утверждая ложного Бога, придет к Его отрицанию.

Цивилизация учит закрывать глаза на трагедию человека, культура причащает. Наш коммунизм есть неприкрашенный безобманный дух человеко-отрицающей цивилизации (машина).

Я вижу нечеловеческое «да», которое скрывается за всеми сделанными человеком вещами. Но разные люди могут делать себе из этих вещей сегодня кумиры с тем, чтобы завтра их свергнуть. Но я нахожусь вне и создания кумира, и его свержения.

Я питаюсь творчеством только цельным, в котором человеку большое участие поручено большим страданием множества, и, значит, ему не только нельзя этим гордиться, но даже и отмечать в себе как личное.

27 октября. Мне хотелось идти по дороге так долго, пока хватит сил, и потом свернуть в лес, лечь в овраг и постепенно умереть. Мысль эта явилась мне сама собой, и вовсе не сейчас после ссоры, она последнее время живет со мной, и с удивлением вычитал я на днях у Ницше, что это «русский фатализм». Правда, это не совсем самоубийство: я не прекращаю жизнь свою, а только не поддерживаю, потому что устал...

28 октября. Надо позоидировать «Огонек», может быть, хоть там напечатают, а то в Сибирь пошлю, в «Охотник». Вот до чего дошло! Но, конечно, литературе-то уж нечего бояться, запретить вовсе литературу — значит запретить половой акт. Долго не протерпишь...

30 октября. Серые дни с дождями в природе и в обществе тоже открытая могила, и такая очередь к ней. Уныние и отчаяние. Торжество частностей («а я — ничего»). Занялся бы поэзией управления государством (вероятно, разлагается на утопизм, авантюризм и халтуру).

Полная бессмысленность истории? Нет, надо просто оставить положение классического гуманизма и посмотреть на все со стороны сил, диктующих историю... Но как долезешь туда к этим силам-то? Ведь там для писателя воздуха нет, наверно, и холод, как на Луне. Поэзия Луны опять-таки ведь предполагает тоже наличие земного клиента Луны. И поэзия государственного строительства тоже предполагает человека общественного и среди них поэта.

Сиротой живу.

Гуманизм — это отстой жизни, сливки, на которых, как на желатине бактерий, культивировали интеллигенцию. Эта питательная среда теперь совершенно исчезла, и переход в новую среду, конечно, должен сопровождаться чувством сиротства и от-чаяния. Новая среда самого сурового, беспощадного эгоизма, где поддержку, дружбу и вообще состояние как бы родства среди людей добывают не стихами и рассказами, а борьбой за грубую жизнь плечо с плечом.

31 октября. Ехать к Радеку знакомиться или нет? Хорошо видеть человека, занятого большими планами, пропускающего, как мелочь, и целые народы, и даже всю человеческую личность. («Глина, уй ли! Глина чистая, такая-то мать»).

[На полях:] Если бы люди не очень сильно множились, то и машин бы не так много делали. Господство машины сводится к силе размножения.

Человек? Я полагаю,— это дело самого человека. Политике до человека нет никакого дела. Мы имеем факты размножения людей и ограниченности естественных средств существования. Чтобы сохранить жизнь, мы прибегаем к технике производства, которая позволяет безгранично увеличивать средства существования и обеспечивать людям досуг для их творчества глубокого, менее зависимого от нужды в ежедневном пропитании. Самого человека мы совершенно не касаемся... Прогресс? Опять-таки в отношении материальном, с чем вместе получается само собой, что люди начинают сморкаться в платок, спать на простынях и читать беллетристику. Сам же человек в его личности с его трагедией, страхом смерти или счастьем и вообще творчеством качества вещей не являются предметом политики. К политике это имеет столь же малое отношение, как в мировом пространстве атмосферные явления Земли: туман, облака и т. п. Да Солнцу и нет никакой возможности считаться с туманами на Земле...

Попался Дудышкин, автор предисловия к старинному изданию Лермонтова. Какая же это цепкая традиция у критиков объяснять творения личности той или другой социальной средой, в то время как именно в том и состоит творчество, чтобы уйти и увести с собой читателей в мир иной, совершенно свободный не только от социальной и родовой тяготы, с их первородными и производными грехами. В этом мире творчества качество всех вещей так же свободно, как на базаре цены, и всякий прохожий может сказать: это мне нравится, это нет.

1 ноября. Вчера Сталин в «Известиях» назвал Троцкого: «трагический герой кинофильма мистер Троцкий»,— и сильно погрозил Бухарину («двуруш-

нику»). Трагизм Троцкого состоит в том, что он выдумал «левый курс» и сам первый от своей выдумки пострадал: Сталин взял его идею, осуществил, а самого автора выкинул вон. Да, пожалуй, тут пахнет просто комедией, а если трагедия, то, конечно, только в кино. Сталин прав, но в этом и трагедия всей революционной интеллигенции.

Характерная черта революции, что факт победы того или другого претендента на власть сейчас же устанавливает обязательность для всех и даже непогрешимость его идей. Победил — и кончено, а животы наши — на! Вот наши животы, и головы, и все. В этом отношении очень поучительна борьба Сталина с Троцким, которую можно выразить так: «Мало ли что можно выдумать, ты вот сделай-ка!»

Мы, славяне, для Европы не больше как кролики, которым они для опыта привили свое бешенство, и наблюдают теперь болезнь, и готовят фашизм, чтобы обрушиться на нас, в случае если болезнь станет опасной. Впрочем, рассчитывают больше на действие самой болезни, что мы погибнем, как кролики от привитого бешенства.

Когда входишь в мировую политику и в свете большевизма расцениваешь все эти робкие и лживые попытки разоружения и открываются перспективы на хищнический расхват нашей страны, то без колебания становишься на сторону большевиков. Но когда оглянешься на внутреннюю сторону дела нашего, на те достижения социалистического строительства, которые свидетельствуют об изменении отношений людей между собой в лучшую сторону, то видишь громадное ухудшение в сравнении с отношением людей в буржуазных странах. Суждения о наших достижениях всегда есть танец от печки: что раз мы правы извне, то должны быть правы и внутри. Нет, если пристально вглядеться в наш социализм, то люди в нем, оказывается, спаяны чисто внешне, или посредством страха слежки, или страхом голода, в самой же внутренней сущности все представляется как распад на жаждущих жизни индивидуумов. Особенно резко это бросается в глаза, когда вглядываешься в отношения детей к отцам: мотивы презрения к родителям в огромном большинстве случаев у детей только грубо личные. Отвращение возбуждает также циничное отношение к побежденным: детей лишенцев выгоняют из школ и т. п. И вот, когда в упор смотришь на это, а сверху присылают анкету, в которой ты должен засвидетельствовать свою верность генеральной линии партии, то попадаешь в очень трудное положение. Совсем бы по-другому можно жить, если бы переехать, например, в Италию, оттуда мелочь не видна. Даже неплохо жить в Москве, но только заниматься не искусством, несущим ответственность за частность жизни (мелочь), а, например, наукой или большой политикой.

Все происходит, вы скажете, от интеллигентщины, включающей в себя излишнюю долю гуманности и культа личности, вы укажете еще, и справедливо, на картонный меч трагического актера, в то время как играя, радуя (2 нрзб.), а между тем найдется ли в толпе один и т. д. Но я, например, сделал все, чтобы меч мой не был картонным, вернее даже, я принял положение трагического актера, но с необходимостью, то есть что актер такой же работник, как и вся эта толпа. Одного я не могу принять, это «если ты актер, так будь же слесарем». И я отстаиваю право, долг и необходимость каждого быть на своем месте. Вот отсюда как-то и расходятся все лучи моей «контрреволюционности»: стоя на своем месте, я все вижу изнутри, а не сверху, как если бы я был Радек или жил в Италии. И потому, если мне дадут анкету с требованием подтверждения своего умереть на войне с буржуазией, я это подпишу и умру, но если в анкете будет еще требование написать поэму о наших достижениях, я откажусь, потому что поэмы делаются той сущностью личности, которая прорастает в будущее и тем самым ускользает от диктатуры данного момента. Все эти достижения чисто внешние и, на мой взгляд, ничего не стоят, как с точки зрения большевиков тоже ничего не стоят, например, эксплуататорские, капиталистические достижения.

— Чего же вы хотите? — спросят меня.

Отвечаю:

— Хочу, чтобы в стране было объявлено на первом плане строительство лучших отношений между людьми и господство человека над машиной, а не наоборот, как теперь. Хочу раскрыть всем, что «Капитал» был написан Марксом именно для того, чтобы дать страшную картину фетишизма золотой куколки, господствующей над человеком, а не для того, чтобы куколку эту заменить господством государства с его кооперативами.

— Чего же вы хотите практически?

— Ничего. Складываю руки, преклоняюсь перед необходимостью и делаю все, что мне прикажут, за исключением творчества положительной качественной оценки «наших достижений».

...Откуда явилось это чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка, которую нельзя переступить и после начать хорошую жизнь? Это ведь христианство, привитое нам отчасти Достоевским, отчасти церковью, но в большой степени и социалистами. Разрыв традиции делает большевизм, и вот именно когда он захватывает государственную власть. И тогда с особенной ненавистью обрушивается он именно на «мещанство» (христианство плюс весь социализм с анархизмом), как опирающееся именно на «мелкоту», народ и т. п. Троцкий удивительным образом сочетал левизну большевизма в программе с «мелкотой» своей натуры, он дошел до полного абсурда и вдруг развалился, как у По человек, переживший на целое столетие срок своей смерти.

Трудно теперь оценить это действие большевиков, когда они брали власть, подвиг это или преступление, но все равно: важно только, что в этом действии было наличие какой-то гениальной невменяемости. И вот именно потому-то и нельзя теперь нам в большевики, что прошло время, и раз тогда мы из-за «мелочи» не стали в ряды (мы с большевиками ведь только в мелочах разошлись), то теперь нельзя из-за утраты самости.

Была иллюзия счастливой жизни, если не будет царя. Тоже иллюзия теперь у тех, кто мечтает о счастье без большевиков.

Счастье на свете одно — это быть самим собой. (Ницше, например, хочет быть сам собой и не достигает: он самый несчастный.) Ленин, вероятно, был не совсем счастлив. Вот, кажется, Сталин счастлив: он сам со всем своим грузинством. Быть самим собой — значит и быть победителем. Но ведь есть и сладость и счастье быть жертвой, побеждать страданием. Так или иначе, счастье в победе и своем становлении.

Бывает усталость, которая вызывает ссылку на внешние обстоятельства. Да, бывают несчастные случаи давления внешнего на личность (громом убьет), но никогда не надо персонифицировать судьбу и жаловаться на нее, то есть опускать руки в борьбе.

2 ноября. В газетах о съезде (1 нрзб.) пролетарских писателей. Нет, кажется, ничего мне горше, как групповое вовлечение писателей в политику. Собственно говоря, «писателем» тут и не пахнет, но у нас это задевает писателя... Представляю себе возможный ответ, если бы приступили с ножом к горлу, вот он:

— Если будет война, я, как гражданин, готов защищать СССР и, если придется, умру с чистою совестью: мое слово верное, как сказал, так и будет. Но если меня обяжут написать поэму о войне или даже просто о наших достижениях, то я этого сделать не властен. Напротив, чем больше будут понуждать меня, тем на дольше будет отодвигаться срок создания этой чрезвычайно желанной поэмы.

6 ноября. К. вчера рассказывал, что на фабриках и заводах ходят бригады каких-то «писателей» и говорят рабочим: «Товарищи! У нас на литературном фронте прорыв, идите помогать писателям» и т. п.

Я вчера в лесу в кустах спугнул какого-то оборванца, у него был карандаш в руке и тетрадка — это, конечно, «писатель». Было очень мрачно в этих ноябрьских кустах, голых совершенно и подостланных желтой травой. Оборванный поэт, молодой человек, безумными глазами окинул меня и побежал...

Потом встретился сумасшедший Александр Иванович Майоров, нес прови-

зию с рынка и не удержался: из-под хлеба достал переплетенную тетрадку своих стихов, тех самых, которые отвергли все редакции. Он уже было совсем отчаялся и запил на некоторое время, я думал — кончилось. Нет, вот опять. Он же теперь вновь все переписал, многое исправил, переплел. «Может быть, теперь напечатают?» — робко спросил он. Неизлечимая болезнь, куда хуже алкоголя. И сколько их.

Все это порождение односторонности в жизни общества: потому все безумие, что смеяться нельзя. У советского гражданина два страстных желания: 1) работать на свое счастье, 2) смеяться.

...Но если в обществе запрещен смех, то вот это тайное перестает бояться чего-нибудь, наглеет и господствует: является множество тупоумных невежд, до крайности самолюбивых и, конечно, тут один шаг до мании. Вот почему графомания. Без смеха жизнь превращается в манию.

Смех — это жало мысли. Просто идейная жизнь без смеха — тупая.

«Нет ничего хуже людей, натертых умом и знанием», как говорила покойная г-жа Жофрень (из письма Екатерины II к Гримму).

Вчера К. высказал свою мучительную мысль: а что если окажется возможным создавать насилием, приступить с ножом к горлу, крикнуть: «Делайте!» и все будут делать хорошо.

Создал же Петр I Петербург? И почему же простых работников можно заставить, а сложных нельзя: вот инженеров заставили же.

Менее счастливые, но более достойные...

8 ноября. Последний «переход». Моя печаль в этом году перешла в отчаяние, потому что я ведь художник, я отдал уже этому всю свою жизнь, и вот это последнее, артист-писатель сбрасывается вниз... как последний балласт, чтобы власть могла продолжать еще немного лететь. Мое отчаяние велико, потому что вместе с этим творческое начало жизни, сама личность человека падает. Я у границы того состояния духа, которое называется «русским фатализмом», мне стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть и пойти по дороге до тех пор, пока в состоянии будешь двигаться, и, когда силы на передвижение себя вовсе иссякнут, свернуть с дороги в ближайший овраг и лечь там. Я дошел до того, что мыслю себе простым, вовсе не страшным этот переход, совсем даже и не считаю это самоубийством. И вот замечательно, что это состояние духа, предельное на другой своей стороне, имеет вид необычайной жизнерадостности, какая-нибудь безделица, кофей из-за границы и т. п., чрезвычайно радует. А если бы я добился лицензии и «Лейку» с 3-мя объективами — мне кажется, я задохнулся бы от радости. Эта жизнерадостность и есть главное в «русском фатализме», которое никак не самоубийство, а сознание необходимости своего «перехода», несмотря на все прелести мира.

Меня удерживает от этого перехода привязанность к нескольким людям, которым без меня будет труднее. И потому каждый раз, когда я около решения идти в овраг, меня останавливает жалость к близким и вдруг озаряет мысль: зачем же тебе еще идти в овраг, сообрази, ведь ты уже в овраге.

14 ноября. Последний путь. Как будто всех нас стукнули, мы очнулись, но не такими, как были и ходим теперь, все целые по-прежнему, но без охоты к делу. Так иногда старые люди, очень деятельные, сядут отдохнуть, задуматься... так жалко их бывало, так грустно. Мы теперь все такие. Думал, это я старею, я такой — нет! и Павловна не та, и Лева не тот. Вроде как бы все мы при последнем пути и чувствуем, не видя глазами, смутную преграду, за которую, как через туман, не смеет уже по-прежнему перекинуться мечта.

Что же это такое?

Ближе всего к жизни в осажденной крепости, когда очень мало остается запасов и все начинают ссориться между собой из-за продовольствия и думать постоянно: «Поскорей бы конец». В то же время начальники, вопреки общему упадку, малодушию, ропоту, вопреки собственному домашнему неверию, на людях вслух гораздо громче, чем раньше, твердят о возможности достижений в недалеком будущем... Осужденные начинают глохнуть от громких слов и, наконец, просто перестают обращать внимание и пропускают казенные слова, не слышат.

Но и та радость конца, что вот это мучительное кончится же когда-нибудь,— и эта надежда пожить хоть сколько-нибудь после конца покидает нас: конец может прийти далеко после нас. Вот, вероятней всего, это и отнимает охоту к любимому делу, к привычной борьбе.

Да, но ведь не первые же мы и не последние, мало ли погибло людей в осажденных крепостях, во время чумы, во льдах на Севере. И все было по-разному, и в высшую категорию мы ставим тех погибших, кто до последнего момента давал сигналы будущим людям и забывал о себе.

...Есть же, значит, во мне нечто «перевальское», если юноши избрали меня своим шефом. Да, конечно. Я шесть лет писал «Кащееву цепь» в чаянии, что наша страна находится накануне возрождения, мной понимаемого как согласное общее творчество хорошей жизни. Предчувствие меня обмануло, оказалось, что до «хорошей» жизни в свободном творчестве еще очень далеко, и, может быть, среди перевальских юношей я был самым юным. Ошибка эта произошла от наследственной привычки подчеркивать в своем сознании важность словесного творчества относительно общего творчества жизни. И этой ошибке, по-видимому, подвержен и «Перевал». В самом деле, раз Галатея или Прекрасная Дама, то это уже литература, а не жизнь: все эти дамы бумажные, и их рыцари вооружены бумажными мечами. Если бы юноши из «На посту» отказались бы от некоторых своих приемов убеждения, я сейчас был бы ближе к их организации, чем к «Перевалу», потому что из двух дам мне ближе теперь «Необходимость» с ее реализмом, чем «Свобода» с ее иллюзией и романтикой.

15 ноября. Что стоять теперь с теми людьми, которые жили, придерживаясь ума своего начальника, раньше можно было так долго жить, а теперь едва ли: сегодня один начальник, завтра другой — и говорят, и делают совсем по-другому. Вероятно, эти люди стали чрезвычайно гибкими и чуткими, как звери. Ругая большевиков вообще, к каждому в отдельности они относятся очень хорошо, как самые добрые рабы.

16 ноября. Книгу мою в Акад. не приняли. Письмо в «Лит. газету», оказалось, напечатать нельзя: «Заедят»,— сказал Замошкин[56]. Любопытно бы разобрать, из каких элементов состоит эта сила, обращенная против «своего мнения». Вот я уступаю все им, даже то, чем всю жизнь жил: «искусство слова» ставлю в одну плоскость со всем творчеством жизни, а не каким-то особенным высшим творчеством. И то нет! Давай, скажут, дело...

Остается два выхода: возвратить профбилет и взять кустарный патент на работу с фото или же, как цеховой художник, променять свое мастерство на портреты вождей (описывать, например, электрозавод).

17 ноября. Беседовал с рабочими, делающими пруды (21 пруд для рыботреста). Заняты люди (2р. 50 день), и хорошо. А дело? Вот штабели дерна, нарезанного для укрепления берегов пруда. Обнаженные корни растений в дерне зимой замерзнут, дерн сопреет и развалится. «Для чего же вы делаете?» «Велено, и делаем». «Я желал бы поговорить с инженером об этом». «Он в Москве». Один рабочий, пытаясь быть серьезным, сказал: «Пятилетка!» Другой закрыл лицо ладонями и фыркнул.

В издательство «Молодая гвардия»
Михаила Михайловича Пришвина
заявление.

В силу особенностей нашего времени писатель попадает в положение кустаря-одиночки. Есть выход из одиночества у кустарей: поступление его в артель, где он получает фиксированный заработок. Литератор в силу разнородности талантов и других особенностей литературного дела и в организации остается

на воле эгоцентрических побуждений. Сознавая всю ложность «адвокатского» положения в Стране Советов, я прошу издательство «Молодая гвардия» принять меня на службу, как литератора, подобно тому, как служат художники, архитекторы и т. п. с определенным вознаграждением за мой труд, позволяющим мне существовать и совершенствоваться в своем деле.

Мною избрана «Молодая гвардия» вследствие того, что я, как старый мастер, хочу посвятить себя в дальнейшем исключительно трудной литературе для детей и юношества. Вам известно, что некоторые мои сочинения («Колобок», «Башмаки» и др.) пользуются успехом у юношей, и в Вашем журнале давались не раз о них блестящие отзывы. Я сотрудничаю в «Еже», в «Зорьке» и других детских журналах. Государственное издательство выпустило сейчас отдельные книжки для детей и в настоящее время печатает большой труд «Записки Охотника», который должен завлекать юношей в дело активного и радостного отношения к природе.

В настоящее время я готовлю книгу об охоте с фотокамерой, которая более чем ружье способствует пробуждению исследовательского интереса.

Одним словом, я хочу сказать, что вступаю в издательство не с пустыми руками, и, если издательство фиксирует мне заработок, я готов подписать условие, которым обязуюсь все школьное печатать только в «Молодой гвардии».

20 ноября. ...Мне думается, что еще можно отстаивать свою позицию, которая состоит в том, чтобы личным примером в деле осуществлять то добро, которое обещают на словах. До некоторого времени этим можно будет побеждать, потому что ведь у них (вредителей) все обстоит так, чтобы слово о добре использовать во зло. Имя этим вредителям легион, и, конечно, если я круто стал бы на позицию истинного осуществления слов о коммуне, то меня бы очень скоро одолели вредители.

...Между литературой моей до революции и последующей меньше разницы, чем между всем, что было и должно быть теперь. Те книги диктовали Свобода и возрождение. Теперь диктуют Необходимость и война, которые обязывают собраться и быть готовым к концу, а вместе с тем быть особенно бодрым и деятельным по завету берендеев — «Помирать собирайся — рожь сей».

Вся та мерзость, которую обнажает теперь «человечество», является от индивидуального желания жить во что бы то ни стало: отсюда предательство, двурушничество и т. п. Следует ли отсюда, что «жить» — это дурное стремление? Совсем нет, потому что можно жить и не мерзко, то есть не только не мешая другому, но и помогая ему. Наша жизнь теперь похожа на два встречных потока с Запада и с Востока: все закружилось, замутилось в этих потоках, потеряли общее лицо и Восток и Запад. И только с очень большой высоты можно понять эту борьбу. Есть ли такая высота?

23 ноября. Полузнание — сила. Нынешний фанатизм, похожий на какую-то мрачную религию, имеет следующие предпосылки: нужно, чтобы национально-бытовые и семейные узы совершенно распались и на пустое место, как догмат веры, вошло «знание». В таком состоянии профессор химии может быть принят как пророк, тем более профессор политической экономии, тем более Маркс или Ленин. Подготовка Чернышевских-Плехановых. Начинается этот психический поток стремительной реализацией своего «я», которое все расходится в действии, будь это военные подвиги, или ораторство, или какой-либо иной способ саморасспубликования (у женщины процесс сопровождается абортами). В заключение человек внутри делается совсем пустым, хотя вовне он продолжает еще некоторое время действовать. Кончается же такими поступками, которые приводят в недоумение: «Как может такой вредный элемент быть в ВКП?»

Все можно понять по тем чудо-мальчикам, которые совершали в 12 лет военные подвиги, получали Георгия и тем кончались.

Поступок, мотивированный «знанием» (хочу все знать), для понимающего истинное знание представляется явлением deus ex machina, вернее, deus ex Nihil [57], потому что полузнание есть ничто, и тем не менее «deus» является и все себе подчиняет.

«В общем и целом» революция бросает человека даром (демпинг). Человек дает короткие вспышки и пропадает. Жизнь в ее органическом строительстве заполняется двуликими существами, будь это прожигатели жизни и вредители под маской прошлого героизма или же рядовые трусы, исповедующие генеральность линии партии.

Сознают ли вполне такие люди, как Бухарин, что, отрекаясь публично от себя самих, они в то же самое время и лично кончаются. Один покончил с собой на петле, другой пустил себе пулю, третий отказался от самого себя публично заявлением в газете, сохраняя в себе тщетную надежду когда-нибудь при удобном случае вернуть человеческую душу в сохраняемый футляр от исчезнувшего себя самого.

24 ноября. Свобода возможна лишь творческая, т. е. такая свобода, которая является не грабежом необходимости, а даром.

Революция — это грабеж личной судьбы человека.

Теперь надо освоиться с возможностью во всякое время явления войны и голода и жить, как у кратера вулкана.

30 ноября. Небесный деспотизм и земная пошлость стоят друг друга.

Процесс «Промпартии» читать не могу... но сегодня случайно задержался на показаниях Рамзина; вот как было: он был против большевиков в 18 г. (с меньшевиками), потом при нэпе соблазнился ленинским планом электрификации и стал по правде работать, а с переменой курса налево стал против власти. Так одолел ленинизм, но одолеть сталинизм не мог.

1 декабря. Дело Рамзина в двух обманах: 1-й обман, когда свергли царя, не успели обрадоваться — хвать! большевики пришли. Мало-помалу наладилась работа и «государственный капитализм» раскрыл перспективу работы, только раскрыл — хвать! вторые пришли большевики.

Мои книги, рассказы и очерки были написаны в уповании, что скоро будет на почве революции какое-то возрождение страны.

7 декабря. За последнее время почти во всех журналах о моих сочинениях одна за другой появились статьи,.. которые вплоть до последней статьи т. Григорьева [58] упрекают меня в замкнутости и сознательной отчужденности от генерального фронта. Во всех этих статьях, между прочим, инкриминируется моя принадлежность к организации «Перевал», судят меня и как перевальца. Последнее обстоятельство раскрывает мне глаза на существо этих статей: это «чистка».

15 декабря. В последнее время почти во всех журналах появились в отношении меня недружелюбные статьи, увенчанные последней статьей т. Григорьева в «Лит. газете»: «Пришвин и «Перевал».

Все эти статьи исходят из одного неверного факта и потому во всем остальном неверны. Неверный факт — это связь моя с «Перевалом». Я никогда не был ни на одном собрании «Перевала» и плохо даже себе представляю, что такое «Перевал». Раз молодые люди, охотники, приехали ко мне в Сергиев и говорили об охоте, между прочим, попросили подписать меня какую-то платформу с отличными передовыми лозунгами. Я это подписал — вот и все.

Прошли года. «Перевал», по-видимому, отстал от революции, и его начали бить. Меня предупреждали: они пользуются моим именем, надо уходить. Но мне думалось, что всем, читающим мои книги, понятно же, что я в «Перевале» не больше, как генерал на свадьбе. Но вот те, кто наспех восстал на «Перевал», начинают хвататься за меня, прочитав наспех кое-что из моих сочинений. Друзья молчат. По злобе на «Перевал» начинают искажать смысл моей работы.

В одной статье вижу свое имя между Зарудным и Губером и вслед затем рассуждения о реакционности биологизма, которому противопоставляется прогрессивный антропологизм,— как это умно, не буду и говорить! Потихоньку спраши-

ваю одного сотрудника журнала, какая цель у автора была — объединять меня с Губером. Во-первых,— говорит,— вы перевальцы, а, во вторых, Пришвина он никогда не читал и страшно был поражен, когда узнал о собрании сочинений за 25 лет.

Во всех статьях, вплоть до Григорьева включительно, вменяется инкриминирующая моя отъединенность от общественной жизни. Удивительно, до чего же слепнут литер. критики в войне с «Перевалом». Взять хотя бы одно, что ведь я же первый и единственный писатель пришел в Госплан и предложил свои услуги для исследования. Меня командировали на исследование кустарных промыслов, в результате чего появилась небезызвестная книга «Башмаки».

Мне противно перечислять свои такого рода заслуги, потому что я сам очень меняюсь, в своем прошлом вижу ошибки и заслугами не интересуюсь. Белинскому не надо было ковыряться в следах, он чуял дичь по воздуху. Не отрицаю, однако, что и нижним чутьем можно добраться до дичи. Но в таком случае надо быть добросовестным и собрать все следы. Рекомендую поговорить о мне в «Молодой гвардии», где имеются документы о моем чувстве (4 нрзб.) общественности. Неплохо осведомиться в Федерации писателей, какую работу я теперь выпускаю и пр.

Всех дальше от меня самого, разбираясь в самых отдаленных моих следах, ушел от меня из-за того же «Перевала» т. Григорьев. Он понимает меня как эпигона символистов, хотя трудно во всей литературе найти большего эмпирика и реалиста, чем я. Эта чудовищная ошибка произошла по-моему вследствие утраты, особенно ученым критиком, самого чувства языка и вкуса к живому слову. Но сильно, конечно, виноват и «Перевал»: имея в виду «Перевал», так и тянет критика найти у Пришвина какую-нибудь зловредность. Так, например, т. Григорьев моргает в сторону «Кащеевой цепи»: он будто бы знает, почему не написана 3-я часть ее.

Я догадываюсь, конечно: в прошлом я был связан с кружком Мережковского, и мне трудно выдавать своих старых друзей. Нет! Я не мог описать эпоху богоискательства только потому, что выходит как-то фельетонно и не связано с органическим целым. Без этого живого чувства органического целого, чувства всей жизни по себе самому я ничего не могу написать. Иногда получается разрыв и подмена живого целого, тогда у меня получается в корне враждебный мне символизм. Такие работы я не ввожу в собрание сочинений, я могу назвать таких работ две: «Иван Осляничек», напечатанный в «Заветах», и «Грезица» — в журнале «Летопись». И, конечно, много ошибок такого рода вкраплено в разных журнальных статьях, и если идти нижним чутьем, то всегда можно представить меня эпигоном символизма. В заключение просьба к тт. перевальцам не обижаться на меня, что приходится отказываться: посудите же сами, ведь ни одной повестки за несколько лет я не получил от вас, а между тем т. Григорьев пишет: «Пришвин, алпатовщина и «Перевал».

Последняя же просьба к т. Григорьеву не писать «алпатовщина», потому что есть молодой писатель Лев Алпатов, и ему от этого выходит неловко. Не рекомендую писать и «пришвинщина», потому что нет ее и если бы таковая оказалась, то я бы сам на нее восстал, потому что если я иду против попов, то не стану делать из себя попа.

16 декабря. Была у нас Светлана[59]. Ей 18 лет, значит, ничего нашего прошлого не знала. А между тем первый раз в жизни вижу существо, которому так близки «Голубые бобры» с Марьей Моревной[60]. Впрочем, я и раньше думал, что раз допущен Пушкин и классики, то непременно все лучшее в прошлом воскреснет рано или поздно в будущем. Однако видеть воочию свою духовную дочь было чрезвычайно удивительно и радостно.

23 декабря. Нельзя открывать своего лица — вот это первое условие нашей жизни.

Требуется обязательно мина и маска, построенная согласно счетному разуму.

Самосохранение в таких условиях осуществляется посредством особого «живчика». Это я представляю себе чем-то вроде семенного быстрого жгутика с мерцательными волосками. Как только дело доходит до гибели, живчик вдруг улыбается и, глубоко запрятав великую трагедию, сам отправляется депутатом. Он состоит весь из улыбки и возвращается с проектами. Возможно, он никого и не предал и достиг исключительно только улыбкой. Без этого маленького ходатая теперь никак не проживешь.

Слышал анекдот: — У меня один сын сидит в Бутырках, а другой тоже инженер.

Преимущество высшего класса рабочих от всех нас чуть ли не в калошах только: им дают калоши, а нам нет, и вот те довольны, а мы все завидуем и готовы на все, чтобы получить тоже калоши.

29 декабря. Переживаем с Павловной горе — Левину свадьбу. Вдруг окончательно вскрылась его советская пустота: это истинный герой нашего времени. Значит, великое же мое горе, если собственного любимого сына ясно увидел как «тип». Между тем ему все как с гуся вода и больше, он думает, что нас осчастливил...

И такие все видимые у нас люди, такие тоже цифры в газетах и все. Но мы живем, потому что кто-то работает. Кто же работает, где эти люди труда? Боюсь, что это бессловесные рабы или распятые...

Литература теперь — это низменное занятие и существует еще как предрассудок, как, например, при Советской же власти некоторое время существовали еще рождественские елки. Правда, наша литература до сих пор еще господствует над разными маленькими литературами СССР. Она будет свергнута с этого положения как литература просто великорусская. Второе. Наша литература, как и вся мировая литература, кроме подлинного происхождения, еще имеет происхождение семейное — это Muttersprache[61]. Семья теперь осуждена как пережиток. Следовательно, и литература — как пережиток. Во всяком случае, моя литература... И разобрать хорошенько, я — совершенный кулак от литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ефросинья Павловна — первая жена М. М. Пришвина.
2. Евдокия Тарасовна — жена бывшего преподавателя Московского университета, литератора и издателя до революции А. А. Александрова (1861—1930).
3. Попов К. М. — хранитель библиотеки московской Духовной академии в Загорске.
4. Речь идет о библиотеке Духовной академии Троице-Сергиевой лавры.
5. В это время в городе давала уличные представления с дрессированными медведями бродячая труппа цыган. У Пришвина родилась идея фотокниги для детей, где главным героем должен был быть медвежонок. После неудачной попытки снимать в лесу дрессированного медведя он заменяет его куклой. В дневнике рождаются сюжеты новой книги, но замысел ее осуществлен не был.
6. Соседи Пришвина по дому в Загорске, где он жил с 1926 по 1937 год на бывшей Вифанской улице (ныне Комсомольская), дом 85. Дом сохранился до настоящего времени, на нем установлена памятная мемориальная доска.
7. Одно слово разобрать не удалось. Здесь и далее так отмечены те места в тексте, которые мы не смогли прочитать.
8. Шевырев С. П. (1806—1864) — литературный критик, историк литературы, поэт.
9. Видимо, Пришвин имеет в виду комиссию, ведавшую конфискацией имущества.
10. Очерк о колонии им. Каляева для физически неполноценных людей.
11. Воронский А. К. (1884—1943) — литературный критик, публицист и писатель, редактор первого советского литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь». В нем Пришвин публиковал свои первые произведения советского периода.
12. Имеется в виду А. Н. Толстой.
13. Речь идет о поэме Клюева Н. А. (1887—1937), которая была написана в 1928 году. Впервые опубликована полностью в журнале «Новый мир» (1987, № 7).
14. Имеется в виду очерк «Каляевка».
15. Известный в то время среди местных жителей и охотников владелец трактира в местечке Зимняк на Дубне. Ему посвящена глава «Зимняк» в повести Пришвина «Журавлиная родина».
16. Платонов С. Ф. (1860—1933) — русский историк; в советское время был директором Пушкинского Дома и Библиотеки АН СССР.
17. В это время в Троице-Сергиевой лавре были сброшены, разбиты и отправлены на переплавку несколько древнейших колоколов годуновской эпохи. Пришвин вел ежедневные записи и фотосъемку всего, что происходило вокруг в момент гибели колоколов. Эти материалы готовятся к публикации.
18. Тихонов А. Н. (псевдоним — Серебров) (1880—1956) — литературный деятель, сотрудничал с М. Горьким, заведовал издательством «Всемирная литература».
19. Базаров (псевдоним Руднева В. А.) (1874—1939) — философ и экономист, социал-демократ, во время революции 1905 г. примыкал к большевикам; после 1907 г. отошел от большевизма, пропагандировал богостроительство, эмпириокритицизм.
20. Лицо не установлено.
21. Запись связана с чтением книги религиозного философа, ученого и инженера П. Флоренского (1882—1943) «Мнимости в геометрии», изданной в 1922 г.

Птолемей Клавдий — греческий математик и астроном первой пол. II в.— создатель геоцентрической системы мира, которая сохраняла свое значение и в средние века вплоть до появления гелиоцентрической системы Коперника.

22. Речь идет о директоре музея, организованного в Троице-Сергиевой лавре.
23. Пришвин П. М. (1909—1987) — младший сын писателя.
24. Возможно, загорский знакомый Пришвина.
25. Пришвин предполагал написать очерк о гибели колоколов, с этим предложением обращался в журнал «Октябрь». замысел не был осуществлен.
26. Трубецкой В. С. (1890—1937) — загорский друг писателя и товарищ по охоте.
27. Пришвин-Алпатов Л. М. (1906—1957) — старший сын писателя.
28. Бострем Г. Э.— художник загорский друг Пришвина.
29. Речь идет о брате писателя Пришвине Н. М. (1869—1919) и его жизни в имении Пришвиных под Ельцом.
30. Леонтьев К. Н. (1831—1891) — русский писатель и критик, представитель позднего славянофильства.
31. Лидин В. Г. (1894—1979) — писатель.
32. Казин В. В. (1898—1981) — поэт, писал стихи, воспевавшие поэзию труда, строительство новой жизни.
33. Речь идет о книге советского писателя и критика Е. Г. Лундберга (1887—1965) «Записки писателя» (тт. 1—2, 1930).
34. Имеется в виду сборник памяти Леонида Андреева «Реквием» с предисл. В. И Невского. М., Изд-во «Федерация», 1930.
35. Запись представляет собой внутренний монолог писателя с воображаемым оппонентом. См. выше дневник от 16 марта.
36. Одна из основных обновленческих групп внутри русской православной церкви сложившаяся после Октябрьской революции. Создана была в 1922 г., после Великой Отечественной войны распалась. Члены ее выступали за «обновление» церкви, то есть за приспособление ее к изменившимся политическим условиям, за лояльное отношение к Советской власти.
37. Речь идет о Троице-Сергиевой лавре.
38. Ничто, ничего (лат.)
39. Художница, дальняя родственница Фаворских.
40. Фаворский В. А. (1886—1963) — известный график и живописец.
41. Очерк «Каляевка» был опубликован в журнале «Октябрь» (1930. № 3) под названием «Девятая ель».
42. Речь идет об известном до революции литературоведе и критике Р. В. Иванове Разумнике (1878—1946), с которым у писателя сохранялись долгие годы дружественные отношения.
43. Пришвин уезжает на летние месяцы под Переславль-Залесский, в места своих прежних путешествий и охот, где родилась книга очерков «Родники Берендея» (1926).
44. Собака Пришвина.
45. Имеется в виду Плещеево озеро в Переславле-Залесском.
46. Одна из многих существовавших тогда литературных групп, основанная в 1924 г. А. Воронским при журнале «Красная новь». «Перевал» отстаивал преемственность с русской и мировой классической литературой, выступал против схематизма и «бескрылого бытовизма» в литературе, против грубого и бестактного отношения критики к писателям. Имеется в виду статья Арк. Глаголева «О художественном лице «Перевала» («Новый мир». 1930, № 5).
47. Киршон В. М. (1902—1938) — драматург, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП).
48. Лицо не установлено.
49. Сын деревенской хозяйки, у которой остановился Пришвин.
50. Лицо не установлено.
51. Местный лесник.
52. Хозяйка дома, у которой жил Пришвин.
53. Человек-строитель, человек-созидатель (лат.)
54. Арсеньев В. К. (1872—1930) — этнограф и писатель, автор книги «По Уссурийскому краю».
55. Лосский Н. О. (1870—1965) — русский философ-идеалист, предстввитель интуитивизма и персонализма.
56. Замошкин Н. И. (1896—1960) — литературный критик, автор статей о творчестве А. М. Горького, А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, М. М. Пришвина.
57. Бог из машины. Бог из ничего (лат.)
58. Григорьев М. С. — литературовед, окончил Петербургский университет. с 1922 г.— профессор Высшего литературно-художественного института, созданного В. Я. Брюсовым. Автор работ по вопросам теории литературы.

Пришвин подвергся массированной «чистке»: одна за другой в печати появились статьи. обвинявшие писателя как члена «Перевала», ему инкриминировалось бегство от классовой борьбы, оправдание старины как «один из способов борьбы против нашей советской культуры», «преображение действительности в волшебную сказку».

Имеются в виду статьи: М. Григорьева «Бегство в Берендеево царство» (журнал «На литературном посту», 1930, № 8); А. Ефремина «Михаил Пришвин» («Красная новь». 1930. № 9—10); М. Григорьева «Пришвин, алпатовщина и «Перевал» («Литературная газета», 1930, № 57. 4 декабря).

59. Невеста старшего сына.
60. Глава из автобиографического романа «Кащеева цепь».

Марья Моревна — сказочный образ неоскорбляемой женственности — проходит через все творчество Пришвина.

61. Материнский язык (нем.)

Подготовка текста и примечания
Л. РЯЗАНОВОЙ
Публикация В. КРУГЛЕЕВСКОЙ
и Л. РЯЗАНОВОЙ.

Л. САРАСКИНА

Право на власть

РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПЕРВОИСТОЧНИКОМ

«Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос, и многих прельстят».

Евангелие от Матф., 24:5.

«Да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?»

Ф. М. Достоевский. Бесы.

Уже давно, лет пятнадцать назад, на одном неофициальном поэтическом вечере незнакомый мне молодой ленинградский поэт прочитал стихи:

Я Тютчева спрошу, в какое море гонит
Обломки льда советский календарь,
И если время — Божья тварь,
То почему оно слезы хрустальной не
проронит?
И почему от страха и стыда
Темнеет большеглазая вода,
Тускнеют очи на иконе?

Пронзительная боль и печаль этих строк остались в памяти — так же, как и финал стихотворения:

И полчища теней из прожитого всуе
Заполнят улицы и комнаты битком,
И чем дышать, у Тютчева спрошу я,
И сожалеть о ком?

Сегодня тени прошлого вышли из небытия и ворвались в нашу жизнь. Тени идей и тени людей обступили нас плотным кольцом — так что порой действительно не хватает дыхания. «Полчища теней из прожитого всуе» — с этой горькой метафорой, с этим образом трагической истории страны и народа мы вступаем в свой, по существу, первый диалог.

Дойти до истоков сталинизма — так точнее всего можно определить цель и смысл начатого диалога.

Как такое[1] могло случиться? Была ли катастрофа неизбежной? Был ли иной выбор? Является ли сталинизм логическим следствием Октябрьской революции, тем ее страшным результатом, за который она несет полную моральную и политическую ответственность? Был ли Сталин тем самым лидером, который должен был в конце концов и по логике вещей взять власть и возглавить страну? Закономерности и случайности революции, ее категорические императивы и альтернативные возможности, линия ее судьбы в отечественной истории — стали нашими главными, первостепенными вопросами.

Каждый волен свои вопросы задавать тому, от кого надеется получить ответ. Кто — Тютчеву, кто — Пушкину или Гомеру, Толстому или Ганди. У каждого свои учителя.

Задавая свои вопросы Достоевскому, я знаю, что обращаюсь по точному адресу: современность далеко не изжила тех проблем, которые решались в творчестве этого писателя. Сегодня, как и 70 лет назад, говорить о Достоевском — значит все еще говорить о самых глубоких, мучительных вопросах текущей жизни, значит постигать психологию, идеологию, политическую механику революции на уровне и откровения, и пророчества, и предостережения.

Герой Достоевского размышляет над вопросом: сможет ли человек сам, без подсказки и команды, решить, в чем его счастье? Или он должен всякий раз слепо идти за тем, кто придет и скажет: я знаю, где истина?

Герой Достоевского вынашивает идею: а не загнать ли человечество палкой в хрустальный дворец запланированного на бумаге всеобщего счастья и процветания, не построить ли для него земной рай. где будет торжествовать «вечное учение», «руководящее мнение» и принудительный, подневольный труд?

Герой Достоевского уверен, что нужно всего несколько дней — и 80 миллионов народу по первому зову снесут до кучи свое имущество, бросят детей, оск-

[1] Разрядка везде моя.— Л. С.

вернят церкви, запишутся в артели — словом, переродятся капитально.

Герой Достоевского оправдывается: «Все законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом... и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь... могла им помочь».

Герой Достоевского доказывает себе, что именно он, а не кто другой способен дать миру новый правый закон, что он, а не кто другой имеет право на власть.

Итак, с одной стороны, «власть имеющий», с другой стороны, бесправный «человеческий материал», пресловутые девять десятых,— таким видится принцип разделения мира бунтарям Достоевского. И коль скоро власть дается тому, кто посмеет наклониться и взять ее, каждый из тех, кто «смеет», кто рвется к власти, вступает на путь борьбы, на путь революции.

«Анатомируя и распластывая душу революционного подполья, Достоевский добрался до таких интимных тайников ее, в какие не хотели заглядывать, робко обходя их, сами деятели революционного подполья... Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу». Так было сказано о Достоевском в 1921 году, когда в знании писателя еще можно было усомниться. Сегодня, перечитывая «Бесы» Достоевского, мы имеем гораздо больше оснований для сопоставления нечаевской фантасмагории, отразившейся в романе, с трагедией реальной истории.

Самозванцы в «Бесах»

«А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго. Самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек, того — бесполезный и пользы отечеству не приносящий».

Читателю и исследователю «Бесов» процитированные слова Якова Петровича Голядкина, обращенные к его двойнику, Голядкину-младшему, могут показаться даже слишком нарочитыми. Будто и впрямь один герой Достоевского мог предвидеть судьбу другого — Николая Ставрогина, доведенного до петли, а перед этим проклятого загадочным и зловещим проклятием — «Гришка Отрепьев — анафема!»

Однако тень первого русского самозванца, Лжедмитрия I, лишь придает разговору о самозванстве в «Бесах» некоторую историческую перспективу; в сущности же, феномен незаконного присвоения, узурпации чужого имени, звания, статуса или власти изначально показан, неизбежен для той болезни русского общества, которую Ф. М. Достоевский назвал бесовством.

Обширная литература о самозванчестве констатирует, что ни в какой другой стране это явление не было столь частым и не играло столь значительной роли в истории народа и государства. «С легкой руки первого Лжедмитрия самозванство стало хронической болезнью государства: с тех пор чуть не до конца XVIII в. редкое царствование проходило без самозванца,— утверждал, например, Ключевский.— ...Самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство» [1]. Самозванство на Руси, ограниченное четкими хронологическими рамками — от начала XVII века до Крестьянской реформы 1861 года (от Лжедмитрия до Лжеконстантина),— оказывалось неким удобным тактическим выходом из столкновения непримиримых интересов — в каждом новом явлении самозванства поддельная власть надеялась вклиниться в исконные права «природной» власти и, перехватив их, навсегда оставить за собой. И хотя в социально-политическом плане самозванчество устойчиво квалифицируется как одна из специфических форм антифеодального движения, уже первых самозванцев народное сознание безоговорочно зачисляло по теневому ведомству, предъявляя им обвинения в вероотступничестве, ереси, колдовстве и чернокнижии. Ибо есть некая навязчивая причинно-следственная типология в поведении любого из исторических самозванцев, будь то Григорий Отрепьев или Емельян Пугачев, а также в целях, которые ими провозглашались. Изучивший это явление на современных ему примерах российского быта В. Г. Короленко писал: «Сколько их и что их гонит»,— невольно возникает тревожный вопрос, когда, ошеломленный, созерцаешь в общем сборе эту почти невероятную коллекцию русских оборотней, стремящихся совлечь с себя собственную личность, собственные «права состояния» и облечься в чужую личность, в чужое имя и в непринадлежащее звание...» [2].

Ложь, обман, имитация, маскарад и корыстное лицедейство, лежащие в основе всякого самозванства, чем бы они ни были вызваны, имеют один общий источник, один идеологический корень. Самозванство — сущностный и фатальный атрибут Антихриста, утверждает христианская Священная история. Антихрист — «космический узурпатор и самозванец, носящий маску Христа, которого отрицает, он стремится занять место Христа, быть за него принятым». Антихрист — «кровавый гонитель всех «свидетелей» истины, утверждающий свою ложь насилием; он сделает, «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». «Если дьявол, по средневековому выражению,— «обезьяна бога», то Антихрист — «обезьяна Христа», его фальшивый двойник» [1].

[1] В. О. Ключевский. Сочинения в восьми томах, т. III. М., Госполитиздат, 1957, с. 27, 40.

[2] Короленко В. Г. Современная самозванщина. Полн. собр. соч. СПб., 1914, т. 3, с. 357.

В этом контексте размышления В. Г. Короленко имеют почти символическое значение: «Известно, что Россия вообще страна самозванцев, и нигде, ни в какой другой, по крайней мере европейской стране «чужое имя» не проносилось такими грозами и ураганами, не потрясало в такой степени всю жизнь, до самых ее оснований... Самые мрачные страницы нашей истории и одно из гениальных произведений родной литературы связаны с самозванством. Нам кажется, что это не случайно. Свирепая фигура Пугачева, до сих пор осененная мрачным нимбом жестоких воспоминаний, возбуждающих невольную дрожь, и добродушный Иван Александрович Хлестаков, гениально лгущий под хохот всего театра, самозваный царь и самозваный ревизор по недоразумению,— это два крайних олицетворения одного и того же мотива...

Страх и суеверие — вот два основных элемента, из которых вырастает это явление. Суеверие религиозное и порожденные им чувства угнетения и страха делают религию света и надежды религией непонятной грозы и неожиданных казней. Суеверие гражданское заставляет робко преклоняться не перед законом и правом, точно ограждающими человеческое существование, а перед всяким, кто владеет тайной хотя бы и самозваной власти» [2].

Речь здесь и пойдет о тех, кто в мире «Бесов» владеет тайной и авторитетом самозваной власти.

Тайны больного города: ревизоры и соглядатаи

Как липкая паутина, опутывают русский губернский город «роковые тайны». «Страшные и пугающие слухи», «нечто неясное и неизвестное» вторгаются в жизнь обывателей и сеют страхи и подозрения. «Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось!» — восклицает в недоумении Степан Трофимович Верховенский. «Тайна прошлого», «тайна брака», «тайна семьи», «тайна убийства» — та или иная тайна держит в тисках едва ли не каждого персонажа романа. Любое слово двусмысленно, всякая интрига — с двойным дном, с каждым человеком связана какая-то легенда, и все люди вовсе не те, за кого себя выдают. «Это город тайн»,— записал Достоевский в черновых материалах к роману.

Когда же наконец тайна «объявляется» или сама «выходит наружу», люди с ужасом шарахаются друг от друга, горестно восклицая: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» Из тайных превращаясь в явные, события вдруг обнаруживают свое истинное лицо; «с хохотом и визгом» изнаночный бесовский мир выдает свои секреты.

И «помолвка» оборачивается трескучим скандалом, именины — сборищем заговорщиков, «праздник гувернанток» — разбоем и пожаром, «роковая страсть» — вечной разлукой и гибелью, «последняя надежда» — гримасой отвращения и петлей. Не только люди, но и события оказываются ряжеными, они только притворяются благопристойными и приличными, однако под видом одного происходит совсем другое, под личиной дозволенного таится запрещенное, под маской легального совершается подпольное.

Мир искаженный и извращенный — с плотной и густой атмосферой тайн, с событиями-оборотнями и людьми-ряжеными — порождает тайных эмиссаров власти — «ревизоров».

«Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с Internationale, ревизором?» — спросил вдруг Ставрогин. «Нет, не ревизором; ревизором будете не вы; но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны,— вот ваша роль... Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь».

Соблазн злоупотребления самозваной властью в «городе тайн» чрезвычайно велик и легко доступен — достаточно воображения и ловко пущенной в ход сплетни. Обаяние секретных поручений, особых полномочий, приватных связей в Петербургах и Европах действует неотразимо: иллюзия «высоких сфер», «заграничных комитетов», «бесчисленных разветвлений» и «центральных бюро» смущает даже и нелегковерных: «... Вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Виргинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе, по той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки, что и придавало всему собранию весьма сбивчивый и даже отчасти романический вид».

Микроб самозваной власти, пусть и совсем незначительной, кружит голову,

[1] Мифы народов мира. Т. 1. М., «Сов. энциклопедия», 1980, с. 85.

[2] В. Г. Короленко. Современная самозванщина, с. 272—273; 315—316

и «самозванческая мелкота» любой ценой стремится узаконить свой статус, укрепиться в новом качестве, удостовериться в надежности полномочий вышестоящего. Поэтому идея, что Петр Степанович — эмиссар, приехавший из-за границы и имеющий те самые полномочия, «как-то сразу укоренилась и, натурально, льстила».

Болезнь русской личности, слабость и неопределенность пределов, ею занимаемых, легкость, с какой душа человека вытесняется из круга своего бытия,— эти основные черты российского самозванства проявились в «Бесах» с поистине неистощимым разнообразием вариантов.

Вряд ли можно назвать другое подобное произведение, даже и у Достоевского, где бы *слабость и неопределенность пределов*, занимаемых человеком, были столь значительны. Рамки бытия персонажей «Бесов» не просто слабы и неопределенны, они попросту *фиктивны*. Статус человека зыбок и крайне неустойчив; с большим трудом и лишь очень условно можно говорить о героях «Бесов», *кто они*. *Видимость* некоего положения, *вывеска*, под которой многие из них живут и «что-то там делают», меняется от ситуации; и даже тот, кто настойчиво пытается уяснить свой статус, испытывает серьезные затруднения.

В тех случаях, когда статус человека определен его профессией или службой (Кириллов — инженер, строитель мостов, Шатов — помощник приказчика у купца, Липутин — губернский чиновник, Лямшин — почтмейстер, Виргинский и Хроникер — мелкие конторские служащие и т. п.), служба, равно как и «присутственное место», также оказывается фикцией, ибо люди пребывают вне круга казенных обязанностей во все время своего романного существования[1]. Не имея определенных занятий, герои «Бесов» сосредоточены на неких сокровенных планах, захвачены новыми мыслями, одержимы подпольными идеями. Борясь то за сохранение, то за разоблачение своих и чужих тайн, они с необыкновенной легкостью втягиваются во всевозможные интриги, обманы и преступления. Подпольная деятельность приобретает профессиональный характер, полулегальное существование порождает манию «чужого статуса». Человек выдает себя не за того, кто он есть, и стремится к несвойственной для него роли; участвуя в событиях, которые имеют второй, изнаночный смысл, он присваивает не принадлежащую ему власть.

Власть «в законе»: хозяева губернии

Роман начинается с момента, когда в губернии только что поменялась законная власть и вместо доброго, мягкого Ивана Осиповича губернаторство приняли Андрей Антонович и Юлия Михайловна Лембке. Процесс замены городской власти омрачен отягчающими обстоятельствами: прежнего губернатора «сменили, и даже с неприятностями», а новому начальству, обнаружившему значительные злоупотребления и упущения со стороны предшественника[1], приходится принимать срочные меры.

«Срочные меры», или административный восторг новоиспеченного и новопоставленного начальника, сразу обнажают ординарную схему: Лембке начинает правление с дискредитации прежних порядков, обещая, что «подобного более не будет», а свита губернатора верноподданнически стремится вытеснить из «высших сфер» влиятельную фаворитку старой власти Варвару Петровну Ставрогину.

Вместе с тем выясняется, что люди, завладевшие властью, получили ее *абсолютно случайно* — как бы дуриком. Лембке — это «один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством». Нежданно-негаданно свалившееся на Лембке бремя власти застает его врасплох: с некоторым ужасом ощущает он полную неспособность и неготовность к осуществлению своей миссии. Будучи человеком отнюдь не губернаторских масштабов и амбиций, а, по собственному признанию, «очень скромным», Лембке вполне бы удовольствовался «каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь». Женившись же на честолюбивой Юлии Михайловне, скромный и аккуратный фон Лембке «почувствовал, что и он может быть самолюбивым»: так начинается его вхождение в новую роль.

Становление и самоутверждение Лембке в качестве губернатора проходит в несколько этапов.

Старательно готовя супруга к выполнению высоких обязанностей, Юлия Михайловна первым делом стремится обнаружить исходную точку, от которой должна начаться линия его карьеры, точно взвесить все плюсы и минусы. Лембке «умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого либерализма» — все это было безусловным плюсом. Но то, что он был «както уж очень мало восприимчив и, после долгого, вечного искания карьеры, решительно начинал ощущать потребность покоя»,— являлось столь же безусловным минусом.

И тем не менее ореол крупного чина, мираж большой власти оказывают даже и на робкого, испуганного Лембке воздействие магнетическое: место хозяина губернии, обладая неотразимым обаянием, очень скоро освобождает его обладателя от каких бы то ни было комплексов. Так, фон Лембке «догадался, с своим чиновничьим тактом, что собственно губернаторства пугаться ему нечего», и с этого момента власть в лице губернатора, по сути своей случайная, вымороченная и по-своему самозваная, начинает притворяться законной, естественной и призванной.

Самозванец, севший на трон губернии, придумывает образ правления, нацеленный исключительно на воспроизводство самовластия. Имитация деятельности становится ключом к тому спектаклю, который разыгрывает власть-оборотень. «Знаете ли, что я, «хозяин губернии»,— провозглашает Лембке свою программу,— ...по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны, могу также верно сказать, что мне здесь нечего делать. Вся тайна в том, что тут все зависит от взглядов правительства». Механизмы функционирования губернаторской власти, пусть и случайной, но намертво вцепившейся в шальное кресло, обнажены Лембке с предельным и каким-то неустрашимым цинизмом: суть дела в обязательной нейтрализации любых усилий сверху, в железных правилах контригры. «Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику; да что республику: все, что хотите, поглотим; я по крайней мере чувствую, что готов... Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу activité dévorante (то есть бешеную активность.— **Л. С.**), и я даю activité dévorante».

Философия власти, изложенная Лембке в форме почти бреда («Андрей Антонович вошел даже в пафос»), заслуживает тем не менее самого пристального внимания.

Во-первых, она, эта философия, предусматривает предельную концентрацию власти на самом верху. Лембке ни на миг не ставит под сомнение право верховной государственной власти на любое решение, принятое без обсуждений с кем бы то ни было по каким угодно соображениям. Произвол и автократическая деспотия верхов — краеугольный камень концепции Лембке. Во-вторых, допуская главенство верховной власти, которая может иметь разные виды, даже и диаметрально противоположные, новоиспеченный губернатор рассуждает жестко и определенно: придумывайте сверху все, что хотите, но дайте нам при этом полную власть на местах, и мы вас поддержим во всех ваших начинаниях. Показательно, что саботаж нововведений становится естественным следствием губернской политики, занимающей позицию «чего изволите» по отношению к верху и позицию «что хочу, то и будет» по отношению к низу. В этом смысле Лембке допускает даже и республику («Ну, там из политики или для усмирения страстей»): при условии сильной, бесконтрольной, циничной и узурпаторской власти на местах судьба такой республики заранее предрешена.

Идет как бы двойная игра с ориентиром на «верх»: при полном подчинении, полном послушании и полном верноподданничестве полное же и бездействие; и самое поразительное, что верхи такую структуру прекрасно понимают и с благодарностью принимают. Любая деятельность — общественная, политическая, социальная — лишается в этом случае всякого смысла, ведь торжествующий цинизм в отношении целей власти, господствующий в «начальственном государстве», не допускает никакого гражданского общества, никакой социальной жизни. Все институты власти приобретают откровенно бутафорский характер, когда всякое преобразование фиктивно, всякий закон двусмыслен, всякое право иллюзорно. Имитация институтов власти — ударный пункт программы губернатора Лембке: «Видите, надо, чтобы все эти учреждения — земские ли, судебные ли — жили, так сказать, двойственною жизнью, то есть надобно, чтоб они были (я согласен, что это необходимо), ну, а с другой стороны, надо, чтоб их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет».

Власть, которая признает законом только саму себя и стремится к самореализации, становится единственной и реальной ценностью манипуляционного и имитаторского способа правления.

Образ беспринципной, безыдейной, деспотической власти губернаторов, опутывающей Россию и цинично парализующей всякое политическое преобразование, предложенное сверху и требуемое снизу, приобретает в декларациях Лембке черты мрачной социальной карикатуры. Однако при всей очевидной абсурдности картина власти, изображенная градоначальником, обнаруживает реально укорененные в действительности и весьма опасные тенденции.

Привычное стремление к имитации и маскараду власти, к бутафории и фикции в институтах управления имеет в своей основе одну серьезную причину. Неистребимое и всеобщее сомнение в законности законной власти порождает злоупотребление силой со стороны власти,

[1] Исключение составляет разве что мадам Виргинская, повивальная бабка, принявшая роды у Марьи Шатовой.

[1] См.: «Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке: в настоящую минуту надвигалась холера; в иных местах объявился сильный скотский падеж; все лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в народе все сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров».

не имеющей никакой другой идеи, кроме себя самой. Власть случайных людей, доставшаяся им путем интриг и мошенничеств, стремится узаконить себя любыми средствами, поэтому произвол со стороны аппарата власти выступает как самозащитный способ удерживать недоверие и сомнение в допустимых пределах. Но еще важнее другое. *Власть, запятнанная самозванством и своеволием, неминуемо порождает, плодит новых самозванцев-претендентов; эскалация самозванства приводит к эскалации произвола.*

С первых дней правления губернатора Лембке в его доме зреет покушение на власть. Конкурентом Андрея Антоновича становится его супруга Юлия Михайловна. «Идея за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженною, выбрала направление».

И власть, лишенная политической идеи, капитулирует под напором «замыслов, идей и направлений». В результате невидимого и негласного дворцового переворота бразды правления переходят — разумеется, незаконно — к Юлии Михайловне, «первой даме» губернии. Поразителен эффект такого переворота: Лембке, который «редко ей возражал и большею частию совершенно повиновался», «не только все подписывал, но даже и не обсуждал вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей», позволяет вершиться произволу и беззаконию в масштабах значительно больших, чем допустил бы он сам. Передача власти сопровождается безудержным злоупотреблением; так, по настоянию Юлии Михайловны «были, например, проведены две или три меры, чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления губернаторской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с тою же целию; люди, например, достойные суда и Сибири, единственно по ее настоянию были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать»[1].

Однако разгул беззакония незамедлительно мстит тому, кто его допустил, и очень скоро Юлия Михайловна так же, как и ее супруг, делается мученицей власти. Самозванно присвоив высокие полномочия («Она вдруг, с переменой судьбы, почувствовала себя как-то слишком уж призванною, чуть ли не помазанною»), Юлия Михайловна становится лакомой добычей толпящегося у ее «трона» целого отряда новых претендентов-самозванцев. «Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний... Многие мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий срок ее губернаторства».

На арене власти разыгрывается классический спектакль — самозваный претендент примеряет маски, пытаясь утвердить себя в новой роли: «И что ж за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала дать *счастье* и примирить непримиримое, вернее же соединить всех и все в обожании собственной ее особы». Борьба за власть и влияние ставит «супругов губернаторов» в положение равнозначных соперников («мы... как бы два отвлеченные существа на воздушном шаре»), и здесь, в сфере власти, соперничество не знает пощады и жалости: здесь каждый за себя и против другого[1].

Конфликт в семействе губернатора Лембке превращается в *драму двоевластия*, оба героя которой, будучи политически несостоятельными и у руля власти случайными, в пылу конкурентной борьбы в кратчайший срок доводят вверенную им губернию до катастрофы. Законная, но по сути своей случайная и самозваная власть губернаторов-наместников, чинящая беззакония и произвол, чревата потрясениями и смутами.

Призраки смуты

«В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход — я не знаю, да и никто, я думаю, не знает...» — сетует Хроникер. И тем не менее образ смуты в «Бесах» имеет вполне ясные очертания. Смута как общественная реакция на незаконность законной власти плодит новых самозванцев, прельщает их соблазном легкодоступного и как бы вакантного губернского трона. Впрочем, это черта универсальная: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки... Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже и не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение». Но вот черта специфическая: «Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было всеобщее

[1] Хроникер предает огласке лишь незначительную часть имевших место злоупотреблений: «Мне не стать, да и не сумею я рассказывать об иных вещах. Об административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту административную сторону я устраняю совсем... Многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием, стоит только немножко подождать».

[1] «Два центра существовать не могут,— негодует Лембке,— а вы их устроили два — один у меня, а другой у себя в будуаре, но я того не позволю, не позволю! В службе, как и в супружестве, один центр, а два невозможны...».

раздражение, что-то неутолимо злобное; казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги».

Символично, что именно представители законной власти, то есть губернаторская чета, усыновляют всю эту «нетерпеливую сволочь», открывают двери «дряннейшим людишкам», дают приют бесовскому самозванству, всплывшему на волне смутного времени перемен.

Анализ взаимоотношений «хозяев губернии» и представителей «циничного племени» дает убедительную картину сращения власти «в законе» с преступным миром. Суть этих взаимоотношений можно назвать *идейной коррупцией*: обе стороны корыстно нуждаются друг в друге как в выигрышном средстве для достижения своих политических целей. «...Мы так же служим общему делу, как и вы,— утверждает губернатор Лембке.— Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть все старое, подлежащее переделке; но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида, а наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы».

Однако выгоды политического симбиоза, как бы ни декларировал их Лембке, начисто лишены «высшего смысла», то есть некоей государственной стратегии или дипломатической тактики. Виды губернаторской четы на «молодежь» связаны исключительно с соображениями честолюбия и служебного тщеславия. Жертвуя своими истинными убеждениями, Лембке вынужден (для успеха затеянной им политической игры) *притворяться либералом*[1].

Любопытный разговор происходит между Лембке и Петром Верховенским. «С невинною целию обезоружить его (Петрушу.— *Л. С.*) либерализмом, он (Лембке.— *Л. С.*) показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций, русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с пятьдесят девятого года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства». Эту «невинную цель» Петр Степанович легко угадывает и резко обостряет тему, предлагая Лембке разделить пафос прокламаций. И когда тот, продолжая играть в либеральную лояльность, «совершенно соглашается» и с разрушительными идеями листовок, Петруша ловит его за руку: «Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроке?» И тем не менее чиновник правительства с признательностью принимает *все* услуги столь радикального молодого человека из «нового поколения», ничуть не брезгуя их сомнительной подоплекой.

Еще более внушительно выглядит «молодежная» программа соправительницы Юлии Михайловны Лембке. «Петр Степанович... нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму: она все надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор!.. *Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди*, воздействие «лаской» на молодежь для удержания ее на краю... Она спасет их всех; она их рассортирует; *она так о них доложит*; она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя; а *заговор все-таки* будет открыт. Все выгоды разом».

Ставка на либерализм, когда он является не целью, а коварным, корыстным и временным средством нечестной политики, оборачивается крупным поражением всей политической игры. Крах губернаторской карьеры Лембке, наступивший в кратчайшие (уже через три месяца после начала правления) сроки, означал обреченность «верхних бесов», нежизнеспособность политического симбиоза мимикрирующей под маской либерализма законной власти с «циничным племенем» заговорщиков. Политическими авантюристами оказываются изначально обе «партии» — и партия правителей и партия заговорщиков, и обе несут моральную ответственность за происшедшую катастрофу.

Более того, вина «верхов» за «всеобщий сбивчивый цинизм» неизмеримо серьезней, ибо атмосферу общественного скандала и раздражения стремятся выгодно использовать и они, попустительствуя и злорадствуя; как сказано об этом в романе — «дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать». Бесы смутного времени, таким образом, *не изобретают, а лишь заимствуют* у «законной власти» политические способы и методы, усваивая и притворство, и корысть, и манипуляторство, и игру в либерализм.

Сотрудничество бесов «верхних» и

[1] «Флибустьеры — буитовщики — розог!» — так отреагировал Лембке на толпу шпигулинских рабочих перед губернаторским домом. Розги, явившиеся как-то уж слишком поспешно, и были знаком истинных убеждений губернатора, одобренных местными консерваторами. «Так-то бы и сначала,— говорили сановники.— А то приедут филантропами, а кончат все тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо».

«нижних», равно как и статус Петруши Верховенского в доме губернатора («совершенно свой человек») имеют в романе глубоко символический смысл. Приют, который нашел Петр Степанович в гостиных губернаторской четы, должен быть оплачен — и обе стороны в самом начале знают, чего они ждут друг от друга. Приближая Петра Степановича к своему дому, оба Лембке рассчитывают на него как на провокатора, который раскроет им заговор. Именно для этой цели Петра Степановича и приручают, и покровительствуют ему, надеясь использовать его двусмысленное прошлое: «бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями... по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству».

Беспринципная власть, поощряя доносчиков, культивируя провокаторов, развязывает им руки; так, Петр Степанович переиграл Юлию Михайловну «лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого начала в ее мечтах влиять на общество и на министерство, вошел в ее планы, сам сочинял их ей», действовал грубейшею лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух». «Фанатически преданный» Петр Степанович максимально использует все выгоды своего фаворитства, раскачивая «город Глупов» в стороны безобразных историй, нестерпимых шалостей, грязных случаев, возмутительных происшествий и вводя в моду «развязные понятия». Именно под крылом Юлии Михайловны происходит «беспорядок умов», в ее салоне процветают нахальство и бесстыдство, в ее гостиной «не церемонятся с развлечениями»[1].

Обласканный и пригретый властями доносчик и провокатор Петр Верховенский формально совершает акт доноса: именно от него Лембке узнает о кучке заговорщиков во главе с Шатовым. Петруша идет даже и дальше — он раскрывает Лембке всю заграничную сеть тайных обществ и ее здешних эмиссаров, называя связи и явки, квартиры (дом Филиппова) и готовящиеся акции. Он много обещает, он гарантирует блестящий результат в деле ликвидации «кучки», он все берет на себя. Он заигрывает с Лембке, льстит его самолюбию, требует признания своих заслуг, объясняет благородство и вынужденность предательства. «Пригожусь, Андрей Антонович! Я эту всю жалкую кучку полагаю человек в девять — в десять. Я сам за ними слежу, от себя-с»[2].

Но только позже поймут и Лембке, и его супруга, что доносчик и провокатор так или иначе выйдет из-под контроля, что деятельности, находящейся за пределами морали, невозможно поставить новые рамки, что человек, предавший одну сторону, обязательно предаст и другую. Услуги провокатора стоят дорого, их нельзя контролировать, а особенно нельзя рассчитывать на его верность. Обведя вокруг пальца свою благодетельницу, Петр Степанович сначала пугает ее неизвестным сенатором, назначенным якобы в губернию из Петербурга на смену Лембке, затем шантажирует угрозой сотрудничества, «в случае если б ей вздумалось говорить».

Итак, бесы — политические авантюристы, борясь с законной властью, копируют все ее методы и способы, воспроизводят все ее структуры. Являясь плотью от плоти системы, они в своем противостоянии старой государственности лишь меняют знаки, и то не все, а некоторые. За вычетом псевдореволюционной фразеологии единственной серьезной претензией остается борьба за власть, желание заменить собой тех, кто у власти. Собственно говоря, это желание и становится энергией смуты: предельно категорично формулирует свой меморандум главный претендент на власть Петр Верховенский: «Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело; имейте всегда это перед глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство и его нравственность... Этого вы не должны конфузиться... Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой».

Неправедная, эфемерная и неэффективная власть как бы приглашает желающих вступить с ней в легкую борьбу и одержать над ней быструю победу. Концепция российской власти, трактуемая в мире прокламаций как нечто праздное и вздорное, имеет весьма широкое хождение. «У нас не за что ухватиться и не на что опереться» — этот тезис становится руководящим; в стране, где все оказывается фикцией, господствуют

[1] Здесь важны показания Хроникера: «Если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки Тут она во многом ответственна!»

[2] Еще в 1914 г. С. Н. Булгаков задумывался о духовном диагнозе той группы интеллигенции, которой принадлежала руководящая роль в русской революции: «Вопрос этот, который за четверть века до революции (речь идет о революции 1905 г.— **Л. С.**) с таким изумительным ясновидением поставил Достоевский, можно на язык наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь? Речь идет, таким образом, не о политическом содержании революции и не о полицейской стороне провокации, но о духовном ее существе. Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема» (См.: Булгаков С. Н. Русская трагедия — «Русская мысль», книга IV, 1914, с. 23)

маски, а не люди — они присваивают себе роли и должности, они имитируют государственную деятельность, они же и внушают, что с властью церемониться нечего. «Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды,— объясняет онемечившийся русский писатель Кармазинов Петру Верховенскому,— что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпору.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и ... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности».

По логике рассуждений уже порвавшего с Россией Кармазинова, логике в первую очередь самооправдательной и самообманной, смута и в самом деле кажется чуть ли не единственно возможным выходом из кризиса власти[1]. В таком своем качестве смута нуждается в искусных толкователях — пропагандистах и агитаторах.

Идеология смуты: сказочники и реалисты

Власть «в законе», равно как и самозванцы, рвущиеся к власти, создает идеологический миф, который должен обосновать, обеспечить и обставить все властные притязания туманом неопровержимой законности.

Но если Лембке для поддержания своего престижа и авторитета не может придумать ничего лучше, чем идею укрепления губернаторской власти любой ценой, в том числе ценой грубого насилия; если его соперница Юлия Михайловна взамен безыдейной концепции супруга выдвигает программу сотрудничества салона при губернаторе с «молодежью, стоящей на краю», то платформа их политических оппонентов, этих самых «людей на краю», уже по определению должна содержать идеи суперрадикальные, альтернативные, революционные.

И действительно, образ действий новых претендентов на власть имеет в романе теоретическое обоснование: идеология смуты опирается на ряд обязательных, программных источников, различных по жанру и происхождению.

«На столе лежала раскрытая книга. Это был роман «Что делать?»...— Просвещаешься? — ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие.— Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь». В контексте «Бесов» социальная утопия, обещавшая счастье в виде колонн из алюминия и поющих тружеников на тучных полях, является революционной библией, каноном смуты, ее философской базой и политической платформой. «Их катехизисом» называет Степан Трофимович роман-утопию и подчеркивает, что учебник не так и прост — в нем «приемы и аргументы», практика: может быть, и умеренная, но все равно опасная.

«О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в исступлении.— ...Как все это выражено, искажено, исковеркано! — восклицал он, стуча пальцами по книге.— К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?» Мечта Степана Трофимовича выйти из уединения и дать последний бой «Катехизису» терпит крах именно потому, что главный вывод из книги в глазах ее поклонников носит не дискуссионный характер. «Бесы» как бы фиксируют моменты, когда социальная утопия с прихотливыми фантазиями и чисто романическими ситуациями обретает статус «учебника жизни» и становится своеобразным указующим перстом для «деятелей движения».

Социальная утопия с репутацией догмы — таким представлен в «Бесах» идейный первоисточник, провоцирующий смуту. Идеологическое своеволие объявляет себя единственным носителем истины; политическая программа переделки мира «по новому штату» без всяких гарантий своей состоятельности, аморальность деятелей, самозванно присвоивших себе право решать за других, в чем их счастье, образуют некий изначальный дефект того теоретического фундамента, который положен в основу социального проектирования[1].

Утопия, принятая на веру, вместо веры и ставшая догмой, перестраивает сознание на мифологический лад; процесс канонизации представлений из «утопического набора», как показано в «Бесах», зашел слишком далеко. Так,

[1] Именно Кармазинов, «умнейший в России человек», «ума почти государственного», укрепляет в Петруше (которого считает коноводом всего тайно-революционного в целой России, посвященным в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь) уверенность в неизбежности «смуты великой». Именно ему, Кармазинову которому надо успеть «выселиться из корабля» до того, как «начнется», Петруша открывает тайну сроков: «К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится».

[1] Любопытно ироническое наблюдение поэта Олжаса Сулейменова: «Учение Фурье еще в XIX веке получило репутацию наивной утопии, но образные представления о социализме у Фурье и Сталина странным образом совпали. Если почитать книги, посмотреть фильмы и спектакли тех лет, создастся впечатление, что у нас основой экономически-социального проектирования был именно четвертый сон Веры Павловны... Этот текст и тональностью, и стилем очень похож на сценарий наших фильмов о колхозной жизни 30-х—начала 50-х годов от «Трактористов» и до «Кавалера Золотой Звезды» («Советская культура», 7 октября 1988).

взбунтовавшийся против замечания командира подпоручик «замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечки... Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций». Эпизод знаменательный: *смена предметов культа сопровождается насилием* — неважно, что новой библией радикально настроенного и материалистически мыслящего человека оказываются естественнонаучные сочинения. Момент разрушения опостылевших святынь как бы освещается правотой новых; праведное насилие как бы санкционируется новообретенной истиной. Не случайно, что именно с фигурой взбесившегося подпоручика связана тема «самых отчаянных прокламаций» — второго по значению идеологического топлива для огня смуты.

Лозунги подпольных листовок, распространением которых заняты члены «пятерки», обнаруживают поразительное сходство с идеями и символикой утопического учения, его социально-политической программой. Лишенные флера ученой диалектики, подметные бумажки с беззастенчивой откровенностью указывают на основное средство к реализации утопии — *безудержное насилие*. Идеи, инспирированные утопией и переведенные на язык подпольной агитации, обретают образ устрашающе кровавый. Внешний облик даже самой невинной листовки со стихотворением «Светлая личность» («Еще она с виньеткой, топор сверху нарисован») однозначно указывает на автора письма — Чернышевского, которое за подписью «Русский человек» было помещено в лондонском «Колоколе» Герцена в номере от 1 марта 1860 г.[1].

«Наше положение,— писал «Русский человек»,— ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат. *К топору зовите Русь!*» Сочинитель одной из самых кровавых прокламаций, Зайчневский, текст которой используется в «Бесах», горячий сторонник автора социальной утопии, буквально опирается на его письмо в «Колоколе». «Мы будем последовательнее... великих террористов 92 года. Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито *якобинцами* в 90-х годах... С полною верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «*в топоры*»! И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами... Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!» [1].

Топор Чернышевского, необузданное якобинство его последователей были в глазах Достоевского одним из истоков грозной, смертельной болезни. В десятках вариантов разрабатывает писатель программу опровержения идеологического мифа смуты.

«Вы предлагаете счастье. Если предположить даже, что вы совершенно правы в окончательной цели стремления... то уже из одной прокламации вашей видно, до какой степени незрелы, ничтожны, легкомысленны ваши умы, а стало быть, до какой степени и не годятся они для достижения вашей же цели...»

«Но если вы не знаете наверно, что программа ваша истинна, каким образом вы берете на свою совесть злодейство разрушения?»

«Какую ответственность берете вы на себя за потоки крови, которые вы хотите пролить?»

«Но почему вы так уверены, что программа ваша непогрешима? Что если это только вздор и совершенное нелепейшее незнание природы человеческой, во-первых, и русского народа в особенности?.. Вы говорите: кто не за нас, тот против нас, и всех с противуположными убеждениями обрекаете смерти, забывая, что спор есть во всяком случае развитие дела».

«Народ если и увлечется бунтом и грабежом, то тотчас же и усмирится, устроит что-нибудь другое, но по-своему и, пожалуй, еще гораздо худшее».

Однако логика вопросов на тему насилия как главного метода переустройства человечества должна была привести к созданию программы ответов — теми, перед кем эти вопросы ставились.

Так в романе «Бесы» появляется автор оригинальной, самостоятельно изобретенной теоретической системы о социальном устройстве общества Шигалев, главный идеолог смуты, бес-мономан.

Тот факт, что теория Шигалева «есть крепко сделанная, обобщенная пародия на сен-симонизм, фурьеризм, кабетизм, т. е. на мечту утопического социализма о будущей мировой гармонии, о рае на земле» [2] отмечен давно и не подлежит сом-

[1] «Народная расправа» — общество, созданное Нечаевым,— также имела своей эмблемой топор.

[1] Политические процессы 60-х годов. М.-П., ГИЗ, 1923, с. 264, 269.

[2] Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л. П. Гроссмана и Вяч. Полонского. ГИЗ, Л., 1926, с. 173.

нению. Несомненно и то, что, изображая интеллектуальное подполье русской революции, Достоевский использовал в своей пародии самые различные современные ему источники — от статей П. Н. Ткачева до системы устройства мира в «систематическом бреде» щедринского Угрюм-Бурчеева. Однако и содержание шигалевской теории, и ее генотип, и способы использования в практике смуты заслуживают тем не менее специального анализа.

Автор «системы», человек необычайной мрачности, нахмуренности, пасмурности и угрюмости, ожидающий со дня на день разрушения мира, фанатик Шигалев — личность во многом загадочная и закрытая, предпочитающая оставаться в тени. «Слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромен»,— говорит о нем его почитатель из «наших». «Ненависть тоже тут есть,— размышляет Шатов.— Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся...». Шигалев — не проповедник; он создатель не устного, а *письменного* учения, автор написанной книги из десяти глав, существующей пока в одном экземпляре — в виде «толстой и чрезвычайно мелко исписанной тетради». На сходке у «наших» он, собственно говоря, и не излагает свою теорию — это делают другие,— а лишь произносит вступительную речь. Она поистине революционна!

Во-первых, Шигалев как бы подводит черту под всем, что было сделано до него. «Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия (то есть Чернышевский.— **Л. С.**) — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого».

Во-вторых, утверждает Шигалев, общество вступило в новую фазу своего развития, когда социальные проекты нужны уже не для будущего, а для настоящего: «будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы *наконец собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться*». Таким образом, теория Шигалева претендует не только на монополию в сфере мысли, она претендует на руководство в области стратегии и тактики, она же походя устанавливает диктат практики в атмосфере безмыслия («действовать, чтоб уже более не задумываться»).

На этом фоне третье заявление Шигалева выглядит сенсационно-разоблачительным: «Объявляю заранее, что система моя не окончена... Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Ситуация поистине парадоксальная: отметая все прежние учения, запутавшись в своем собственном, идеолог-путаник тем не менее настаивает на внедрении в практику заведомо несостоятельной программы. Свое право на монополию в области устройства мира он утверждает с фанатичным упорством.

«...Кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого»

«...Все, что изложено в моей книге,— незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает...»

«...Отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся».

«Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может...»

«...Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе».

Что лежит в основе идеологического своеволия и властной уверенности Шигалева? Узурпатор истины, якобы завладевший ключами от земного рая, он выдвигает и обосновывает тезис, согласно которому его доктрине *нет и не может быть никакой альтернативы*. Иначе говоря: отсутствие какой бы то ни было альтернативы, любого другого выбора, нежели тот, который навязывается волевым порядком, становится центральным пунктом идеологического мифа, конструируемого самозванцами, рвущимися к власти. Политический фатализм Шигалева, с которым он заталкивает своих собеседников-заговорщиков в изобретенную им систему земного рая, выступает как главный и решающий аргумент в его теоретических притязаниях. И этот фатализм выглядит тем более пугающим, что автор системы не питает никаких иллюзий относительно того, какие именно формы примет в конце концов предложенная им модель мира. Напротив, Шигалев нелицемерно признает прямое противоречие между первоначальной идеей и заключительной формулой — отчего (как мыслитель, не чуждый логики) он испытывает отчаяние.

Но показательно: он настаивает на своей версии земного рая *несмотря* на отчаяние. Отчаяние Шигалева, его сомнения, колебания, муки совести, все вместе взятые нравственные рефлексии приносятся в жертву канцелярскому предрешению судеб человеческих на бумаге. Произвол идеологического своеволия, претензия на личный духовный ге-

гемонизм, самозваное мессианство теснят и вытесняют совесть — таков первый урок собеседования по толстой мелкоисписанной тетради из десяти глав. И, приглашая своих собеседников потратить десять вечеров на обсуждение книги, Шигалев рассчитывает утвердить диктат доктрины: приучить ее адептов к мысли о допустимости и неизбежности насилия в деле построения мировой гармонии, коллективно адаптироваться к грядущему и неотвратимому безграничному деспотизму с его якобы спасительной миссией и чудодейственной преобразующей ролью.

В краткой вступительной речи Шигалев обнаруживает существенное, качественное отличие от своих предшественников — тех, кого он пренебрежительно назвал мечтателями, сказочниками и глупцами. Если «сказочниками» прежних времен «топор» мыслился все-таки как средство к земному раю, а не как цель (в чем они, конечно, заблуждались, и тут Шигалев прав), то сам он эту маскировку решительно отбрасывает: «странное животное, которое называется человеком», обречено, по его концепции, на безграничный деспотизм, ибо не приспособлено ни к чему другому. *Обнаженность* антигуманной *цели* и стремление узаконить ее исключительные права на реализацию действительно становятся новым этапом в создании идеологического мифа смуты. Идеологизм бесовского своеволия как программа тотального расчеловечивания сформулирован в платформе Шигалева исчерпывающе ясно и бескомпромиссно.

Есть, однако, глубокий смысл в том, что суть теории и содержание всех десяти глав книги Шигалев так и не изложил во всей желаемой полноте. Собравшиеся ему просто не дали этого сделать! И тут необходимо отметить одну крайне важную особенность знаменитой сцены «У наших» — сходки заговорщиков, замаскированной под день рождения хозяина. Если попытаться взглянуть на эту сцену ретроспективно, с точки зрения идеала а-ля Шигалев, невольно поражают ее немыслимый демократизм, завидное многоголосие. Еще не скованные общим грехом содеянного преступления, не связанные диктатом групповой дисциплины, участники сходки, представляющие собою «цвет самого ярко-красного либерализма» и тщательно подобранные для этого заседания, выражают инакомыслие свободно и безбоязненно.

Оппоненты Шигалева «*справа*» полны тревоги, недоумения и недоверия.

«— Что он, помешанный, что ли? — раздались голоса».

«...Этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает их девять десятых в рабство? Я давно подозревала его»,— возмущается сестра Шигалева, акушерка Виргинская.

«Работать на аристократов и повиноваться им, как богам,— это подлость! — яростно заметила студентка».

«Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный,— заявил гимназист».

«— Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела, а с тем вместе, стоит ли слушать его или нет? — весело решил офицер».

«— Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? — осторожно заметил один офицер».

Собственно говоря, среди собравшихся Шигалев имеет только одного единомышленника-пропагандиста. «Мне его книга известна,— заявляет «крепкая губернская голова», хромой учитель.— Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Полностью разделяя идеи книги, хромой учитель искренне считает, что «меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений,— весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны». И кроме того, в его интерпретации теория Шигалева вполне отвечает даже и нормам морали: если вспомнить, «что у Фурье, у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса», то «господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия», «гораздо трезвее их разрешает дело», «менее всех удалился от реализма», «его земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество».

Логика дискуссии, однако, обнаруживает скрытый пафос выступления апологета шигалевской теории — пафос, направленный в адрес напряженно ожидаемой *критики* «*слева*». «Левые» вступают в бой с бешеным и ожесточенным напором. «А я бы вместо рая,— вскричал Лямшин,— взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому» [1].

[1] Знаменательно, что левые критики сразу берутся за коренной вопрос — о пригодности наличного «человеческого материала» к будущему земному раю. И если «центр» считает, что этот материал в принципе нуждается в переделке, то «левые» посягают на генотип человечества, стремясь добиться *органического* перерождения человека, «переменить личность на стадность». В этой иерархии Лямшин с его предложением не нянчиться с человечеством, а девять десятых его взорвать, конечно, «ультра», бес из бесов. В контексте дискуссии у «наших» контрапунктом звучит диалог Тихона и Ставрогина (из черновых материалов к роману):

«Архиерей» доказывает, что прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо (долгой работой, и тогда делайте прыжок).

— А *вдруг* нельзя?

— Нельзя. Из ангельского дела будет бесовское».

И Шигалев, так же, как и его апологет, больше всего опасающийся критики «слева», спешит согласиться: «— И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи! ...Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали». И все-таки именно «левая» критика наносит сокрушительный удар по Шигалеву, ставя его на одну доску с теми же Фурье и Кабетом: «все это вроде романов, которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени». Вступивший в спор Петр Верховенский, не желая замечать какой бы то ни было разницы между «романами» Фурье и Шигалева, выводит теоретический спор на новый уровень. Отбросив в сторону проблему *средств и целей*, он ставит вопрос о *темпах*. «Что вам милее,— обращается он к «нашим»,— медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов... или вы держитесь решения скорого, *в чем бы оно ни состояло*, но которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге? ...прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее: черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото?»

И здесь происходит невероятное. Те же самые люди, которые только что отвергли систему Шигалева за негуманность, выказывают несомненную готовность *принять «решение скорое», в чем бы оно ни состояло*, хотя совершенно очевидно, в чем именно оно будет состоять [1].

Вглядимся в эту метаморфозу.

«— Я положительно за ход на парах! — крикнул в восторге гимназист.

— Я тоже,— отозвался Лямшин.

— В выборе, разумеется, нет сомнения,— пробормотал один офицер, за ним другой, за ним еще кто-то...

— Господа, я вижу, что почти все решают в духе прокламаций...

— Все, все,— раздалось большинство голосов.

— Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному,—проговорил майор,— но так как уж все, то и я со всеми.

— Выходит, стало быть, что и вы не противоречите? — обратился Верховенский к Хромому.

— Я не то чтобы...— покраснел было несколько тот,— но я если и согласен теперь со всеми, то единственно, чтобы не нарушить...»

На наших глазах многоголосица превращается в унисон, дискуссия вырождается в единомыслие, платформа Петра Степановича набирает абсолютное большинство голосов. Механизм принятия единогласных решений под руководством искусного дирижера срабатывает успешно. Соблазн организационного единства, мираж групповой солидарности, лакейство мысли и стыд собственного мнения толкают разнокалиберных «наших» под одно общее знамя: пусть все *не то и не так*, зато все вместе. Очевидно: Петр Верховенский одерживает победу и берет власть над «нашими», потому что *они ему позволили это сделать*.

Впрочем, именно на такой эффект он и рассчитывал: «Да, именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален» [1]. И это была именно та опасность, о которой предупреждал Степан Трофимович: «Если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее!»

Идеи, собственно, и не было. Идеологический миф обнаруживал нищету и беспомощность мысли, запутывался в трех соснах логических лесов. Идеология смуты, ведя поиски царства справедливости, упиралась в тупики безграничного произвола, декларировала отказ от ценностей гуманистических и демократических, насаждала тоталитаризм и насилие. В сущности, под знаменем этой идеологии смута, намереваясь радикально срезать сто миллионов голов, принимала окраску той среды, от которой она хотела отмежеваться,— все то же, только удесятеренное самовластие, все то же разделение общества на разряды, все та же участь великого народа—быть рабом авторитарного государства. Своевольно предрешив будущее человечества «в духе прокламаций», бесы-самозванцы, одолеваемые нетерпением и жаждой немедленного преобразования мира и человека по приказу, переходят от идейных споров и «выработки мировоззрения» к политической практике. Идеологи уступают место политикам.

[1] Смысл решения в духе Петра Степановича точно формулирует сторонник Шигалева, Хромой: «Нам вот предлагают, чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственною целию всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку». Петр Степанович возражает: «Кричат: «Сто миллионов голов» — это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?»

[1] Едва добившись «морально-политического единства», Петр Степанович изощренно издевается над «единомышленниками», презирая их за головокружительно легкую победу: « — Вот вы все таковы! Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончит ведь тем, что вотирует со всеми!.. А, может, потом и обидитесь, что скоро согласились? Ведь это почти всегда так у вас бывает».

Штрихи к портрету политика

Политическая биография Петра Верховенского туманна и темна. Его прошлое возникает из странных слухов, недомолвок и двусмысленностей, его фигура «заграничного революционера» имеет некий непонятный изъян, отбрасывая зловещую тень на все, что он делает и говорит в романе. С одной стороны, участвовал в составлеиии какой-то подметной прокламации, был притянут к делу и бежал (?) в Швейцарию, с другой — регулярно и по точному женевскому адресу получал из России деньги, а спустя четыре года возвратился домой; стало быть, не стал эмигрантом и не был ни в чем обвинен. Более того, «бывший революционер», известный как будто по заграничным изданиям и конгрессам, «явился в любезном отечестве не только без беспокойства, но чуть ли ие с поощрениями». Слух же о том, будто Петр Степанович где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и «успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству»,— не тайна для «наших»; с подачи Липутина эта информация известна им всем.

Однако сомнительная репутация Петра Верховенского, шлейф предательства и ренегатства, подозрения в связях с охраикой и разного рода фальсификации не мешают «нашим» признать Петрушу «двигателем» и вождем: слишком лестно и соблазнительно иметь шефом уполномоченного из заграничного центрального комитета.

Организация, которую за краткий период пребывания в России сумел слепить Петр Степановнч, составила 20 человек, или четыре пятерки. Но ни один из членов групп не знает истинных масштабов организации; в основе ее построения лежит принцип блефа — легенда о едином центре и огромной сети: «пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплою верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией».

Важен, однако, не столько тот факт, что на момент деятельности Петра Степановича в губернском городе он был всего-навсего бес-подпольщик и провокатор-самозванец, не имеющий никаких полномочий; важна политическая программа, принципы и структура организации, которую он стремится создать. Поэтому реконструируя политический образ претендента на власть, оставим в стороне его генетическую связь с реальным прототипом С. Г. Нечаевым (как проблему хорошо освоенную и документированную) и сосредоточимся на тех *художественных* чертах Петра Верховенского, которые интересовали Достоевского; таким образом, в центре внимания окажется тип политического деятеля смуты, ставший, в свою очередь, как бы прообразом реальных исторических лиц «постдостоевского» периода. Стремление же увидеть феномен Петра Верховенского в исторической перспективе, так сказать, в свете предвидений Достоевского, оправдано общим пафосом «Бесов»—романа-*предупреждения*.

Итак, в основе организации, которую хочет создать Петр Верховенский, лежит принцип *иерархического централизма с диктатурой центра*. Объединенная уставом и программой, она задумана как общество тотальиого интеллектуального послушания, как собрание «единомыслящих». Чтобы внутри организации не возникало инакомыслия, тем паче оппозиции, все ее члены должны «если иадо, наблюдать и замечать друг за другом»; кроме того, каждый «обязан высшим отчетом», то есть отчетом только снизу наверх. Таким образом, система широчайшего взаимного политического контроля, насаждаемая Петром Верховенским и реализуемая как непрерывная слежка членов организации друг за другом, не распространялась только на самого организатора. Являясь уставной обязанностью члеиа организации, донос и слежка должны былн быть не только священным долгом, но и способом выживания.

«Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать...» — поясняет ситуацию Ставрогину Петр Верховенский.

Мощным рычагом кадровой политики организации должно было стать ее поголовное *обюрокрачивание*. Не стихийно, а как раз планомерно надеется Петр Степанович внедрить бюрократические прииципы в структуру пятерок; «...первое, что ужасно действует,— это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось». Зная изнутри нравы и принципы общества, его бюрократические повадки, Шатов зло иронизирует, не ведая, разумеется, какую страшную и пророческую правду провидит в своем негодовании. «О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают»,— сообщает он о механизмах внесудебных решений и технике приговоров.

Социалистическому идеалу как некой отвлеченной, абстрактной идее Петр Верховенский отводит место сугубо подсобное. От него — от идеала — должна остаться словесная оболочка, идейный антураж. Утилизация социалистической идеи, использование социалистической

фразеологии необходимо ему в силу «чувствительности» к этой идее многих ее приверженцев. «Следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете,— уверяет Петруша Ставрогина,— социализм у иас распространяется преимущественно из сентиментальности». Сам же Петр Степанович чужд какой бы то ни было идеологической чувствительности и сентиментальности и с восторгом приемлет формулу Кармазинова: «В сущности наше учение есть отрицаиие чести... откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». Обосновать это право как свободу от моральных норм, препятствий и обязательств, приучить организацию действовать любыми средствами становится актуальнейшей политической задачей. Борьба за цель, не боящаяся никаких средств, отрицание нравственных соображений, если они ие увязываются с интересами организации или тем более противоречат ей, провозглашаются как новое революционное слово, как стратегия и тактика смуты. Старые тезисы Раскольникова «кровь по совести» и «все дозволено» в практике смуты выходят из подполья и внедряются в жизнь явочным порядком, подкрепляемые разрешительными декларациями.

Угадывая логику организационного строительства, Ставрогин подсказывает Петру Верховенскому главнейший пункт схемы: «Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Все это чиновничество и сентиментальность — все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».

Фарс политического спектакля «У наших», где Петр Верховенский осуществляет первую пробу новоиспеченной «пятерке», и состоит в публичном *выявлении врага организвции, шпиона и предателя*, в назидательном уроке «бдительности», в пропаганде особых приемов, при которых бдительность приносит свои плоды. Шпиономания как прием расправы с оппозицией была принята «нашими» с пониманием и сочувствием.

Органическое недоверие к «шелудивой кучке», презрение к «материалу», который ее составляет, пренебрежение, грубость, нелояльность по отношению к своим подопечным связаны, помимо всего прочего, с тем раздражением, которое испытывает Петр Верховенский по поводу независимого положения «наших». Незапятнанные, нескомпрометированные, духовно свободиые, они опасны для него и для его дела. «Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна... Вы этою мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: «не донесу», а солгать пред вами почел бы низостью». *Совместная преступная акция, общий разделенный грех злодейства*, угадывает Ставрогин, и должны стать залогом группового единства, внутренней дисциплины и беспрекословного повиновения.

В контексте намечаемых событий Верховенскому вовсе не безразличен выбор жертвы. Первое, почти ритуальное, жертвоприношение задумано протиа оппонента, который (как почти «случайно» удается узнать) является *личным врагом организатора убийства*. Однако месть — скрытый мотив убийства: поразительно, с каким коварным лицемернем Петр Степанович упрашивает Лембке пожалеть Шатова (предварительно выдав его).

«Я... пришел вас просить спасти одного человека... Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом, может быть, был»,— старается Петруша, но впоследствии правда выходит наружу. «Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо!» — обличает его Кириллов уже после убийства. «Он ненавидел Шатова лично; между ними была когда-то ссора, а Петр Степанович иикогда не прощал обиды. Я,— добавляет Хроникер,— даже убежден, что это-то и было главнейшею прнчиной».

И все-таки подбить «пятерку» на преступление оказалось делом непростым и нескорым: группа созревала медленно, в несколько этапов.

После ночного пожара, убийства Лебядкиных, буйства толпы над Лизой — сюрпризов, которых «наши» не предполагали в своей программе, они, собравшись по приказанию Петра Степаиовича, решили составить ему *оппозицию*.

Однако «платформа оппозиции», когда «от лица всех» ее берется сформулировать Липутин, непостижимым образом меняется; главной претензией «оппозиционеров» к «вождю» становится требование «всегда знать заранее» о тех или иных колебаниях «общего дела». И хотя единство оппозицин зафиксировано на заседаиии стенографически точно, сколько-нибудь серьезного бунта или протеста не получилось: трусливая обида «наших», их нерешительность и вялость позволили Петруше пойти в наступление.

Затеянная Петрушей интрига, возмутившая «наших», включала два главных пункта: вручить деньги Лебядкину от имени Ставрогина и поручить Липутину отправить брата и сестру в Петербург — пункт первый; дать идею Липутину выпустить пьяного Лебядкина с чтением скандальных стихов на празднике гувернанток — пункт второй. Принятые к исполнению, оба пункта провоцировали ситуацию в высшей степени опасную: выйдя из-под контроля, события развиваются в силу страшной и необратимой инерции: деньги в кармане пьяного Лебядкина — давно ожидаемый разбойником Федькой сигнал...

Теперь же, столкнувшись с оппозицией пятерки, всю вину и ответственность за разбой Петр Степанович взваливает на нее! «Наши» оказываются перед фактом обвинения в почти бесспорном соучастии. Просчеты «наших» — неточно якобы понятый приказ, неосторожно сказанные слова, неправильно выполненное задание — Петр Степанович использует для ужесточения внутренней дисциплины, закручивания гаек и обоснования нового режима правления: «Вот видите, что значит хоть капельку распустить! Нет, эта демократическая сволочь с своими пятерками — плохая опора; тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее...»

«Вне стоящими» в данном случае явились два простых обстоятельства, с помощью которых Петруша и прибрал всю пятерку к рукам: анонимное письмо Лебядкина к Лембке и сообщение о готовящемся доносе Шатова, которому известна «вся тайна сети» и который вследствие пожара «потрясен и уже не колеблется». Петруша ловит своих пятерочников на грубом страхе, и перед лицом угрозы они первые (Толкаченко, Лямшин, Липутин) предлагают Петруше отправить Шатова «наконец к черту». Оппозиция, только что упрекавшая вождя в произволе и самовластии, торопится вместе с ним обсудить детали нового убийства, даже не озаботившись доказательствами вины обреченного и приговоренного Шатова. Петру Верховенскому удается увлечь пятерку своим новым планом практически без нажима и давления; протест же «общечеловека» Виргинского продержался в своем качестве менее минуты и, не разделенный никем из группы, был тут же снят им самим. Единственный шанс сорвать преступный замысел был безнадежно упущен.

За сутки, протекшие между сходкой у Эркеля и сходкой в парке Скворешников (где было назначено убийство), каждый из членов группы решал только свои дела. Ни один из них не стал выяснять, насколько виновен Шатов, ни один из них не пытался найти доказательств в ту или иную сторону, и главное: вся пятерка послушно пришла в назначенное время в назначенное место.

Поразительно тонко и глубоко индивидуально передан психологический рисунок поведения участников сходки, впервые вышедших на террористический акт.

Только здесь и только сейчас, в момент уже неотвратимый, происходит раскол пятерки на тупых, безвольных исполнителей (Толкаченко, Эркель, Липутин, Лямшин) и людей опомнившихся. Только здесь и только сейчас осеняет Виргинского простая и здравая мысль: «Я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим: если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить. Во всяком случае — суд; по суду. А не то чтобы всем спрятаться, а потом кидаться». Только сейчас вспоминает Шигалев, что никто не видел доноса, и только здесь доводит до сведения собравшихся, что с точки зрения его теории замышляемое убийство есть потеря драгоценного времени и пагубное уклонение с дороги «чистого социализма».

Но именно потому, что даже те, кто в эту минуту протестовал против убийства, думали больше о своем политическом лице, а не о Шатове (которого по-человечески никто и не пожалел), он в конце концов и был убит. Ибо дистанция между казуистикой политического убийства и спасением человеческой жизни оказалась для всех без исключения «наших» непреодолимой. Тот факт, что никто из них не смог и не захотел реально помешать убийству, не сделал эффективной попытки предотвратить гибель человека, когда его жизнь была в их руках, преисполнен зловещего и трагического смысла. Политический клейстер был сварен, и отныне судьба пятерки была предрешена.

С чувством настоящего хозяина положения, с полным правом власть имеющего держит Петр Верховенский заключительную речь «после Шатова». Он великодушен, он готов забыть «постыдное волнение Лямшина» (то есть его звериный вой и визг), «восклицания» Виргинского («Это не то, нет, нет, это совсем не то!»), «поступок» Шигалева (его уход). Он призывает всех преисполниться свободной гордостью, необходимой для «исполнения свободного долга», ибо теперь уже нет сомнения, что его «наши», загнанные в угол, выполнят «свободный долг» по первому требованию и по страшной инерции первого разделенного греха: «Теперь никто не донесет». В контексте этой минуты отчетливо обнажаются и политические амбиции Петра Верховенского в «воспитании и подборе кадров» — не скрывая своих намерений и уже не стесняя себя церемониями, он излагает свою кадровую программу: «Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых». Здесь же и последнее напутствие: «Этого вы не должны конфузиться».

Акт политического бандитизма, совершенный пятеркой во главе с ее лидером, высветил генетический код будущего — если оно пойдет вслед за предначертаниями Петруши. Однако сам Петруша, этот уродливый гибрид политики и уголовщины, полагается в своих расчетах не только на такую банальщину, как общая ответственность за совместно совершенные злодеяния. И хотя растление общим преступным грехом целого поколения действительно отвечало его программе, все же главное было не в этом. «Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом». Главное было не только в факте приема власти, ее средствах и методах. Главное было в той философии и стратегии власти, символом которой явился, по предвидению Достоевского, Петр Верховенский.

Формула власти, или Рождение Человекобога

Загадка ухода Шигалева из парка в Скворешниках за минуту до назначенного там убийства Шатова, несомненно, психологического происхождения: род интеллектуальной трусости и нежелания увидеть грубые, материализованные последствия якобы Чистой Теории. Вряд ли путаник Шигалев и в самом деле не понимает, как тесно связаны между собой система устройства мира с безграничным деспотизмом в финале и платформа Петра Степановича, опирающаяся на «великолепную, кумирную, деспотическую волю». Вряд ли реалист Шигалев в отличие от предшественников-сказочников и даже от самого Фурье, которого он презрительно называет «сладкою, отвлеченною мямлей», не осознает кровного родства своей теории и Петрушиной практики. И все-таки считает своим долгом публично отмежеваться от прямолинейного, лобового истолкования системы, провести грань между «легкомысленными политиками» и «чистыми социалистами», между вождями-теоретиками и исполнителями-практиками.

Петр Верховенский поступает прямо противоположным образом. Публично он клеймит Шигалева и издевается над его учением, презирая «шигалевщину» за эстетизм и канцелярщину. Но за кулисами политических дискуссий ведет себя совершенно иначе: вполне оценив достоинства системы, ее рациональное зерно и колоссальные перспективы, Петр Степанович присваивает «шигалевщину», перекраивая ее на свой лад.

В сцене «Иван-Царевич», центральном диалоге романа, в момент таинственный, иррациональный, Петр Верховенский вдохновенно развивает перед Ставрогиным идеи Шигалева. И здесь, невидимый, недоступный для пятерки, он может признаться: «Шигалев гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье; я им займусь. Он выдумал «равенство»!.. Я за шигалевщину!.. Я за Шигалева!» Но только на первый взгляд его лихорадочный монолог, почти бред может показаться простым пересказом книги Шигалева. В изложении Петра Верховенского отдельные «канцелярские» пункты умозрительной системы обретают характер политических лозунгов и далеко идущих выводов. Тема Шигалева в интерпретации и аранжировке Верховенского тесно переплетена, но характер инструментовки и движение мысли обнаруживаются тем не менее вполне отчетливо. Но главное здесь — не то, как именно манипулирует Петр Степанович учением доморощенного Фурье, но почему он это делает.

Кульминационная восьмая глава «Иван-Царевич», приоткрывшая тайну политических замыслов Петра Верховенского, построена как самостоятельное и законченное целое. Накануне сорвалась уже не первая попытка приручить Ставрогина — с заседания у «наших» Николай Всеволодович ушел скандально и с вызовом. И здесь, в доме Филиппова, на квартире у Кириллова, а затем на темной и грязной улице начинается новый, решающий раунд поединка. Петр Степанович злобен, нетерпелив, груб: он «властно кричит» на Ставрогина, он не верит возможности непослушания, он жаждет реванша и готов к крайним мерам.

И тогда Ставрогин кладет карты на стол. «Я вам Шатова не уступлю... Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна... Вы этою мазью ваши кучки слепить хотите... Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаете почти что с заграницы... Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой черт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое».

Так обнаруживается тайная пружина интриги, зашедшей в тупик,— охота на Ставрогина не достигает цели, ловушки разгаданы, дичь ускользает. И Петруша принимает моментальное решение: спасти дело теперь может не тайная возня, а открытый торг, и надо умолять о примирении. И теперь уже не требования, а неслыханные, непомерные уступки предлагает Петруша. Цена примирения — это жизнь Лизы, жизнь Шатова, да и жизнь самого Ставрогина, против которого припрятан нож в сапоге. И вновь поражается Николай Всеволодович: «Да на что я вам, наконец, черт!.. Тайна, что ль, тут какая? Что я вам за талисман достался?» Вопрос задан в лоб и задан во второй раз. И очень осторожно, малыми оборотами Петр Степанович начинает разматывать клубок. «Слушайте, мы сделаем смуту... Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ»,— кружит и вьется Петр Степанович. И чтобы Ставрогин привык к этому «мы», он, как перед полководцем-главнокомандующим на параде, начинает демонстрировать свои войска — войска смуты. Сейчас, во время смотра сил, он представляет их в лучшем виде, ему необходимо произвести самое благоприятное впечатление. Он защищает, выгораживает «наших»: «И почему они дураки? Они не такие дураки; нынче у всякого ум не свой... Еще несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги, хотя бы это? Хотя бы это одно?.. Мы пустим смуту... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?»

«Кучки» отыграны, покупка не состоялась. Ставрогин отнекивается: «Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое...» Вот здесь и является наконец Шигалев, «гений вроде Фурье». Тирада о Шигалеве — это откровенная реклама вполне умозрительной и абстрактной схемы, которую Петр Степанович обильно украшает собственными фантазиями. Канцелярский тон и докторальный стиль Шигалева, пункты формул из тетради Шигалева дополняются азартом Петруши, метафорами и живыми образами земного рая, поэтом которого на мгновение становится Верховенский. Сплошная контаминация ключевых слов из «системы», вставленных в парадоксы Петра Степановича, с его же программными политическими заявлениями, должна произвести впечатление: здесь, опять-таки под маркой Шигалева, Верховенский предлагает себя, навязывая Ставрогину уже знакомое «мы».

Шаг за шагом продвигается к цели Петр Степанович, пробуя на авось то или иное средство. Разукрасив шигалевщину, он бросает предпоследний свой пробный шар: «Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни... и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина... Говорите, глупо или нет?» Петруша отчаянно блефует, стремясь выведать, понять уровень властных притязаний Николая Всеволодовича, и на первую же недовольную реплику собеседника («Довольно,— пробормотал Ставрогин с досадой») взрывается в восторженной экзальтации: «Довольно! Слушайте, я бросил папу! К черту шигалевщину! К черту папу! Нужно злобу дня, а не шигалевщину, потому что шигалевщина ювелирская вещь. Это идеал, это в будущем. Шигалев ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шигалев презирает черную работу. Слушайте: папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы!»

По первому кивку Петруша предает и бросает все свое войско — гений снова становится глупцом-филантропом, мыслитель — бесполезным ювелиром. Шигалев теперь ни к чему, он только мешает, заслоняя гений Петра Степановича, который празднует рождение идеи. «...Но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я».

Первый шаг, ради которого с увлечением и энтузиазмом столько времени хитрил и интриговал Петр Степанович, был сделан; великая тайна здесь, сию минуту, вышла наружу: во главе смуты должен стать предводитель-вождь, на роль которого Верховенский умоляет согласиться Ставрогина.

Однако первый шаг предполагает второй, и в упоении, в безудержном порыве, почти в горячечном сумасшедшем бреду выбалтывает Петр Степанович сразу все свои стратегические планы: цели и сроки смуты, характер власти, статус вождя.

«Мы проникнем в самый народ»,— провозглашает Верховенский. При ближайшем рассмотрении самые неотложные, самые первоначальные цели главарей смуты — нравственное разложение народа, «одно или два поколения разврата... неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь,— вот чего надо». Неоднократно на протяжении романа назначает Петр Верховенский сроки смуты: в мае начать, а к Покрову кончить, то есть в течение нескольких месяцев перевести Россию в режим правления смуты. В черновых планах «О том, чего хотел Нечаев» вопрос о новом режиме власти и сроках обсуждается еще более определенно: «Год такого порядка или ближе — и все элементы к огромному русскому бунту готовы. Три губернии вспыхнут разом. Все начнут истреблять друг друга, *предания не уцелеют*. Капиталы и состояния лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести социальную республику, коммунизм и социализм... Если же не согласятся — опять резать их будут, и *тем лучше*.

Принцип же Нечаева, *новое слово* его в том, чтоб возбудить наконец бунт, но чтоб был действительный, и чем более смуты и беспорядка, крови и провала, огня и разрушения преданий — тем лучше. «Мне нет дела, что потом выйдет: главное, чтоб существующее было потрясено, расшатано и лопнуло».

Образ смуты представляется Петру Верховенскому в подробностях поистине апокалипсических. Русский Бог, который спасовал перед «женевскими идеями», Россия, на которую обращен некий таинственный index как на страну, наиболее способную к исполнению «великой задачи», народ русский, которому предстоит хлебнуть реки «свеженькой кровушки»,— не устоят. И когда начнется смута, «раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...» Кровавый кошмар, который без тени рефлексии и тем более самокритики планирует Петр Верховенский, признаваясь при этом, что он «мошенник, а не социалист», требовал специальных усилий. Петр Степанович подчеркивает — усилий, альтернативных социализму, не присущих ему: «Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес».

Той новой силой, которая сможет ускорить события («одна беда — времени нет»), тем рычагом, который должен *разом* землю поднять, и явится Самозванец, Иван-Царевич: «...заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?.. Ивана-Царевича; вас, вас!».

Самозванец ложный царь, обманным

путем взявший власть и ставший во главе смуты,— это и был, наконец, тот план Петра Верховенского, за который он платил *любой ценой*.

Между тем два пункта этого плана находятся друг с другом в вопиющем противоречии: полномочия и функции самозванца. Свой выбор Петр Степанович обосновывает почти ритуально. Ложный царь, который придет незаконным путем, получает сакральные свойства как существо, наделенное божественной природой. Атрибуты божества, или так называемые «царские знаки», Петр Степанович подбирает тщательно и любовно.

«Ставрогин, вы красавец!.. В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете... В вас даже есть простодушие и наивность... Я люблю красоту... Я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ... Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою... вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы...»

Но в это исступленное объяснение, подобострастное и уничижительное («Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки»), неприметно, но настойчиво проникает интонация требовательная и властная, жесткая и взыскательная. «Вы именно таков, какого *надо*. *Мне, мне именно такого надо*, как вы... Мне вы, вы *надобны*, без вас я нуль...» Божественным атрибутом самозванца Ставрогина, его сверхъестественным полномочиям и достоинствам вдруг придается утилитарный смысл; рамки этих полномочий странно и резко сужаются, а неожиданная, неосторожная проговорка Петра Степановича («Нам ведь только *на раз рычаг*, чтоб землю поднять») сводит их на нет.

Умоляя другого стать ложным царем и зная, что тот, другой, конечно же, не царь, Петр Верховенский тем самым почти открыто провозглашает свое право на власть, не обусловленное никакими формальными церемониями. Идол-Ставрогин в этой схеме оказывается не более чем удобным и эффектным средством[1].

«*Мы* провозгласим разрушение... *Мы* пустим пожары... *Мы* пустим легенды... *Мы* и пустим... Ивана-Царевича». Это «мы» *не включает идола*. «*Мы* скажем, что *он* «скрывается»... Знаете ли вы, что значит это словцо: «Он скрывается»?.. Он есть, но никто не видел его». Иногда это «мы» забывается и нарушает маскировку: «Слушайте, я вас никому не покажу, никому: *так надо*».

Идол-самозванец, по плану Верховенского, должен заменить не только царя; он по своим природным качествам («гордый, как бог») и по мотивам легенды претендует на место земного бога, человекобога, с тем преимуществом перед богом на небе, что про первого нельзя сказать, будто его нет. Земной бог есть, но он «скрывается»; утоление религиозного чувства будет происходить тем реже, чем оно сильнее. Поэтому: «А знаете, что можно даже и показать из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». Манипуляция человекобогом-самозванцем, царем-идолом предусматривает, помимо религиозных, и социально-правовые моменты. По легенде (то есть пропаганде Петра Степановича), новый царь несет новую правду, и «если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами».

Итак, «мы», которые наверху; миф о новом царе, который дал «новый правый закон»; кучки-пятерки, которые «вместо газет» будут разносить по миру новую мифологию; мужик, который будет всему верить и класть в указанное дупло свою жалобу,— такова структура той власти и той силы, от которой «взволнуется море, и рухнет балаган».

Ни с кем и ни за что делиться властью Петр Верховенский не собирается. Казарменный социализм — фаланстера (здесь пригодятся Фурье — Шигалев), авторитарное правление (здесь Петруша сам), тоталитарный режим («надо устроиться послушанию») с мистикой и мифологией (легенда о скрывающемся цареидоле, для чего и нужен поначалу Ставрогин), а также «новый правый закон» (то есть заведомо ложная агитация и пропаганда) — все это и составит «каменное строение», о котором в неистовом порыве проповедует Верховенский.

«...И тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, *мы*, одни *мы*!»

Неистово рвущийся к власти самозванец, автор и дирижер смуты, маньяк и одержимый, манипулятор и мистификатор Петр Верховенский вполне точно обозначил пунктиры будущего строительства. Под маской революционера, социалиста и демократа, прикрываясь для официального политического ханжества фразеологией «ярко-красного либерализма», он намеревается устроить «равенство в муравейнике» при условии его полного подчинения деспотической диктатуре и идолократии. Страна, которую он избрал опытным полем для эксперимента, обрекается им на диктаторский режим, где народ, объединяя его вокруг ложной идеологии, превращают в толпу, где, насаждая идолопоклонство и культ человекобога, правители манипулируют сознанием миллионов, где все и вся подчиняется «одной великолепной, кумирной, деспотической воле». Логика смуты вела к диктатуре диктатора, к власти идеологического бреда, к кошмару привычного насилия.

[1] Так использует Петр Верховенский интеллект Шигалева и жажду общественной деятельности членов пятерки, нравственный порыв Виргинского и фанатическую веру в «общее дело» Эркеля, легкомыслие Юлии Михайловны и глупость Лембке, смерть Шатова и самоубийство Кириллова, тайну брака Ставрогина и его страсть к Лизе.

«Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!» — поражался Степан Трофимович Верховенский. «О карикатура! — обращался он к сыну.— ...Да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?»

Взамен Христа — такая перспектива нисколько не смущала Петра Верховенского.

«Политический обольститель», «провокатор-предатель», «ложный ум», «первый убивец», «шпион и подлец», «обезьяна», «злодей-соблазнитель» — так рекомендуют его «соратники» — оборотень Петруша перед самым своим таинственным исчезновением за пределы Отечества кокетливо сокрушается: «Чертова должность».

Бесовская одержимость силами зла и разрушения, гордыня идеологического своеволия, самозваные претензии на владение миром, сверхчеловеческое, «самобожеское» («сам бог вместо Христа») мирочувствование — эти глубинные, неискоренимые духовные пороки политического честолюбца и руководителя смуты на языке исторических былей обретали апокалипсическое значение, обнажая некие сущностные, неотменимые законы противостояния добра и зла. Россия, раздираемая бесами, стояла перед выбором своей судьбы; угроза ее духовному существованию, опасность превращения страны в арену для «дьяволова водевиля», а народа — в человеческое стадо, ведомое и понуждаемое к «земному раю» с «земными богами», были явственно различимы в демоническом хоре персонажей смуты. Нравственный и политический диагноз болезни, коренившейся в русской революции, художественный анализ симптомов и неизбежных осложнений равнялись ясновидению и пророчеству.

В 1914 году в статье «Русская трагедия» С. Н. Булгаков писал: «Если Достоевский, действительно, прозирал в жизни ее трагическую закономерность, тогда уж наверное можно сказать, что не политика, как таковая, существенна для этой трагедии, есть для нее самое важное. Политика не может составить основы трагедии, мир политики остается вне трагического, и не может быть политической трагедии в собственном смысле слова... Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсэры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь «Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца людей», и потому-то трагедия «Бесы» имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе такое зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, какие имеют все великие и подлинные трагедии...» [1].

[1] «Русская мысль», 1914, кн. IV, с. 2—3.

Вряд ли можно что-либо возразить автору. И все-таки действительность давала пищу для размышлений, окрашенных именно политическими реалиями. «Все сбылось по Достоевскому,— утверждал в 1921 году В. Переверзев.— ...В революции есть что-то дьявольски хитрое, бесовски лукавое. Ужас революции не в том, что она иммиоральна, обрызгана кровью, напоена жестокостью, а в том, что она дает золото дьявольских кладов, которое обращается в битые черепки, после совершения ради этого золота всех жестокостей. Революция соблазнительна, и понятно вполне почти маниакальное увлечение ею. Достоевский и его герои прекрасно знают этот революционный соблазн... Но вот из бездны поднимается навстречу, рассеивая обаятельные призраки, ничем не ограниченная тирания,— и соблазн уступает место отвращению» [1].

Однако героям «Бесов» ведомы не только соблазны и отвращения. Роман-предупреждение являет и такой редкостный для всех времен феномен, как отказ от самовластия.

«Это ли подвиг Николая Ставрогина?»

Если самозванство есть болезнь личности, утратившей духовный центр, если фантастическая претензия на мировое господство врывается к власти руководителя смуты обнажает ее коренной дефект, то чем в таком случае является отказ «героя-солнца», «князя и ясного сокола» Николая Ставрогина от трона и венца царя-самозванца, которые он может получить из рук заговорщиков? Что означает — и на языке символов и на языке исторических былей — отказ от соучастия в смуте, пренебрежение неправедной властью, сопротивление бесовской идее захвата мира, неприятие звания и имени кумира-идола живого бога?

В предыстории романа есть одна любопытная дата: конец 1867 года, когда русский путешественник за границей, дворянин и аристократ, красавец и проповедник Николай Ставрогин участвует в реорганизации общества по новому плану и пишет для него устав.

«Поймите же,— с неистовой злобой закричит на Николая Всеволодовича два года спустя Петр Верховенский,— что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться!.. Я вас с заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову!».

Причины, по которым ввязался Николай Всеволодович в политическую авантюру Петра Верховенского, ничего общего с политикой не имели; нечаянность, непреднамеренность его прежнего соучастия очевидны. Но даже случайное сотрудничество с «организацией» не проходит бесследно: тот, кто попал в ее орбиту,— человек меченый, обреченный.

«— Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина!» — отчаянно восклицает Шатов во время их ночной встречи. И Ставрогин вынужден объясниться: «Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек... Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен».

В сущности говоря, пружиной романного действия, тайной интригой «Бесов» и является противостояние Верховенского и Ставрогина, которых связывает «взаимность тайн случайная». Широкомасштабная провокация Петра Степановича, предполагавшая убийство Шатова и самоубийство Кириллова, имела на данном отрезке времени конечную цель: обрести союзника, соучастника и соруководителя смуты в лице Ставрогина.

И что бы ни говорить о порочных свойствах «великого грешника», как бы ни осуждать его явные и тайные аморальные поступки (о чем написана большая литература), нельзя не считаться с главным фактом: кровавого кошмара, который значился в программе Петра Верховенского, а также роли предводителя в ней Ставрогин не принял. Разобравшись в специфике надежд и упований «деятелей движения», от дальнейшего соучастия отказался. Сознав реальную опасность мести Шатову, предупредил его о готовящемся убийстве.

Несмотря на опутавшую его сеть шантажа, сохранил за собой личную свободу, игнорируя тактику компрометации и слежки. Разглядев амбиции беса-политика Петруши, не скрыл своего разочарования и отвращения к «пьяному» и «помешанному». Подводя итог своей жизни, дал нравственную оценку «верховенцам».

«Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего,— пишет Ставрогин в предсмертном письме к Даше.— А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного,— я смешного не могу испугаться,— а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило». Черновик письма содержит не только нравственное, но и политическое осуждение: «Я не могу обрадоваться, как вся наша молодежь, царству посредственности, завистливого равенства, глупой безличности, отрицанию всякого долга, всякой чести, всякой обязанности, отрицанию отечества и видящих цель в одном разрушении, и цинически отрицая всякую основу, которая бы могла их связать в любовь, по разрушении всего, по оскорблении всего и по разграблении всего, в то мгновение, когда уже нельзя будет жить и малым запасом уцелевших от истребления продуктов и вещей старого порядка».

Ставрогин не совершил подвиг исповеди и покаяния. Ставрогин не избежал греха попустительства и бросил город на произвол разрушителей. Ставрогин не убивал и был против убийства, но знал, что люди будут убиты, и не остановил убийц. Ставрогин не устоял в искушениях страсти и погубил Лизу. Ставрогин не преодолел смертного греха самоубийства.

Но Ставрогин и не совершил преступление соучастия в «крови по совести», в разрушении по принципу. И, может быть, в свете того реального опыта, который не обошел Россию, где была «попробована» программа Верховенского, феномен ее осмысления и осуждения, а также пример несоучастия, противоборства и отказа от самозваной власти и в самом деле явили собой нечто в высшей степени поучительное. Во всяком случае — по меркам позднейшего времени — почти и неслыханное.

Попробуем составить мартиролог романа «Бесы» — здесь список точен и жертв можно назвать поименно. Расчет несложен: из тринадцати погибших персонажей (что составляет треть всех действующих лиц романа) только трое умерли своей смертью, без видимой связи с катастрофой, постигшей город. Остальные десять — прямые и косвенные ее жертвы, среди которых и те, кто был приговорен, и те, кто оказался свидетелем или родственником, и те, кто осуществлял убийство.

Опыт смуты — в виде лабораторного эксперимента — был произведен в масштабах только одного города, в течение только одного месяца, силами только одной пятерки, действовавшей подпольно и пока не имевшей власти.

Через три месяца после завершения первой пробы город оправился, отдохнул и отдышался — но не одумался: успокоившись, люди начали вновь творить мифы,— даже самого Петра Степановича считая «чуть не за гения, по крайней мере с гениальными способностями».

Ни под одну категорию обвиняемых не подошел Шигалев; смягчения своей участи ждал Виргинский; ни в чем не раскаялся Эркель; лгал и с надеждой готовился к предстоящему суду Липутин; позировал и жаждал судебных эффектов Толкаченко. Все, кто мешал или отказывался помогать, самоустранились или были устранены.

Все могло начаться снова и с иным размахом.

[1] Переверзев В. Достоевский и революция.— «Печать и революция», 1921, № 3, с. 9. 7.

Из почты «Октября»

С большим интересом прочитал статью А. Ананьева «Советский фермер». Особо импонировало мне в ней полное совпадение с моими мыслями.

В крестьянстве исторически развивалось органическое стремление к артельному труду, к кооперации. Например, несколько семей в складчину покупали молотилку и веялку или конные сенокосилку и грабли. Если в 1911 году все бегали смотреть как на чудо на работающую молотилку, то в 1915—1916 годах это было уже не диво. Наша семья тоже участвовала в складчине. Молотилку по очереди перевозили с одного тока на другой. Три-четыре семьи работали на каждом току, а лошади трех-четырех хозяев, ходя по кругу, вращали молотилку. Помогали и мы, мальчишки, отводили, приводили лошадей, бегали за родниковой водой и квасом, а вечером отгоняли лошадей в ночное. Сенокосилки и конные грабли объединяли семьи складчинников. При разделе лугов эти семьи на один жребий получали луга общим массивом, а скошенное сено делили тоже по жребию копешками. Стоговали потом. Тут и трудовая инициатива, и интерес, и смекалка, и так называемый человеческий фактор.

Хорошо помню и другую форму кооперации — сбытовую. Она врезалась в память потому, что я помогал своему неграмотному деду Тимофею считать затраты на выкорм свиньи и сопоставлять с тем, сколько крестьянин получает за нее. Просчитывали мы сотни реальных примеров. Получалось неизменно, что крестьянин возвращал только то, что затратил, а иногда и меньше. Из каждой сотни лишь в одном случае он получал несколько рублей за свой труд. Дед возмущался: «Выходит, все село бесплатно работает на одного скупщика Федьку Шувалова, а тот, отправив вагон мороженой свинины в Москву, за один месяц зарабатывает триста — четыреста рублей»... Получалось, что всему селу надо обязательно объединиться и отправлять мороженую свинину от «опчества», минуя паразита Федьку, который часто покупал свиней в долг, а через месяц рассчитывался нашими же деньгами, присваивая себе прибыль. Дед не раз поднимал этот вопрос на сельском сходе. В 1916 году «опчество» наметило уполномоченных, способных честно организовать это дело. Одним из кандидатов был мой дядя Прохор Карандасов. Дальнейшие события не позволили реализовать задуманное.

Тяга крестьянства к артельному труду производственной и сбытовой кооперации складывалась исторически. Это было не случайное, не частное, а общее, повсеместное явление. В этих условиях объединение в колхоз сельских дворов без нарушения их целостности было бы принято доброжелательно и охотно. В понятие «сельский двор» входило не просто дворовое строение, а семейно-трудовое объединение лиц, совместно ведущих сельское хозяйство. По своей сути это были, выражаясь современным языком, семейные кооперативы. Союз крестьянства в колхозе был бы желаемым браком по обоюдной любви, полностью исключающей насилие. Это обеспечивало сельскохозяйственное процветание страны с минимальным вложением государственных средств. Не требовалось многих сотен миллиардов рублей, бездарно, без отдачи вбуханных в наше сельское хозяйство. К большому несчастью и беде моего и последующих поколений, было совершено невиданное в истории человечества грубое насилие над многомиллионным крестьянством. Веками привыкшие к самостоятельному, творчески продуктивному труду, принудительно загнанные в колхозы, лишенные личного скота и орудий производства, крестьяне стали терять интерес к труду, чувство хозяина, трудолюбие, рационализм мышления и другие ценные свои качества. Рушились семейно-трудовые устои. Принудительная коллективизация была основной, стратегической ошибкой в нашем сельском хозяйстве. По цепной реакции она породила массу других грубых, трудноправимых и вовсе не поправимых ошибок. Первой непоправимой, тяжелой для сельхозэкономики страны ошибкой была ликвидация кулачества как класса. Я видел погрузку эшелона раскулаченных на станции Атяшево в Мордовии, так называемых спецпереселенцев. Сидя в предзимнюю слякоть на телегах в ожидании эшелона, со скорбными лицами, они напоминали «Стрельцов перед казнью». Но на картине Сурикова были одни стрельцы, а здесь у каждой телеги толпились дети и женщины. Раскулаченным разрешили взять с собой только лопату, топор, пилу, одежду, что на себе, и двухнедельный запас продуктов на дорогу. Погрузили в дырявый товарняк, и под общий рев, слезы эшелон тронулся. Вскоре после войны в купе поезда моим соседом оказался светлорусый мужчина лет тридцати. Знакомый говор и брошенная им местная поговорка насторожили. Я спросил, откуда он родом. Мы оказались земляками-односельчанами. Я знал его отца, Андрея Федоровича Макарова, и деда Ивана. В атяшевский эшелон раскулаченных он попал двенадцатилетним мальчиком вместе со своей большой трехступенчатой семьей. От него узнал я дальнейшую трагическую судьбу эшелона. Многие умерли в пути, не выдержав пронизывающих на ходу поезд морозных сквозняков. Первыми простужались, замерзали дети и старики. Эшелон остановился в глухой заснеженной тайге. Дали двадцать минут на выгрузку прямо в снег. Предупредили, что «кулачью» никакой помощи не будет. Чтобы ничего не ждали и не надеялись: долбите землю, ройте землянки, авось кто-то и переживет зиму. Пустой эшелон ушел. А люди стали жечь кострища по берегу оврага, оттаивать землю и рыть землянки. На облюбованной под кладбище полянке копали могилы. Кладбище было первым общественным объектом закопавшихся в землю овражных «новоселов». Дед Иван умер, еле дотянув до весны, а отец Макарова, выбранный сходом овражников и посланный просить у властей помощи семенами, хотя бы огородными, был за это посажен и то ли расстрелян, то ли умер в тюрьме. После этого рассказчик мой убежал из оврага, бродяжничал, по счастливой случайности попал в интернат. Во время нашей встречи он учительствовал в одной из школ Алма-Аты.

Случайно мне открылась судьба одного эшелона. А сколько их было отправлено с расчетом на истребление целых семей с подрастающим поколением? В подавляющем большинстве эти люди ни в чем не повинны. Они жертвы произвола и беззакония, жертвы организованного массового террора и сталинской политики устрашения. Никакой экономической целесообразности в этом не было. Как дармовую рабочую силу для развития промышленности их не использовали. Тогда и без них хватало рабочих рук.

Тягчайшие преступления Сталина перед народом неоспоримы. Но нам надо сейчас думать, как выбраться из кризиса сельхозэкономики, созданного сталинщиной и усугубленного периодом «застоя».

В политдокладе XXVII съезду партии сказано: «Широкое распространение получат подряд и аккордная система на уровне бригады, звена, семьи с закреплением за ними на договорный срок средств производства, включая землю». Труженики села восприняли это как обещание. Слово «фермер», казалось, потеряет оскорбительный смысл, станет почетным, и наши советские фермы — личные хозяйства трудовой семьи,— арендуя у колхозов земельные угодья, помогут надежно и быстро возродить продуктивность сельского хозяйства. Я в какой-то мере причастен к появлению этого абзаца. С мая 1982 года в ЦК КПСС лежало без движения мое исследование «Личные хозяйства граждан — объективная необходимость нашего времени». В нем я пытался доказывать, что личные продуктивные хозяйства трудовой семьи (не подсобные, а именно продуктивные) необходимы, что только их широкое развитие на основе длительной аренды земельных угодий в кооперации с колхозами поможет решить продовольственную проблему. Мое исследование направили в Институт экономики соцстран. 10 марта 1986 года меня пригласили в Ленинградский райком Москвы. И А. П. Баскаков по поручению сельхозотдела ЦК сообщил, что моя работа «тщательно проверена и изучена. Она вошла в материалы по подготовке к XXVII съезду и получила частичное отражение в политдокладе съезду». Поэтому меня более других поразило, что поднятый там животрепещущий вопрос о «широком распространении» семейного подряда с закреплением средств производства, включая землю, не получил должного отражения в материалах по реализации решений съезда. Его опустили (сознательно?) безответственные работники аппарата, готовившие материал. Через полгода после XXVII съезда член коллегии Госагропрома СССР Д. А. Есипенко и его помощники по отделу колхозов Н. С. Мухин и А. И. Горбунов говорили мне: «Откуда вы взяли, что разрешается предоставлять землю личным хозяйствам семьи? Нет таких указаний!» А когда я показал соответствующий абзац в политдокладе, Дмитрий Андреевич ответил: «Мы, хоть и высокооплачиваемые, но чиновники и руководствуемся не политдокладом, а постановлениями и инструкциями». Если так смотрят ответственные работники Агропрома, созданного для ускоренного развития перестройки в сельском хозяйстве, то чего же ждать на местах? Гвоздевой вопрос спускается на тормозах. Перестройка вязнет в словесной шелухе о ней. Пафос, энтузиазм и надежды, с какими была встречена перестройка сельскими низами, гасятся привыкшими командовать областными, районными руководителями. К примеру: «Семейный подряд тащит нас назад»,— поучает секретарь Архангельского обкома КПСС В. Боховкин на пленуме комсомольцев. Это прямой противовес выступлению М. С. Горбачева на встрече с тружениками Подмосковья всего за две недели до этого (см. «Известия» за 6 и 21 августа 1987 года). Архангельский, сибирский, полтавский и другие «мужики» чувствуют неприязнь к семейному подряду местных руководителей, имеющих реальную власть и влияние.

В 1928 году мы до хрипоты спорили о путях развития коллективизации с Ф. С. Горячевым, ставшим впоследствии первым секретарем Новосибирского обкома КПСС. Умный Федор Степанович, думаю, понимал логику моих суждений, не находил в них «крамолы», но, слепо веря в непогрешимость нашего мудрейшего вождя, его исключительную способность все предвидеть и предусмотреть, твердо поддерживал сталинский взгляд и официальную линию. С тех пор свыше 60 лет на всех доступных мне уровнях я безуспешно пытался доказать, что личное хозяйство трудовой семьи, которую мы признаем как важнейшую первичную ячейку социалистического общества, есть первичная клеточка нашей сельской экономики. Начиная с 1982 года трижды об-

ращался в ЦК КПСС с сигналом «SOS», доказывал, что нас экономически задушат, если мы своевременно не привлечем и широко не используем в интересах социализма огромные потенциальные возможности продуктивности личных хозяйств. Все завязло, не пройдя через мелкое сито чиновного аппарата. Даже телеграмма, посланная в адрес М. С. Горбачева перед XXVII съездом, 28 января 1986 года, не поднялась выше чиновника отдела писем. Вот текст телеграммы: «На множестве миллионов гектаров лугов и пастбищ ежегодно гибнут на корню полноценные естественные корма, потенциальные молоко, масло, мясо. Нарушены и нарушаются извечные природопочвенные закономерности и равновесия. В одном северо-западном Нечерноземье заброшены и зарастают лесом свыше пяти миллионов гектаров пашни, окультуренной еще предками. Дополнительно к существующим предлагаю форму социалистического хозяйствования, способную возродить бездарно пропадающие земельные угодья,— форму реально осуществимую, сберегающую ресурсы. Только Ваш личный авторитет и твердость государственных решений могут сломить живучие стереотипы закоснелого, шаблонного мышления, оживить энергический тонус, сделать человеческий фактор ускорителем продуктивности. Дальнейшее промедление приблизит грань, за которой отдельные негативные процессы станут необратимыми. Прошу встречи в ЦК КПСС».

Неудивительно, что перестройка медленно и постепенно открывает как новизну аккордную систему, семейный подряд и зачатки долгосрочной аренды земельных угодий и других средств производства. Нашему советскому семейному подряду свыше полувека. В 1937 году в колхозе имени Чкалова Кунцевского района Подмосковья мы организовали экспериментальные семейные звенья в овощеводстве. Они давали продукции высокого качества в четыре раза больше среднеколхозной при полуторной затрате трудодней. Под предлогом, что семейные звенья якобы тащат нас назад к кулаку, районные власти приказали их срочно ликвидировать. Мы уничтожили экономические расчеты и выкладки, наивно надеясь, что лет через пять жизнь все равно заставит прийти к этому. Оказалось, что деятели типа упомянутого Боховкина даже через полвека твердят о том, что «семейный подряд потащит нас назад». А эти многочисленные боховкины еще имеют реальную власть и влияние. Наш колхоз, конечно, не был единственным. Мы непозволительно долго пренебрегали поучительным историческим прошлым, а потому не уловили и не поняли сущности сельского двора как семейно-трудового кооператива, за что тяжело и горько расплачиваемся сейчас.

Итак, где же и в чем все-таки реальный выход из кризиса сельхозэкономики? Кому по силам избавить страну от постыдного недостатка продовольствия?

Необходим специальный закон, гарантирующий самостоятельность и полную свободу творческого труда на арендуемых бессрочно земельных угодьях. Земельные угодья надо выделять только одним массивом, а не кусками в разных местах. Предоставлять арендатору право свободного выбора жить в деревне, строить дом на арендованном участке по своему усмотрению. Это поможет крестьянину прочно осесть на земле, врасти в нее, совершенствовать и развивать хозяйство. Оказывать всяческое содействие этому всенародно полезному делу.

Константин ЛАКШИН,
член КПСС с 1943 года.

«ВРЕМЕНЩИКИ и СОВРЕМЕННИКИ» (изд-во «Мысль», 1988) — так назвали свою книгу три молодых публициста — **В. Выжутович, А. Никишин и А. Черниченко.** Это книга, где действуют те, для кого сегодня перестройка — смысл работы и жизни, а также те, кто явно или скрытно ей противится. Почти триста страниц текста — и проблемы, проблемы, проблемы. Еще не отстоявшиеся, спорные, противоречивые. Авторы — люди напористые, мобильные, с острым взглядом, свежими мыслями. Книга сложилась из очерков, опубликованных в последние годы в журналах и «Литературной газете». Они позволяют говорить о перестройке и собственно очерка — в сравнении с его жанровыми признаками рубежа 70-х и 80-х годов. Похвалы скуповаты, герои не выглядят благостно-высветленными, исчезли восторженные восклицательные знаки. Преобладают исследование, анализ, стремление проникнуть в суть явлений с глубоким знанием дела. Разговор о том, насколько перестройка необходима и насколько трудна. Узбекистан, хлопок. Рашидовщина и одиловщина, нравы мафии. Тяжкая судьба тех, кто пытался в одиночку бороться против коррупции. И сегодня еще не вырваны ее цепкие корни, точку ставить рано... Аттестации и выборы. Они помогли определить, кто есть кто. Значит, освобождайся от непригодных, отставших и одновременно всячески стимулируй, в том числе и материально, творчески мыслящих и работающих!.. Спор об этике сегодняшних деловых отношений. Или непростой вопрос о ветеранах труда: реальная ценность их многолетнего опыта и авторитета, накопленных в очень разных условиях. Не все пригодно сегодня, тут нужны осторожность и такт!..

Можно упрекнуть авторов в чрезмерном увлечении узкоспециальными технологическими подробностями, где-то — в смещениях во времени. Но не будем забывать, что книга «Временщики и современники» — это разведка очень сложных тем, а такое всегда трудно.

Георгий КУБЛИЦКИЙ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ З. РУМЕРА «КОЛЫМСКОЕ ЭХО», опубликованное в журнале «Подъем» (1988, № 12),— еще один круг лагерного ада, который постепенно проступает из прошлого. «Еще не мертвые, но уже не живые», возвращались из лагерей и тюрем чудом уцелевшие одиночки, в числе которых был и журналист З. Румер. Репрессированный в 1938 году, он прошел колымские лагеря и ссылки, в 1954 году — реабилитирован, восстановлен в партии... Человек, который нашел в себе силы не только вспомнить, но и записать то, о чем ему рассказывали, исповедуясь в предсмертный час, «энкаведисты» — сокамерники, оказавшиеся на Лубянке «в ту пору, когда кадры Берии истребляли кадры Ежова». Поэтому перед нами не только свидетельство жертвы, прошедшей сквозь «крикушники», «удавиловки», «горемыловки», но и воспроизведенные откровения палачей, которые изобрели почти нежную терминологию для своих средневековых пыток: «утка», «стойка», «ласточка», «поджарка»... Что скрывается за этим — с содроганием узнаешь из признаний серых человеков, каждый из которых «все может, он всемогущ», участвуя в войне Сталина против народа.

«Будут ли потомки в силах вообразить, какое это было ужасное и громадное слово — БЕРУТ?» Мог ли автор, проживший долгую и сложную жизнь (1907—1981), предположить, что вопрос, прозвучавший во времена застоя, наполнится новым содержанием сегодня, когда среди нас еще немало тех, кто БРАЛ, этих «вертухаев» на заслуженном отдыхе,— они, подобно гражданину Чуме из повествования З. Румера, ловят рыбку и разводят клубнику, тоскуют по старым временам: «Папу... эх, папы нет на вас, нет ежовых рукавичек... нету хозяина... жахнуть бы в зубы, садануть из нагана... псов бы натравить... хоть маленький тридцать седьмой устроить, вы бы заплясали, как у покойника, он бы не чикался... молодец был папа...»

Впрочем, сегодня иные из них уже не молчат,— пишут письма, выступают с гневными обличениями, подают в суды,— они как бы обрели голос, защищая свое прошлое, тоталитарную систему, где каждый живой был лишь винтиком. Между тем человек, не утративший достоинства, знает о себе, что он — единственен и неповторим, в этом и заключена его человеческая природа. Знал об этом даже тот «совсем одичавший и умученный», который в великом отчаянии взывал к мертвым таежным сопкам: «Ле-нин! До-ро-гой, вос-крес-ни. По-мо-ги мне, ве-ли-кий Ле-нин. Вс-тань! Пос-мот-ри, что с на-ми де-ла-ют».

Л. БУКИНА

«В СЕРДЦЕ ДИКСИ» Л. КНЯЗЕВА — первая книга серии «Азиатско-Тихоокеанский регион» (АТР), выходящей в Дальневосточном книжном издательстве. Своей целью издатели ставят наиболее полное и непредвзятое ознакомление читателей с политическими и экономическими реалиями, культурой, традициями стран и народов Тихоокеанского бассейна. В наши дни расширяются связи не только экономические или сугубо дипломатические между странами, но и личные, внегосударственные, роль которых трудно переоценить в деле мира и понимания между народами. Отсюда и потребность в новых, самых разнообразных сведениях о жизни зарубежных соседей. Так что начинание издательства, призванное удовлетворить эти запросы, весьма своевременно.

Путевые заметки приморского писателя Л. Князева — творческий отчет о его поездке в Соединенные Штаты Америки. Точнее, в южные штаты — Джорджию, Алабаму, Луизиану, Миссисипи, Флориду, Теннесси, то есть Диксиленд, знаменитый и богатый историческими событиями и литературной славой. «О, Флорида» (то есть «утопающая в цветах, цветущая»),— воскликнул, по преданию, Колумб. Новый Орлеан, куда, по литературной версии, сослали Манон Леско, Побережье Савана, где умер от рома пират Флинт под вскрики попугая: «Пиастры! Пиастры!» Легенды, воспоминания, литературная почва... Юг Америки вскормил талант Фолкнера, питал творчество писателей так называемой «южной школы» — Юдоры Уэлти, Р.-П. Уоррена, Карсон Маккаллерс... Жаль, что ни Юг литературный, ни культура, ни специфика региона не попали в поле зрения Л. Князева. «Дорога воспоминаний» (так называется одна из главок книги), правда, приводит путешественника в аптеку городка Оксфорд, штат Миссисипи, где жил и умер Фолкнер. Сюда на чашку кофе и разговор о литературе собирались друзья Фолкнера — писатели и художники со всей страны. Но это едва ли не все, что получает читатель от писательского контакта Л. Князева с легендарной, вошедшей в историю мировой литературы землей. Впрочем, задача у писателя была иная, в предисловии он объясняет свою задумку так: «И вот перед вами записки об этом путешествии. Если читатель, прочтя их, поверит, что большинство простых американцев — сердечные, щедрые, доброжелательные люди, желающие мира и дружбы с Советским Союзом, буду считать свою задачу выполненной».

Приветствуя новую серию Дальневосточного книжного издательства, хочется пожелать редакции предоставлять возможность своим читателям чаще встречаться на ее страницах с неординарными собеседниками, людьми острого глаза и широкого кругозора, находить точную, сегодняшнюю информацию о регионе.

М. ПЕТРОВА

Сдано в набор 12.06.89. Подписано к печати 29.06.89. А 07858. Формат $70\times108^1/_{16}$.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 385 000 экз. Заказ № 890. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.